АНГАРА



№ 4
ОКТЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
1959

АНГАРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

ОРГАН ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

№ 4 (45)
ОКТЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
1959

8-8

Рисунки на вклейках художника *Б. И. Лебединского*



Адрес редакции:

г. Иркутск, улица 5-й Армии, дом 36. Отделение Союза писателей. Телефон: 56-76

ИРКУТСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1959

Очерки НАШИХ ДНЕЙ

А. Богачук

МЫ—ОПТИМИСТЫ

(записки комсорга)

ОТ АВТОРА

Новостройка, палатка...

Летом 1956 года эти два слова были, пожалуй, самыми популярными среди нашей молодежи. Они звучали на комсомольских собраниях и выпускных вечерах десятиклассников, в стенах комитетов комсомола и жарких товарищеских спорах.

Горячие рукопожатия, торопливые поцелуи. Длинные составы закопченных пассажирских вагонов отходили из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов центра страны. Сибирь звала отважных...

Жарким июньским полднем один из таких поездов прибыл в Иркутск. Его пассажиры — четыреста боевых парней и девчат из Орла — поселились в палатках в двадцати километрах от Иркутска и начали строить новый город Шелихов и первенец цветной металлургии в Восточной Сибири — Иркутский алюминиевый комбинат.

Автор жил вместе со своими сверстниками в Комсомольском палаточном городке Иркутскалюминьстроя. О товарищах по палатке и по работе, о трудностях роста и становления коллектива строителей, о роли комсомольской организации стройки он попытался рассказать в своих записках.

В них нет ничего выдуманного. В основу положены дневниковые записи о людях и о событиях, свидетелем и участником которых автору довелось быть.

1

Скорый «Москва — Хабаровск» прибыл в Иркутск на рассвете. Я вышел на влажный асфальт перрона, сдал свой незатейливый багаж в камеру хранения и пешком отправился в город.

Долго стоял на мосту и любовался Ангарой. Ночью прошел легкий дождь. Свежий ветерок с левого берега относил на город седые клочья тумана. Я достал из кармана несколько монет и, не стесняясь редких ранних прохожих, бросил их в волны Ангары — на счастье...

...А счастье все-таки не улыбнулось. Вместо Братска, о котором я мечтал последние полгода, предстояло ехать в Шелихов, на строительство алюминиевого завода.

И во всем этом виноват Валька, мой старый друг Валька Сухарев. Впервые я встретился с ним осенью 1947 года, когда начал учиться на литературном факультете педагогического института. В то время еще существовала карточная система и жизнь студенческая была несравненно труднее, чем в наши дни. Большинство студентов в свободные от лекций часы занимались «отхожим промыслом» — пилили дрова, разгружали на станции вагоны с углем.

Однажды подвернулась очень денежная работа — перелопатить тонн сто пятьдесят слежавшегося подопревшего ячменя на пристанционном складе. Весть об этом мгновенно облетела общежитие. Сформировать «ударную бригаду» взялся Валька Сухарев, энергичный и расторопный первокурсник с исторического факультета. У меня почти не было шансов попасть в эту бригаду: учебу я начал с опозданием на полтора месяца и завязать знакомство среди студентов еще не успел.

— Н-ничего, Толька, п-попытаемся! — утешил меня сосед по комнате математик Гошка Кривокорытов и повел к Сухареву.

— Этот? — Валька оценивающе смерил меня большими карими глазами, покрутил длинным носом, как будто обнюхивая на расстоянии. — Не подойдет, больно уж хлипкий!

Гошка что-то горячо зашептал ему в ухо, сильно заикаясь и вытягивая губы в трубочку.

— Да? — переспросил Сухарев и еще раз взглянул на меня. Гошка торопливо закивал головой. — Ладно, собирайся, с нами пойдешь!

Среди студентов Валька держался независимо, разговаривал с большим апломбом и обладал неиссякаемым запасом оптимизма. Казалось, даже оттопыренные карманы его поношенной солдатской шинели до отказа набиты этим оптимизмом. Не заботясь о будущем, он щедро раздавал в долг и расходовал свою стипендию, готов был разломить надвое даже последний пятак. Когда же денег не оставалось вовсе, с притворным отчаянием вздыхал:

— Дожил! Слепому подать нечего!

Однажды Валентин явился на новогодний студенческий бал-маскарад в блестящем костюме гусара времен Отечественной войны 1812 года и вскружил головы всем девчонкам. Весь вечер он был в центре внимания, и патентованные институтские щеголи чуть не лопались от зависти. Наутро в карманах расшитого шнурами гусарского мундира мы обнаружили только горсть медяков — почти всю стипендию он оставил в кассе драматического театра, уплатив за прокат злополучного костюма.

— Да, маловато, — пересчитав мелочь, констатировал Валентин. — Может, у тебя рублишка два-три завалялось? Купим хлеба да сахару.

При всей своей бесшабашности Сухарев серьезно занимался краеведением, целыми днями пропадал в архивах, библиотеках, и как-то само собой получилось, что я стал помогать ему. Общая работа сблизила нас. Вскоре мы поселились на частной квартире, вместе спали на узенькой хозяйской кушетке, питались из общего котла, добровольно отказались от «частной собственности» не только на одежду и обувь, но и на самые сокровенные мысли, заносимые теперь в общий дневник. Все свободное время, включая долгожданные каникулы, отдавали прохладной тишине архивов.

Закадычными друзьями оставались мы и после окончания института.

Год назад армейская служба забросила меня в Подмосковье. Валентин работал корреспондентом одной из районных газет в Сибири. Постоянно переписываясь, мы решили ехать на строительство Братской ГЭС и вот теперь встретились в Иркутске. Остановились в гостинице речного вокзала на Ангаре и уже взяли билеты на пароход. А потом... Потом Валентин предложил сходить в обком партии и посоветоваться насчет нашей поездки в Братск.

И пошли.

В приемной заведующего строительным отделом обкома тишина, только девушка-секретарь на машинке будто орешки пощелкивает. Солнышко в мягкой ковровой дорожке роется, волокна лучами перебирает.

Девушка расспросила, кто мы такие, по какому вопросу, и скрылась за боковой дверью. Минуты через две вышла.

— Алексей Петрович просит вас войти.

За столом в кабинете человек, немолодой уже. На голове редеющие волосы. Глаза простые, светлые. На переносице розовый шрамик — след от очков. Веки чуть припухли: или недосыпает, или почки больные. Одет в светлый, не новый уже костюм. Поднимается навстречу нам, протягивает руку:

— Шешуков.

Рука с голубыми прожилками и ясно обозначившимися венами, но жмет крепко.

Больше всего мне запомнилось умение Алексея Петровича выслушать собеседника. Слушает он настолько внимательно, понимающе, что невольно рассказываешь все. Буквально через десять минут мы с Валентином выложили перед ним все подробности своих коротких биографий, все свои планы и намерения.

— Это очень хорошо, что вы решили поехать на стройку. Но я должен вас огорчить, товарищи. В Братск мы сейчас никого не посылаем.

Меня бросает в жар. Продолжение беседы уже почти не интересует. Я уставился на пробку графина, грани которой переливаются всеми цветами радуги. Голос Шешукова теперь доносится откуда-то издалека:

— Я хотел бы порекомендовать вам другое, не менее интересное и не менее важное дело. Вот здесь, — Алексей Петрович встал и подошел к висящей на стене карте Иркутской области, — в двадцати километрах от Иркутска строится крупнейший в стране алюминиевый комбинат и город Шелихов.

Алексей Петрович рассказывает о перспективах строительства в области, о Братском и Черемховском энергопромышленных районах, но его слова почти не доходят до моего сознания. Все это кажется скучным и давно знакомым. Стараюсь припомнить, где я слышал об этом, не то на уроках географии в школе, не то читал в директивах партийного съезда, но вспомнить не могу.

Какая разница, где и кем работать, если дорога в Братск закрыта? Даже зло берет на Вальку, который слушает не только ушами, но и открытым ртом. Зачем убеждать, зачем агитировать? Не лучше ли сказать сразу: «Товарищи коммунисты, партия направляет вас на строительство алюминиевого комбината!»

— Мы могли бы направить вас на Алюминьстрой, — как-будто угадав мои мысли, говорит Шешуков. Я чувствую, что краснею до кончиков ушей. — Но я думаю, — продолжает Алексей Петрович, — будет лучше, если вы сами все обдумаете и решите.

— Да мы уже решили, Алексей Петрович, поедем! — заторопился Валентин.

— Вы, может быть, и решили, а вот товарищу вашему еще, очевидно, подумать надо. — Шешуков смотрит мне прямо в глаза.

— Нет, почему же, Алексей Петрович, я тоже... мы вместе!

— Ну, коли так, я напишу записку главному инженеру треста. Съездите на стройку, посмотрите, поговорите. Если твердо решите остаться, приезжайте в обком, дадим направления... Кстати сказать, три дня назад на Алюминьстрой приехали по комсомольским путевкам четыреста комсомольцев из Орла. На следующей неделе ждем еще человек триста. Так что не вы первые, не вы и последние...

Вот, собственно говоря, и все. Записка Шешукова лежит у Вальки в кармане, а Валька уже спит. Завтра надо ехать на Алюминьстрой. Завтра же вечером уходит в Братск пароход «Фридрих Энгельс», на который у нас уже взяты билеты.

Вот тебе и Братск!

2

Длинное одноэтажное здание барачного типа окрашено в неприятный желтый цвет. По обе стороны от него тянется глухой забор с потемневшими от дождя досками. Из-за забора выглядывают длинные стальные шеи экскаваторных стрел. Около ворот стоит траллер — тракторная тележка на двенадцати баллонах для перевозки тяжестей, ржавеют звенья гусениц, нож от бульдозера. Перед зданием штакетный палисадник с чахлыми акациями, монументальная доска показателей выполнения производственного плана.

На крыльце и завалинке в свободных позах сидят человек десять мужчин, курят, чертыхаются. Одеты по-разному: одни в поношенных хлопчатобумажных комбинезонах, другие — в шароварах и майках. У всех темные от загара лица. Чувствуется, что чего-чего, а уж свежего воздуха и солнца им хватает досыта!

Слева от входа на листе жести вывеска:

«Государственный Союзный строительный трест «Иркутскалюминьстрой».

В приемной управляющего трестом и главного инженера сутолока. Кто сидит, кто стоит, привалившись к шкафам с бумагами. За сплошной дымовой завесой с трудом можно рассмотреть молодую белокурую женщину, склонившуюся над столом. Телефон на столе ежеминутно вздрагивает от длинных нервных звонков.

Женщина хватается за аппарат и высоким срывающимся голосом кричит в трубку:

— Михаил Вениаминович занят и больше не звоните!

В ответ в трубке что-то хрипит и булькает. У женщины измученный вид, и мне от души жаль ее.

— Скажите, пожалуйста, как нам пройти к главному инженеру треста? — спрашивает Валентин.

— У Стрижевского, — женщина кивает головой на обитую дерматином дверь, — сейчас заседание технического совета. Освободится часа через два. Можете подождать или зайдите попозже.

Из-за двери доносится такой шум, как будто там собрались человек двадцать и безуспешно стараются перекричать друг друга.

Перехватив наши удивленные взгляды, женщина за столом виновато смотрит на дверь, потом переводит взгляд на пол, на растоптанные сапогами окурки и, только сейчас заметив висящий облаком дым, дает волю гневу:

— Этого еще не хватало! Вам что, улицы мало? Замерзли, бедные? Ну-ка, марш отсюда!

Топая сапожищами, курильщики лениво выходят в коридор. Пообещав зайти через два часа, мы тоже уходим.

Время близится к полудню. Нестерпимый зной ручьями льется на землю, растекаясь дрожащим маревом. Кажется, даже самое небо вылиняло от солнца, как линяют цветастые девичьи косынки. Сплошным потоком идут по дороге автомашины с кирпичом, лесом, бетоном, песком и еще с чем-то. Дорога разбита. Чахлые кустики акаций и придорожной полыни задыхаются от едкой, перемешанной с цементом горячей пыли.

Сворачиваем с дороги и по траве идем туда, где сквозь поросли молодого сосняка красуются чистенькие двухэтажные домики.

Поблизости по широченной рельсовой колее катается башенный кран. Двухэтажные домики едва достают ему до колен. Валентин подходит почти вплотную к крану и, придерживая кепку рукой, задирает голову. Стальной крюк на тросах раскачивается над штабелями кирпича. Около штабелей укладывают кирпич в контейнер парень с девушкой. Льняные мягкие волосы парня на макушке прикрыты кепчонкой, девушка надвинула на лоб легкий платок: чтобы не загореть на солнце.

— Э-эй, э-эй! Кирпич скорее давай! — плаксиво растягивая слова, кричит с лесов пожилой мужчина.

— Ну, сейчас, погодь маненько! — огрызается белобрысый и в свою очередь кричит на напарницу:

— Крючья-те изнутри за ушки цапляй. Ня видишь, што ля, как надо. Да сыми ты свой платок — глаза по ложке, а ня видят ня крошки!

— Иди ты, Гусак! — обижается девушка. — Без тебя знаю.

Кран подхватывает контейнер, гудит сиреной и начинает разворачивать стрелу.

— Эй, ты! — кричит Валентину белобрысый, тот, кого девушка назвала Гусаком. Кричит беззлобно, как будто считает своей кровной обязанностью кричать на всех. Валька задрал голову и не слышит. Белобрысый бежит к нему и бесцеремонно тычет кулаком в живот. — Чаво рот разинул? Оглох, што ля, ай гудок ня слышишь? Как будто первый раз на стройку попал!

Валентин торопливо отходит.

В соседнем доме, через улицу, окна первого этажа раскрыты настежь. Стекла густо забрызганы похожими на веснушки капельками штукатурки. Из окон звучит грустная песня.

Вот кто-то с горочки спустился, —

заводит чей-то чистый голос.

Наверно, милый мой идет.

Подхватывает звонко другая. Голоса у девушек свежие, и в песне тоскующая девичья душа чувствуется.

Захотелось не то чтобы познакомиться, а просто посмотреть на этих певуний. Подошел я к открытому окну. Подоконник высоко, не дотянуться. Окликнул. Увлеклись девчата хорошей песней, не слышат. Валька решил помочь моему горю: заложил колечком два пальца под язык и пронзительно свистнул. Песня оборвалась на полуслове, а через секунду в окне показались голова и рука с зажатым в ней мастерком.

— Что тебе? — не слишком дружелюбно спросила девушка. Из-под старенькой шелковой косынки на голове у нее выбились тугие каштановые локоны, прищуренные синие глаза критически осматривают мою физиономию.

— Мне? — я немного растерялся. — Да вот хотел узнать, как эта улица называется.

Густые брови сошлись над переносицей. Девчонка, видимо, раздумывает, как мне ответить. Потом левая бровь ползет кверху, глаза светятся дерзкой улыбкой:

— Ты, брат, хвостом не виляй! Если познакомиться хочешь, говори сразу!

— С кем это ты там, Любка, любезничаешь? — слышится из глубины комнаты, и в соседнем окне показываются еще две головы.

— Да вот тут ягодка одна заблудилась, — с поддельным сочувствием отвечает Любка.— Улицу, видите ли, свою никак найти не может!

Девчонки дружно прыскают в серые от цемента кулаки. Из обоих окон сыплются едкие реплики:

— А кто на этой улице живет, если не секрет?

— Подожди немного, у нас скоро обеденный перерыв — проводим!

— Может, вчерашний день ищешь?

Чувствуя, что вот-вот стану посмешищем для этих дерзких и острых девчонок, довольно грубо обрываю Любку:

— Я спрашиваю, как называется эта улица? Если тебе трудно, можешь не отвечать! — и поворачиваюсь, собираясь уйти.

— Да ты что, первый раз, что ли, в Шелихове?

— Первый.

— Так бы сразу и сказал! У нас вообще улиц нет, одни кварталы.

Любкина наглость начинает меня бесить: стою на улице, а она уверяет, что улиц нет.

— А это что же, по-твоему, тоже квартал?

— Это улица, — растерянно признается она.

— Что же ты мне голову морочишь, «улиц нет»!

— Я не так хотела сказать. Улицы-то у нас, конечно, есть, а названий у них нет. И дома называются так: «дом номер такой-то квартала такого-то». А настоящие улицы, с названиями которые, есть только в палаточном городке.

Поблагодарив за разъяснение, мы уходим. Но стоило нам отойти шагов десять, как из окон снова доносятся хлесткие замечания в наш адрес:

— Славный малый, только носом не вышел! — (Это явно обо мне).

— Зато у другого на двоих!

— А второй-то, видать, серьезный, молчал все время!

Девчонки с шутками и деловитостью обсуждают все наши «плюсы» и «минусы».

— Ну как? — осведомляется Валентин, когда мы отходим на почтительное расстояние, и убежденно добавляет: — Язвы — не девки!

Еще часа полтора бродили мы по поселку. Собственно говоря, поселка еще нет, если не считать трех-четырех десятков уже обжитых двухэтажных домов с тюлевыми занавесками и редкими горшками герани и душистого табака на окнах. Гораздо больше пустых неоштукатуренных каменных коробок без крыш и полов, ребристых скелетов сборных деревянных домов и фундаментов с еще свежим, незатвердевшим бетоном.

Ближе к линии железной дороги улицы переходят в просеки, среди строящихся домов кое-где стоят чудом сохранившиеся строгие смолистые сосны. Экскаваторы, бульдозеры, скреперы со скрежетом вгрызаются в землю. На каждом шагу большие и малые траншеи, груды истерзанной земли с запахом прелой травы и хвои.

Все здесь кажется хаотичным, беспорядочным: и размещение фундаментов будущих зданий, и хитросплетения траншей. В бешеном водовороте земли, корневищ вековых сосен, кирпича и бетона копошатся маленькие фигурки людей. Не верится, что даже через несколько лет смогут люди обжить, облагородить эту исковерканную машинами землю...

К часу дня, когда жара достигла наивысшего накала, через прохладный сосновый бор возвращались в трест. Влажные от пота рубашки пристали к спинам. Под ногами похрустывали сучья, сухая паутина липла к обнаженным рукам. Оба мы были до того измучены, что даже есть не хотелось. И вместе с этим в душе крепло чувство не то зависти, не то уважения к тем, что с топорами в руках возводят каркасы домов, укладывают в сырую землю бетон, заботливо укрывая его от солнца кусками рубероида, к дерзкой Любке и ее колючим подругам и даже к задиристому Гусаку, которого стоило бы проучить. А может быть, просто увлекали, манили, захватывали масштабы работ и разнообразие человеческих характеров.

Все эти мысли Валентин выразил одним точным словом:

— Здóрово! — и в доказательство искренности этого слова прищелкнул пальцами...

Нам снова не повезло. Заседание техсовета закончилось, но у Стрижевского сидел начальник Промстроя. Не успел он выйти, как в кабинет, не спрашивая даже разрешения, ввалился угловатый мужчина. Потом с бумагами под мышкой просеменила тощая пожилая блондинка, за ней какой-то посетитель с рыжей шевелюрой и взлохмаченной бородой, и так без конца. Одни входили, другие выходили, ни на минуту не оставляя Стрижевского одного. Нам помогла секретарь главного инженера Нина. С ней мы уже успели познакомиться.

— Вы напрасно ждете. Заходите и все!

— Была ни была, — решил Валентин. — Пойдем, Толька! — и рванул на себя обитую дерматином дверь.

Стрижевский энергично ходил по кабинету из угла в угол и, оживленно жестикулируя, разговаривал с инженерами. На наши приветствия он ответил кивком головы, указав глазами на стулья. Продолжая разговор с подчиненными, главный инженер, казалось, совсем забыл о нас, и поэтому небольшой кабинет сразу показался холодным и неуютным.

— Слушаю вас! — обернулся наконец Стрижевский в нашу сторону.

— Нас направил к вам товарищ Шешуков, — сказал Валентин и протянул записку Алексея Петровича.

Стрижевский внимательно прочел записку. Нажал кнопку звонка.

— Нина, пригласите, пожалуйста, Воронова.

Минуты через две дверь снова открылась. На пороге стоял невысокий мужчина в военной форме без погон.

— Слушаю, Михаил Вениаминович!

— Садись, Анатолий Александрович. Вот нам Алексей Петрович двух орлов прислал. Давай, понимаешь, посоветуемся, куда их определить.

Воронов оказался начальником отдела кадров треста. Вопрос был решен без долгих разговоров. «Торговаться» мы не собирались и были согласны на любую работу.

— Итак, — подытожил Стрижевский, — будете работать воспитателями. Один — в палаточном городке, другой—в строительной школе. Предупреждаю заранее, работа нужная, хлопотливая, но неденежная. Какой там оклад, Анатолий Александрович? Пятьсот пятьдесят? Вот так. Завтра, понимаете, можете приступать к работе, приказ о назначении будет.

3

Утренняя электричка за тридцать минут доставила нас из Иркутска в Шелихов. Не заходя в трест, мы прямо со станции отправились в палаточный городок.

На краю леса, около дороги, присели передохнуть. В двухстах метрах впереди, за штакетной оградой, белели большие брезентовые палатки. Между ними торопливо сновали ребята с большими алюминиевыми чайниками в руках и похожие на парней девушки — в таких же брюках, майках и комбинезонах. Из репродукторов на столбах плескалась какая-то знакомая музыка.

Появление в этот час в палаточном городке двух новичков с чемоданами в руках наверняка было бы сразу замечено, а нам не хотелось привлекать к себе внимание. Решили подождать, когда все уйдут на работу.

Без четверти восемь из обоих ворот палаточного городка сплошным потоком повалили парни и девчата. Одни шли в сторону жилого поселка, другие спешили в противоположном направлении — на промышленную площадку. Минут пять поток был сплошным, потом начал редеть и наконец оборвался.

В центре палаточного городка досчатый домик. Над крышей лениво полощется красный флаг. У окна высокий мужчина с коротко остриженным ежиком седеющих волос, размахивая руками, отчитывает старушку:

— Я тебе уж сколь раз говорил: в ребячьих палатках через день полы мой! А ты чо делаешь? Поскребешь веником середку, да и домой. Разве это работа?

— Так ведь я, Алексей Павлович... — старушка виновато шмыгает носом.

— Чо, «Алексей Павлович»? Я давно Алексей Павлович! — мужчина таращит маленькие карие глазки и стучит указательным пальцем по столу. — Дак вот давай, Митревна, так договоримся: хошь работать — работай, не хошь — пиши заявление! Уволю хоть сейчас. Ежли еще раз на тебя ребята пожалуются, так и знай — сразу рассчитаю!.. Вам кого, молодые люди?

— Приехали вот, жить к вам и работать, — сказал я.

— А бумажка из отдела кадров есть? Нет? Без направления не могу поселить! На каку работу-то устраиваетесь?

— Воспитателями к вам, в палаточный городок.

— Ну? — не то удивился, не то обрадовался Алексей Павлович. — Дак это, паря, вместе, значит, робить будем! Садитесь, ребята, расскажите, чьи будете, откуль приехали? Нука, Митревна, возьми чайник да сбегай живо в кубовую за кипяточком: отощали, поди, ребята с дороги, почаевать надо!

Алексей Павлович Неизвестных оказался на редкость словоохотливым и хлебосольным человеком. Пока Митревна ходила за чаем, он достал из кармана связку ключей, открыл один из ящиков новенького стола, достал завернутую в кусок газеты селедку и полбулки черного хлеба. Кое-что из продуктов нашлось и у нас в чемодане. Разливая в кружки крепкий чай, Неизвестных рассказывал нам о своей жизни.

— Оно бы так все ничего, жить можно, только вот публика-то у нас в городке неважная подобралась. Ведь вот тут рядом двенадцатая палатка: как будто кто специально одних хулиганов туды собрал. Кажный вечер пьянка да драка. Никому ни житья, ни покою не дают! Водку у нас, в Шелихове, не продают, дак они вечером на такси — и в Иркутск. Уборщица от них горькими слезами плачет. Кручусь один, как береста на огне, и помощи ни от кого никакой. Совсем замаялся...

Алексей Павлович, по-видимому, был доволен, что нашлись слушатели, которым можно излить душу, рассказать о всех своих житейских горестях и невзгодах.

После чаепития Алексей Павлович вызвал коменданта палаточного городка и велел ему «ослободить» для меня письменный стол.

— Воспитателем товарищ назначен,—объяснил он. — Как ни говори, газетки там, бумаги разные... В общем, ослобождай стол, Ильич, а себе другой со склада привезешь!

Комендант обиженно опустил усы, но перечить не стал.

После завтрака Валентин заторопился в строительную школу — оформляться на работу, а мы с Неизвестных решили сделать обход палаток.

Высокий, в сером коверкотовом плаще и армейской фуражке с черным околышем, Неизвестных широко шагал по дорожкам от одной палатки к другой. Пригнувшись в дверях, заходил внутрь, знакомил меня с дежурным, деловито осматривался вокруг, заглядывал

под матрацы, в тумбочки, ругался, если находил там грязные носки или портянки.

В каждой палатке обычные деревянные полы и досчатые стенки с маленькими застекленными оконцами. В два ряда выстроились восемнадцать новеньких коек, столы, тумбочки, табуретки, а в некоторых палатках даже зеркальные шкафы для платья. У девчат букетики полевых цветов в стеклянных банках, салфетки, вышивки, открытки на стенах.

А вот двенадцатая палатка встретила нас зловонным отстоем табачного дыма. Около двери переполненный таз. Рядом — исковерканная алюминиевая крышка от бачка с водой. Повсюду — на полу, на клеенке стола — окурки, куски колбасы, консервные банки и пустые бутылки. На одной из кроватей валялся здоровенный детина с перевязанной полотенцем головой.

— Что тут у вас происходило?—спросил я.

Парень покосился мутными глазами, провел языком по пересохшим губам:

— Выпили вечером малость. День рождения товарищу отмечали.

— И часто у вас такие «дни рождения» бывают?

— А кто нам запретит изящную жизнь? — с наглым вызовом спросил парень. — Есть деньги, вот и выпиваем! Не будет — занимать к тебе не пойдем! Как моя фамилия? Гуминалович, Роман Гуминалович. Советую запомнить — не раз, наверное, еще встретимся!

— Насчет будущих встреч не возражаю,— стараясь подавить раздражение, как можно спокойнее ответил я, — только не при таких обстоятельствах, как сегодня. Что у тебя с головой?

— Оцарапал немного, на столб вчера налетел. Лампочки, говоришь, на столбах горят? А я специально искал такой, на котором лампочки нет. Как видишь — нашел! Правильно, оказывается, в песне поется: «кто ищет, тот всегда найдет!»

Последнюю фразу Гуминалович протянул гнусавым речитативом. Глаза его теперь блестели лихорадочным блеском. Казалось, он от души радовался своей вчерашней «удаче»: и напился, и столб «темный» нашел, и голову себе об этот столб разбил!

Гуминалович лежал на кровати прямо в верхней одежде и стоптанных кирзовых сапогах, правая рука сжата в кулак под головой, левая бессильно вытянута вдоль туловища.

— Брось, Роман, паясничать! — довольно грубо оборвал я Гуминаловича. — Выбирай одно из двух: или на столбы больше не будешь налетать, или... или со стройкой расстанешься! Староста палатки у вас есть? Нет? Вечером приду, проведем собрание и изберем. Вы, Алексей Павлович, скажите уборщице, чтобы не убирала сегодня у них.

Гуминалович проводил нас удивленным взглядом, а когда дверь за нами закрылась, промычал:

— «Со стройкой расстанешься»!.. Подумаешь, напугал! Была без радости любовь, разлука будет без печали!..

Несколько шагов шли молча.

— Да, — вздохнул Алексей Павлович, — любуйся вот на таких красавчиков. Что с него возьмешь? Горсть волос? А насчет того, чтобы со стройки согнать, это ты, паря, того... загнул маленько. Нет у нас такого права, чтобы прогонять людей — они по комсомольским путевкам приехали! А этого Гуминаловича в самый раз бы сейчас вытурить отсюдова. — Неизвестных оглянулся по сторонам и снизил голос. — Вчера ночью у нас тут опять драка была. Кто дрался — леший их разберет, наверное, и он там был, только не говорит.

— Ничего, Алексей Павлович, с Гуминаловичем я сегодня еще раз поговорю...

В пять часов вечера палаточный городок ожил. Ребята возвращались с работы, сбрасывали пропотевшие спецовки и бежали умываться. Одни чистили картошку около бака с водой, другие спешили в ларек за продуктами, кто-то искал у соседей вазелин, чтобы смазать обгоревшие на горячем сибирском солнце плечи. У каждого находились свои заботы и хлопоты.

Мы с Алексеем Павловичем уточняли по списку, в каких палатках еще не избраны старосты, когда в открытую дверь просунулась видавшая виды соломенная шляпа с узкими крутыми полями. Шляпа приняла горизонтальное положение, и из-под нее блеснули настороженные мальчишеские глаза.

— Кто тут воспитатель новый? — спросил хозяин шляпы.

— Я воспитатель.

— Так вот что, товарищ воспитатель, не знаем, как вас величать, вопрос у нас один: почему распорядились не убирать в нашей палатке?

— Величать меня, пожалуй, не стоит, — ответил я в тон парню. — Распоряжений тоже пока никаких не давал, а попросил не проводить уборку в вашей палатке. Ты из двенадцатой? — Ходок утвердительно кивнул шляпой. — Передай ребятам, что через полчаса я приду к вам. Пусть не расходятся, собрание проведем. А пока потрудитесь сами навести в палатке порядок!

— Ладно, я передам ребятам, — после минутного замешательства согласился ходок. —

Только едва ли найдется такой дурак, чтобы за уборщицу ишачить!

— Но, паря, сейчас у тебя с имя бой будет! — озабоченно почесал затылок Неизвестных. — Может, вместе пойдем? Вдвоем оно все же сподручней.

— Ничего, Алексей Павлович, пойду один... Так кто, говоришь, у нас в пятнадцатой староста, Акимов, что ли?..

Мы продолжали разговор о делах, а мысли мои были в двенадцатой палатке. Кто в ней живет, как меня встретят? Гуминалович, конечно, все уже рассказал. Сумею ли выдержать характер, убедить ребят? Приберут ли они в палатке до моего прихода? Вопросы возникали один за другим и ни на один из них нельзя было ответить с уверенностью.

Через полчаса я постучался в двери двенадцатой палатки.

«А ведь тут ничего с утра не изменилось!» — при виде прежнего хаотического беспорядка эта мысль сразу обожгла сознание. Я поздоровался, сел на табурет и снял фуражку. Человек пятнадцать молодых парней сидели на койках, табуретках и с настороженным ожиданием смотрели на меня.

— Давайте знакомиться, — предложил я.— Зовут меня Анатолием, назначен к вам воспитателем.

— Это как понимать — специально нашу палатку воспитывать, что ли? — молодцевато тряхнул черными кудрями хлопец в ладно подогнанной солдатской гимнастерке и лукаво подмигнул своему соседу, одетому в такую же гимнастерку. — Опоздали малость по части нашего воспитания. Лет на десять пораньше встретиться — в аккурат было бы!

Я мельком взглянул на говорившего и узнал в нем Романа Гуминаловича. Полотенце с головы снял, и на лбу его, отливая ядовитой зеленью, красовалась огромная шишка.

— А, старый друг — лучше новых двух! Как жив-здоров? Я-то уж на поминки к тебе собирался, думал, киселем приятели угостят.

Ребята засмеялись, а Роман, смутившись, повысил голос:

— Если воспитывать пришел — воспитывай! Нечего насмехаться!

— Цыц, Рома! — прикрикнул на Гуминаловича его сосед, парень в солдатской гимнастерке. — Не выпрягайся из оглоблей! Серьезный разговор есть. — Он повернулся в мою сторону, нахмурил брови. — Это по вашей милости у нас в палатке такой... такой беспорядок?

— Вряд ли по моей, — глядя в глаза юноше, твердо сказал я. — Точнее сказать, вы сами в этом виноваты.

— То есть, как это — мы? Вы же запретили убирать в палатке?

— Запретил! Но не я, извините за выражение, насвинячил здесь, и не уборщица.

— Вот в чем дело, — разочарованно протянул парень. — Но вы не забывайте, что мы по двадцать четыре рубля в месяц за койку платим!

— Положим, двадцать четыре рубля ты еще ни разу не платил: пятый день здесь живешь... Тебя как зовут?

— Алферов Анатолий.

— Так вот, тезка, мораль читать я тебе не собираюсь. Дом и родителей твоих вспоминать тоже не стану, хотя дома ты, очевидно, окурки на пол не бросал. Давай лучше простой арифметикой займемся. Двадцать четыре рубля в месяц, говоришь? Может быть, и многовато, не спорю. А вот уборщица ваша каждый день пять палаток убирает и триста шестьдесят рублей в месяц получает! Это как, много? Хочешь, я тебе из своего кармана дам сейчас двадцать четыре рубля? Согласишься ты убрать все это и пол вымыть?

— Мне ваших денег не надо, — обиделся Алферов. — Как-нибудь сам на харчи заработаю!

— Не о деньгах разговор, Анатолий... Кстати, на «вы» со мной обращаться совсем не обязательно. Я ведь тебе не начальник, да и по возрасту мы ровесники... Деньги — дело наживное, а совесть...

— Где стыд был, там шерсть выросла! — грубо хмыкнул Гуминалович.

— Если ты о себе речь ведешь, охотно верю, что так оно и есть, — отозвался я на реплику Романа. Ребята снова хмыкнули. — В общем, давайте, ребята, подбивать бабки всему нашему разговору. Я могу предложить только одно: сегодня сами приберете в палатке, а с завтрашнего дня будет убирать уборщица. Согласны?

— Убирать, так убирать, — не слишком охотно согласился Алферов. — Митинг окончен, расходись, ребята!

— Подожди, Анатолий, — остановил я Алферова. — Есть еще один вопрос. Надо избрать старосту палатки.

Выборы старосты были короткими. Приятель Алферова обвел всех оценивающим взглядом, ткнул пальцем владельца соломенной шляпы и пробасил:

— Ты будешь старостой!

— Почему это я? — взвизгнул тот.

— Же-е-ня, спокойно, не нервничай! А если мы тебе доверяем. Доверяем, ребята?

— Конечно, доверяем! — загалдели все.

— Ну, вот и решили! — удовлетворенно поправив красивые черные усы, проговорил все тот же приятель Алферова. — Я согласен быть твоим помощником. Есть еще одно предложение: сегодня уборку производит сам староста, а потом — все остальные, по графику...

В этот вечер я успел побывать только в трех палатках. В одиннадцатой, девичьей, избрали старостой Лиду Куликову. Она окончила в Орле среднюю школу, работала год на часовом заводе. Хорошая спортсменка, на заводе была комсомольским активистом. Сейчас работает на Промстрое бригадиром учеников-каменщиков.

В каждой палатке тьма-тьмущая вопросов. Почему автобус редко ходит в Иркутск? Когда в городке будет своя самодеятельность? Где купить кирзовые сапоги? Почему в ларьке нет колбасы? Где можно стать на комсомольский учет? Как организовать коллективный выезд на Байкал? Все интересуются, спрашивают, требуют каждый свое, и никому нет дела до того, что я первый день на стройке и ничегошеньки не знаю.

В нашу конторку я вернулся во втором часу ночи с головой, опухшей от обилия всех этих «почему», «как»? «где»? Валентин уже спал, примостившись на досках стеллажа и подложив под бок пару матрацев. Босая нога высунулась из-под одеяла и уперлась в связку новеньких алюминиевых кружек. Алексей Павлович сидел за столом в плаще и фуражке. С видом заправского бухгалтера, слегка поплевывая на пальцы, он листал свою тетрадь и выписывал на бумажку перечень неотложных дел на завтра.

Уснуть в эту первую ночь я долго не мог. Лежа с открытыми глазами на жестком диване, смотрел на темный переплет окна и перебирал в памяти события дня. Мысли снова и снова возвращались к двенадцатой палатке. Припоминая свой разговор с ребятами, я чувствовал, что в какой-то мелочи не удержался на высоте, сдал свои позиции, пошел на уступку. Вернее всего, такой уступкой было мое молчаливое согласие на избрание старостой Женьки Павликова. Надо было бы предложить Алферова. Как это я сразу не сообразил? Впрочем, правильно ли это — «не сообразил»? Зачем обманывать себя? Знал ведь, сразу, что так надо сделать, но... но побоялся рискнуть, побоялся, что не удастся убедить ребят. Эх ты, воспитатель!..

Мысли одна горше другой лезли в голову. Сам того не замечая, я ворочался на диване и гремел пружинами. Переплет на окне стал еще чернее: занимался ранний июльский рассвет. До моего слуха донеслись шлепки чьих-то босых ног по полу. Я вздрогнул, увидев над собой высокую фигуру.

— Замерз, поди, бедный, — ворчливо шептал Алексей Павлович. — Простудится ишо, да распаление легких подхватит. Прикрыть, что ли, парнишку?

И я почувствовал, как поверх моего одеяла лег коверкотовый плащ Алексея Павловича.

4

Сутки на стройке оказались гораздо короче, чем я ожидал. Не только вести обстоятельный дневник. но даже поесть и поспать как следует зачастую бывает некогда.

Мы с Валентином живем теперь в двадцать девятой палатке. Живем вместе, но почти не видим друг друга. Рабочий день у него начинается в семь утра. Обычно получается так: я прихожу в палатку — Валька уже спит, встаю утром — он ушел на работу.

Несколько дней назад Валентин поступил на вечерние курсы машинистов башенных кранов. Теперь у него почти каждый вечер занятия в учебном комбинате. Ходит он с черными от машинного масла руками, за панибрата хлопает по животу бывалых крановщиков и на каждый башенный кран смотрит, как на свою личную собственность...

В палатке, как и в вагоне, люди знакомятся и обживаются очень быстро, становятся такими близкими, как будто знаешь их много лет. Неудивительно, что и мы с Валентином, прожив здесь всего лишь двенадцать дней, стали старожилами. Тем более, что уже после нас приехали на стройку и поселились в городке еще триста комсомольцев из Орла.

В нашей двадцать девятой ребята подобрались неплохие. Рядом с моей стоит кровать Лени Кулика. Работает Кулик инженером-механиком на комбинате производственных предприятий. Парень он компанейский, только большой непоседа. Ленька и хороший стрелок, и мотоциклист, умеет быстро ездить, но еще быстрее разговаривать. Говорит он со скоростью до тысячи слов в минуту, глотая не только окончания и слова, но и целые фразы. Иногда рассказывает Кулик что-нибудь смешное. Вся братва напряженно слушает. Ленька уже и рассказ закончил, и сам досыта насмеялся, тогда только остальные поймут, о чем, в сущности, он говорил.

Не меньше трудов и энергии надо затратить и для того, чтобы разобрать почерк Кулика. Буковки у него, что бисер, и сыпятся они из авторучки с такой же скоростью, как слова с языка. Любит Ленька поспать, любит прихвастнуть, любит и поработать. Мне еще

не приходилось встречать людей, так самоотверженно любящих свою профессию, как Леня Кулик.

Старостой палатки у нас Саня Потапов. Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь называл его Александром или Сашей — просто Саня. У Сани добрая душа, светлые волнистые волосы и голубые глаза с поволокой. Багровый шрам на щеке не только не уродует лицо, но еще больше подчеркивает его мужественную красоту. Потапова хлебом не корми, только дай побалагурить да поволочиться за девчатами. Умеет он прикинуться деревенским простаком, которому можно смело совать пальцы в рот, хотя на самом деле Саня прошел все огни и воды, медные трубы и чертовы зубы. Родился и вырос на севере, отслужил в армии, сейчас работает в Спецстрое трубоукладчиком.

Ребята знают, что ночью Саня приходит в палатку последним, и каждый раз над ним разыгрывают какую-нибудь шутку: кровать разберут или кружку с водой пристроят над дверью. Потапов беззлобно сносит эти шутки. Если его спрашивают, где был, с невинной улыбкой отвечает:

— Дружил!..

За последние дни я познакомился с многими комсомольскими активистами. К числу самых авторитетных и влиятельных людей в палаточном городке в первую очередь нужно отнести Бориса Акимова. Техник по образованию, он в Орле работал комсоргом на заводе «Трансмаш». Когда Центральный Комитет партии обратился к молодежи, Акимов в числе первых решил поехать на строительство Иркутского алюминиевого. Глядя на него, написали заявления и другие активисты завода. На стройку трансмашевцы приехали большим сплоченным отрядом и почти все пошли работать в Спецстрой. Пошли не потому, что всем нравилась профессия трубоукладчика — многие не имели представления, куда и какие трубы придется укладывать, а потому, что в Спецстрой пошел работать Борис. Акимову предлагали должность мастера, но он не захотел отрываться от своих земляков и остался в бригаде.

Есть такие люди, которым любая одежда к лицу, наденут ли они хороший выходной костюм или хлопчатобумажный комбинезон, модельные туфли или резиновые сапоги с широкими негнущимися голенищами. Во что бы ни оделся Борис, он всегда выглядит аккуратным, подтянутым, всегда чисто выбрит. В его внимательных, слегка прищуренных глазах чувствуется незаурядный ум, напряженная работа мысли. Акимов не лезет вперед, не навязывает своего мнения, но у нас уже входит в традицию советоваться с ним по всем серьезным вопросам. В Орле у Бориса остались жена и пятилетняя Наташенька.

Вот насчет Мосина наши мнения с Валентином разошлись. Мне нравится напористость, хватка этого парня атлетического сложения, с ярким девичьим румянцем во всю щеку. Если уж он возьмется за что, можно не сомневаться — вытянет! Валентин уверяет, что Генка какой-то скользкий и здоровается с ним сквозь зубы, а Мосин или по простоте душевной не замечает Валькину неприязнь, или только делает вид.

Володя Коврижкин живет вместе с Мосиным в десятой «семейной» палатке, работает на Промстрое бригадиром учеников-каменщиков. У него длинные руки и крупная голова, остриженная под машинку. Масленые глазки с хитринкой сразу выдают в нем плута девяносто шестой пробы. Посмотрит на кого-нибудь, ухмыльнется так, что глазки совсем скроются — одни щелки, а на лице написано: «Я, мол, тебя, духа такого, знаю!»

Самая молодая и самая забавная среди нас — Нина Городина. Нет, не забавная, просто... просто хорошая девушка, почти девочка — курносая, с короткими косичками и чуть припухшими детскими губами. Зеленая с начесом лыжная куртка, короткие, по щиколотку, шаровары, коричневые туфли на босу ногу придают ей сходство с подростком. Даже руки у нее такие же, как у мальчишки-сорванца — загорелые, обветренные, покрытые цыпками.

В палаточном городке о Городиной чуть не анекдоты рассказывают. Еще в первые дни девчонки говорили мне, что приехала-де из Орла на стройку актриса — в очках, с крашеными ногтями, сама стихи сочиняет. Предложили ей пойти работать в бригаду, а она в ответ: «Что я, кирпичи ворочать приехала? Театр подавайте!»

Во всех этих злопыхательских баснях «сарафанного радио» правдой оказались только Нинины стихи, очки и ее прошлая работа в театре.

Судьба Нины — это судьба нашего поколения, беспокойного ищущего, непоседливого.

Училась в школе девчонка. С увлечением читала книжки о героях-комсомольцах. Бегала на пионерские сборы и репетиции драмкружка. Страстно мечтала стать актрисой. Вот и школа уже позади. В руках бережно завернутый в газету аттестат зрелости. Огляделась девчонка вокруг; как широк мир и как много в нем красивых трудовых дорог — выбирай любую! Вчерашняя десятиклассница стала актрисой кукольного театра.

А потом?

Потом страшная сутолока в райкоме комсомола: получают комсомольские путевки в Сибирь. Обладатели этих заветных книжечек уже ведут между собой деловые разговоры. Какая-то девушка обращается ко всем с одним вопросом:

— Нужно ли брать платье с короткими рукавами? Ведь в Сибири холодно...

Кто-то советует товарищу захватить с собой побольше луку, кто-то сокрушенно вздыхает, что молока в Иркутске, наверное, днем с огнем не найдешь.

— Не будет молока — кефир будем пить! — отвечает скептику звонкий девичий голос.

Все оборачиваются и с любопытством рассматривают маленькую курносую девчонку в очках — вот она какая, Нина Городина!

В отделе кадров треста долго думали, куда определить Городину.

— Может быть, в пионерлагерь поедем, девушка? Вожатой? Это километра четыре от Шелихова, на речке Олхе.

— Нет, нет! — решительно замахала руками девчонка и в стеклах очков блеснула тревога. — Только на стройку, учиться кирпичи в стенку класть!

Работает Нина учеником каменщика в Жилстрое и вместе с Валентином учится на вечерних курсах крановщиков. По характеру Нина Городина прямолинейна, вспыльчива, терпеть не может никаких поблажек и снисхождений к себе...

Масса новых знакомств, куча свежих впечатлений. Не успеваю даже «переваривать» их, не то что записывать в дневник.

Как-то вскоре после приезда собрались мы все на бревнах около кубовой и стали обсуждать, с чего начать нашу общую работу.

Я рассказал о положении дел в нашем комсомольском городке, о том, что через два дня на стройку приедут еще триста комсомольцев из Орла. Слушали меня молча. Сосредоточенно сдвинув брови, Борис Акимов смотрел на угол палатки. Кулик чертил что-то щепкой на песке. Генка Мосин перекатывал желваки на скулах. Надо было поговорить о комсомольских делах, об общественной работе.

— Вот что, ребята, — первым предложил Акимов. — Давайте начнем с выпуска хорошей сатирической газеты.

Спорить с Борисом никто не стал: газета, действительно, нужна. Начали подбирать состав редколлегии. Леня предложил утвердить редактором Сухарева, но Валентин вдруг заартачился:

— Ну что вы, хлопцы, какой из меня редактор? У меня своей работы навалом. — Подумал немного, махнул рукой. — Ладно, шведы, пару номеров намалюю, а там уж сами извольте разворачиваться. Давайте Серегу Балашова в помощники и кого-нибудь из стихоплетов, чтобы вирши сочинять умел!

При последних словах Валентина все «шведы», не сговариваясь, посмотрели на Городину.

— Записывайте, Анатолий, меня, — сказала Нина. — Буду писать для газеты. Как получится, это уж сами смотрите. Надо бы радиогазету организовать, а то одни пластинки крутят...

— Не все сразу, Нина, — возразил Коврижкин, — надо сначала одно сделать, потом за другое браться. Вы мне вот что скажите, где на комсомольский учет стать?

Сразу порешили послать завтра Лиду Шелудченкову и Лиду Куликову в комитет комсомола стройки и договориться о том, чтобы поставить всех комсомольцев городка на учет.

Создали санитарную комиссию во главе со старостой восьмой палатки штукатуром Татьяной Трошкиной. Мне поручили договориться в жилищном отделе о выделении переходящего приза — радиоприемника — за лучшее санитарное состояние палатки. Каменщица Муся Боярская вызвалась подготовить и провести открытый вечер — конкурс чтецов-декламаторов, столяр Ванюшка Харламов получил пост главного судьи соревнований на первенство городка по шахматам. Геннадию Мосину поручили организовать комсомольский патруль. Коврижкин стал ответственным за подготовку палаток к приезду новой группы комсомольцев-орловчан.

В тот же вечер мы с Борисом собрали в красном уголке всех старост палаток и доложили им план работы на ближайшее время, который наметило наше совещание на бревнах около кубовой. С небольшими поправками план был принят.

У выхода из красного уголка нос к носу столкнулись с Романом Гуминаловичем. Он был слегка выпивши и как-то подозрительно охотно уступил нам дорогу.

— Как жизнь молодая? — спросил я Романа.

— Улыбается от уха до уха!

Когда мы с Акимовым свернули за угол палатки, до нас донесся голос Гуминаловича:

— Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!

Я не уверен, что за всю свою жизнь Роман прочел до конца хотя бы одну книжку, кроме «Букваря», но у него какая-то болез-

ненная страсть по поводу и без повода цитировать стихи. И откуда у него это?..

Вечером Валентин вернулся вместе с Ниной Городиной. Долго сидели в радиоузле и обсуждали темы карикатур для первого номера стенгазеты. Решили назвать ее «БОКС» — боевой орган комсомольской сатиры. Так когда-то называлась наша институтская сатирическая газета. Засиделись долго и пошли провожать Нину. Она уже переехала в первое только что отстроенное общежитие в квартал 10 «б».

Шли сначала полем, потом тропинкой через лес. Валентин рассеянно стегал себя прутом по голенищу сапога и резкими ударами сбивал со стеблей белые ромашки. Нина восторженно рассказывала нам о девчонках из своей бригады.

— Вы Райку Шупикову, бригадира нашего, знаете?

Райку я, к сожалению, не знал. Нина укоризненно покачала головой.

— Как же это вы ее не знаете? Эх вы, Анатолий! Ведь это же душа человек! И в бригадмиле состоит, и на работе у-у какая строгая! В Орловской области клубом заведовала. Обязательно познакомьтесь, она вам во многом поможет.

Нина сорвала листик полыни, размяв его между пальцами, понюхала.

— Понюхайте, какая прелесть! — и с готовностью поднесла мне щепоть к носу.

— Фу, прелесть нашла! — фыркнул Валентин. — У нас в деревнях клопов полынью морят.

— Значит, ничего в ваших деревнях не понимают! — вспыхнула Нина. — Живут, наверное, такие же сухари, как вы...

Начался ветер. С запада, занимая полнеба, наползала лиловая туча. Торопливо кутаясь в дорожную пыль, упали первые крупные капли дождя...

От кромки леса до подъезда общежития пришлось рвануть стометровку. Нина запнулась за кочку и со всего маху упала. Очки соскользнули и укатились в траву. Валентин догнал ее, протянул руку.

— Да ну вас! — запротестовала Городина, но от протянутой руки не отказалась.

Отыскали очки, Нина сунула их в нагрудной карман, взялись все трое за руки и побежали дальше. Разгоряченные быстрым бегом, ворвались в комнату и в изнеможении повалились на табуретки. А через несколько минут дружно уписывали макароны, подогретые на плитке.

А дождь все полоскал и полоскал, и не было никакой надежды переждать его. Пришлось взять у девчат голубые накидки с капюшонами и идти. Пробираемся к себе через лес. В кромешной темноте шумят под дождем деревья, бурлят ручьи, ухает и хохочет ветер. Вода ручьями течет с подола накидки в сапоги, смачно хлюпает в них, щекочет пальцы ног. Колючие ветвистые молнии с грохотом раскалывают небо на куски и из обломков туч сплошным потоком хлещет вода. Яркие фиолетовые вспышки на миг выхватывают из темноты ощетинившиеся лужи, резко очерченные контуры щербатого черного леса. Кажется, самые тучи легли на землю и выжимают из себя потоки воды. Вода вверху, вода внизу — всюду вода...

5

Последнее время целыми днями пропадаю на строительных площадках.

— Ишь чо делает, — ворчит на меня Алексей Павлович. — День-деньской носится по стройке, как савраска без узды, а потом сидит ночью до петухов, все пишет што-то. Это, паря, сколь же у тебя родни, ежли каждый день письма строчишь? И чего ты все бегаешь да пишешь? Сел бы, отдохнул, книжку почитал. Ты погляди на себя, на кого походить-то стал, в чем только душа держится? Мотри, паря, добегаешься до того, что придется тебя отсюдова ногами вперед, на погост. Што ты, што друг твой Валентин — одного поля ягодки. Привыкла собака за возом бегать, вот и не сидится в конуре. Совсем скоро обезножите!..

Ругается Неизвестных беззлобно, просто так, для порядка. Меня ругает, а сам тоже от зари до зари на ногах, ни на минуту не присядет.

Сидеть некогда. Начали проводить отчетно-выборные комсомольские собрания в группах и на участках. Готовимся к первой комсомольской конференции стройки. Приехали инструктора из обкома ВЛКСМ, раскачался и комитет комсомола строительства.

В комитете мне пришлось однажды побывать. Там полная неразбериха. В связи с приездом орловчан комсомольская организация стройки за две недели выросла в пять раз. Секретарь комитета Павел Смирнов, хороший парень, в недалеком прошлом сам рядовой рабочий, бригадир штукатуров, совсем растерялся. Привычные старые формы и методы оказались непригодными для работы в новых условиях, события захлестнули комитет комсомола. Многочисленная, в тысячу человек, комсомольская организация строительства осталась, по существу, без руководства.

Секретарь парткома Иннокентий Иванович Хворов пригласил к себе на днях молодых коммунистов, бывших комсомольских работников, рассказал нам обо всем и попросил помочь в подготовке конференции. Распределили между собой комсомольские организации и вот теперь все эти дни налаживаем здесь работу.

Недавно побывал на Промстрое. Здесь на площадке в несколько квадратных километров, примыкающей к линии железной дороги, ведется основное промышленное строительство. Возводятся корпуса завода железобетонных изделий, бетонно-растворного завода, деревообделочного комбината, гаража на четыреста автомашин, ремонтно-механического завода.

Напротив Промстроя — площадка будущего комбината. На каждом шагу неповторимые, только на стройке возможные контрасты. В пяти шагах от толпы молодых сосенок выстроились рыжие штабеля кирпича. Среди густых зарослей кустарника легла железобетонная балка. Рядом с рокочущим скрепером, под самыми корнями ромашек, пробило чернозем целое семейство ядреных, похожих на куски сала, шампиньонов. Густые заросли шиповника с розоватыми завязями удивленно обнюхивают своими колючими усами окрашенные суриком бока электролизных ванн — на стройку уже поступает заводское оборудование...

Сердцем большой базы по праву называют котельную. Ее еще нет, но она будет. В котловане, куда лягут башмаки железобетонных колонн, работает комсомольско-молодежная бригада землекопов-бетонщиков Николая Колобкова. На Промстрое ее в шутку зовут «интернациональной». Народ в бригаде собрался с Дона, с Волги, с Иртыша. Сам Колобков москвич, Владимир Юрченко — из Саратова, Николай Сучков — из Казани, Иван Григорьев и Григорий Семенов — из Чувашии, Николай Гуков, Владимир Бычков и Петр Александров — из Орла, Николай Позолотин — иркутянин.

Рядом с «интернациональной» колобковской бригадой работает на лесах бригада Володи Коврижкина. В ней одни орловчане, ученики каменщиков. Держать в руках мастерок уже научились, а вот углы заводить никто, кроме Олега Панюшкина, не умеет. Суетливо натягивают шнур по наружной кромке стены, выставляют «маяки», внимательно следят за швами.

Комсомольское собрание в бригаде Коврижкина уже прошло. Когда я попросил Володю написать о нем для радиогазеты, он принес и передал мне один из протоколов.

Вот он, дословно, этот написанный голубыми чернилами на листках из блокнота протокол:

«Протокол № 2

открытого комсомольского собрания бригады учеников-каменщиков Промстроя
18 июля 1956 года. 5 часов вечера иркутского времени.
Присутствуют 20 человек комсомольцев и беспартийных.

Повестка дня:

1. О работе и дисциплине комсомольцев.
2. Разное.

Слово предоставляется Коврижкину Вл., бригадиру. Он же звеньевой 1 звена.

Коврижкин сказал о работе своего звена. В первые дни люди к работе относились с холодком, не выходили на работу, опаздывали. Некоторые товарищи уходили с объекта, когда им вздумается (например, Давыдова Людмила), ни у кого не спросившись. В последнее время звено, а также и вся бригада работает хорошо. Большинство комсомольцев настойчиво овладевают новой для них профессией каменщика.

Затем слово предоставляется тов. Панюшкину О.

Он также говорил об отношении рабочих к труду. Некоторые товарищи (как, например, Федорова Р.) много кричат, со всеми ругаются. Сама себя называет передовой, хвалится, что, дескать, она была на хорошем счету на Орловском заводе им. Медведева. Я вместе с ней работал в Орле. Она и там не была передовой, плохо трудилась. Она, как маленький ребенок, занимается детством.

Слово предоставляется тов. Ставцеву А.

Скажу о работе девушек, их в нашем звене 5 человек. Они часто сядут на кирпичи и начинают разводить философию о любви и о характерах парней и девчат. Но этим можно было заниматься или во время обеда, или в 10-минутный отдых, но никак не во время работы. Получается так, что они положат кирпич-два и отвлекаются. Это уже не работа, тов. комсомольцы. Некоторые девушки говорят: «Мы лучше будем подсобниками, а учиться на каменщиков не будем». Нет, товарищи, так дело не пойдет.

Затем вносится предложение выпускать свою стенгазету. Избрали редколлегию в составе Панюшкина О. и Боярской М.

Решили и постановили:

1. Бороться с прогулами и не опаздывать на работу.

2. Уважать и любить свою новую профессию.

3. Раз все приехали сюда добровольно, по призыву партии, значит, работать надо только по-комсомольски, с огоньком, чтобы все сказали: «Вот это комсомольцы!»

4. Работать дружно, весело, нормы перевыполнять, чтобы нас ставили в пример другим, а не нам какую-нибудь другую бригаду.

Давыдову и Федорову предупредить, чтобы не опаздывали, не занимались на работе посторонними разговорами.

По второму вопросу решили: всем комсомольцам с аванса заплатить членские взносы за июнь и задолженность, если у кого имеется.

На этом собрание окончилось. Всего длилось 44 минуты.

Вел собрание группкомсорг А. Ставцев».

И так повсюду, во всех бригадах, на всех участках. Много трудностей, много помех, но коллективы уже начинают складываться. Костяком их становятся коммунисты и комсомольцы.

14—15 июля прошла у нас первая отчетно-выборная комсомольская конференция стройки. Конференция была исключительно бурной. Старый комитет комсомола разделали под орех — камня на камне не оставили. Крепко и поделом досталось начальнику ОРСа Шишкину.

Были на конференции секретарь парткома Хворов, управляющий трестом Красильников, второй секретарь обкома комсомола Власов. Хворов с Красильниковым рассказали о положении дел на стройке. За десять месяцев с момента организации трест ни разу не выполнил государственный план. Плохо со снабжением материалами. Не хватает кирпича, труб, сборного железобетона, шифера. Цемента осталось только на три дня.

— Наши телеграммы в главк и министерство не дают никакого результата, — говорил на конференции Красильников. — Обещают, присылают наряды на цемент и шифер, но материалов нет.

Часа два ушло только на то, чтобы обсудить кандидатуры в новый состав комитета. Беспощадно отводили каждого, кто чуть-чуть запятнал себя перед комсомольцами или не внушал доверия. В комитет выбрали Геннадия Мосина, Владимира Коврижкина, Нину Городину, Лиду Шелудченкову, из старого состава — Павла Смирнова, Валентину Фролову и некоторых других товарищей. Комсоргом стройки избрали Леню Кулика, заместителями — Бориса Акимова и меня. Кулик отнесся к факту избрания его секретарем без особого энтузиазма. Ему не хочется оставлять свою работу.

На первом же заседании комитета решили через «Комсомольскую правду» обратиться с открытым письмом к министру строительства предприятий металлургической и химической промышленности Д. Я. Райзеру и ребром поставить перед ним вопрос о снабжении стройки необходимыми материалами. Проект письма поручили подготовить Акимову. При обсуждении письма на комитете дело едва не дошло до драки. Кулик, Мосин и Смирнов настаивали на том, чтобы оно было как можно резче. Мы с Борисом выступили против.

— Вы либералы, соглашатели! — кричал Ленька и бегал по комнате, натыкаясь на табуретки.

— Если ты еще будешь кричать, поставим вопрос об удалении тебя с заседания комитета! — сказал я Кулику.

— А что? — поддержал меня Акимов. — Выгоним и без тебя будем обсуждать. Кричи потом за дверью, сколько влезет!

Все, конечно, засмеялись и согласились с тем, что горячность Кулика вполне можно отнести за счет проявления комсомольского задора. В общем, наше письмо министру выглядит довольно хлестко.

Акимов доставит его в редакцию «Комсомольской правды». Они с Мосиным на днях выезжают в Орел, чтобы на месте подобрать для нашей стройки еще триста-четыреста комсомольцев. Люди нужны, как воздух, и... как цемент...

6

Три дня назад у нас была первая комсомольская свадьба. И не одна, сразу три! Две в комсомольском городке и одна — в общежитии квартала 10 «б»: Олег Панюшкин женился на Галке Овечкиной, Борис Герасимов на Мусе Боярской и Володя Капралов на Наде Еськовой. Пришлось нам разделиться на две группы, чтобы побывать на всех свадьбах. Кулик с Коврижкиным пошли в общежитие к Олегу Панюшкину. Как ни говори, работали в Орле на одном заводе. Нина Городина тоже пошла в квартал 10 «б» — вместе с Галкой живут. Генка Мосин и мы с Борисом остались в Комсомольском городке. Поровну разделили и музыкантов. Один из баянистов Женька Киров получил назначение на свадьбу в 10 «б», другой — радист Колька Терехов, остался с нами.

Весь короткий субботний день был до отказа заполнен предпраздничными хлопотами.

Надо было съездить в Иркутск за подарками для молодоженов, закупить продукты, раздобыть в столовой посуду. У молодых, кроме пары столовых ложек, никакой посуды не оказалось.

Для молодоженов освободили отдельную палатку. И никто не роптал, что приходится «за здорово живешь» перетаскиваться к соседям.

Пока девчата мыли в палатке пол, Алексей Павлович привез откуда-то настоящие двухспальные кровати с панцирными сетками, столы и стулья. Если верить Неизвестных, он «вырвал все это из глотки у самого Целикова, начальника жилищного отдела». Кровати торжественно внесли в палатку, на столы поставили букеты полевых цветов. Вскоре сюда прикочевали бачок для воды, чайник, утюг, графин, зеркало и будильник.

Девчонки со всего городка бегали хоть одним глазком взглянуть в новую «семейную» палатку, но Мосин безжалостно гнал их прочь:

— Будете сами выходить замуж, узнаете!

Для нужд свадебной комиссии выделили одну кубовую с плитой и титаном. Когда потребовалось расколоть дровишек для плиты, охотников нашлось столько, что около кубовой в момент выросла целая поленница.

Свадьбу намечено проводить в восьмой палатке, где живут обе невесты. Из палатки вынесли все кровати и поставили накрытые новенькими простынями столы.

В восемь часов вечера радист Колька Терехов, постучав предварительно ногтем по решетке микрофона, высоким, срывающимся от волнения голосом объявил по радио:

— Всех, приглашенных на комсомольскую свадьбу, просим пройти в восьмую палатку!

Народу в палатке — битком. Столы ломятся от закусок и бутылок. Молодых поздравляют, вручают подарки. Зачитали приветственные телеграммы из Орла, от Иркутского обкома комсомола. Ослепительно вспыхивают лампы, щелкают затворы фотоаппаратов: на свадьбу приехали корреспонденты газет.

Самый старший среди нас по возрасту — Алексей Павлович Неизвестных. Ему предоставляется первое слово. Как и полагается градоправителю, Неизвестных торжественно преподносит молодым ключ от их новой палатки и провозглашает тост:

— За здоровье, за счастье молодых!

Кто-то, видимо, уже успел попробовать из стакана и истошным голосом вопит:

— Горько!!!

— Ты, паря, пошто же не вовремя «горько» орешь? — поучает его Алексей Павлович. — Первая посудина не должна «горчить». Вот вторая — другое дело! Сейчас ишо рано кричать...

— Сыграй, Коля, что-нибудь веселенькое! — попросили Терехова девчата.

Колька молодцевато расправил узкие плечи, правое ухо положил на меха баяна и рванул нашу любимую «Едут новоселы». Брезентовый потолок заколыхался от дружного хора голосов.

С особым воодушевлением пели последний куплет:

Ты ко мне приедешь раннею весною
Молодой хозяйкой прямо в новый дом...

И каждый в этот момент думал, наверное, что песня эта специально для нас сложена, чтобы распевать ее вот так вечером в палатке на свадьбе друзей. Казалось, не будь этой песни, не была бы сегодняшняя свадьба такой веселой и торжественной. Может быть, вспомнились многим их друзья и подруги, оставшиеся в далекой Орловщине, оттого и зазвучала давно знакомая песня так тепло и задушевно.

Мельком я взглянул на Акимова. Между пальцами зажата папироса. Борис смотрел, как огонь обрастает серым пористым столбиком пепла и думал о чем-то своем. Складка на лбу стала еще глубже.

— Ты почему не поешь? — окликнул я Акимова.

Борис вздрогнул от неожиданности, уронил пепел на колени, даже не заметив этого.

— Да вот размечтался немного.

Генка Мосин взмахнул руками, и все дружно кричат:

— Горько! Горько!

Женихи с невестами краснеют, смущаются, для отвода глаз чуть трогают друг друга губами.

— Это же не поцелуй, а очковтирательство! — бушует Генка, и все снова кричат:

— Горько! Горько-о-о!!!

— Ладно, Надька, давай уж поцелуемся по-христиански! — решился Володя Капралов и трижды крепко поцеловал невесту.

Удовлетворенные гости смилостивились и выпили еще по стопочке.

Девчата запели «Вот кто-то с горочки спустился». Песня мне очень нравится. Удивляюсь, как это раньше я не замечал ее мягкой душевной красоты. Сразу вспомнилась Любка с ее дерзкими синими глазами, чуть вздернутым носом, такая, какой видел ее в первый раз. Кажется, даже голос ее услыхал: «Ты, брат, хвостом не виляй! Если познакомиться хочешь, говори сразу!» Чудачка ты, Любка! И что за нужда мне с тобой знакомиться? Вот

только грустно немножко. Но это, наверное, потому, что нет на свадьбе Валентина. Дежурит он сегодня в строительной школе...

— Выйдем, Анатолий, на минутку. Там опять что-то стряслось! — шепчет мне в ухо Алексей Павлович.

Ночной холодок сразу хватает в свои объятия. Сознание ясное, словно не пил ни капельки.

Из-за палаток доносится шум, глухие удары, стоны вперемежку с ругательствами.

Драка!

Алексей Павлович бежит впереди, я еле поспеваю за ним. В темноте клубком катаются по земле несколько хрипящих тел. Вокруг них еще пять-шесть человек.

К месту драки бежит комсомольский патруль. Нехотя выпуская друг друга, ребята поднимаются с земли, ругаются, грозят кулаками. Только один рычит в бессильной ярости, пытается встать и снова падает. Ему помогают подняться.

Глаза привыкают к темноте. Начинаю различать лица. Вокруг добрая половина ребят из двенадцатой палатки. Опять двенадцатая! Рядом с Алферовым его неизменный друг, плечистый, с ровными черными усиками. Их, конечно, не били. Если уж били, так они. Здесь же вертятся Роман Гуминалович и еще несколько человек.

Пытаемся разобраться, кто завязал драку. Все кричат, галдят наперебой, и получается, что остались одни только битые.

— Ну, хорошо, кто же вас бил?

— Кто их знает? Темно, ничего не видно!

Парень, которого последним подняли с земли, рвет на себе рубаху, бросается на всех. Он пьян до потери сознания. Лицо незнакомое или волосы растрепаны — не могу узнать. Нет, не знаю такого. Бороду у нас никто не носит, а у него русая кудрявая бородка. Все, по-видимому, успели приложиться к бутылке.

— Перестаньте все сразу кричать! Может быть, ты, Анатолий, расскажешь, в чем дело?

— Мы с другом только сейчас подошли, услыхали шум и подошли разнять. — Алферов переглянулся с приятелем. Тот утвердительно кивает головой.

— Кто же все-таки.. — снова обращаюсь я к Алферову.

Кто-то хватает меня за грудь, бьет снизу в подбородок. Голова резко откидывается назад, так, что хрустят шейные позвонки. Зубы лязгают, в глазах вспыхивают оранжевые круги, на языке солоноватый вкус теплой крови. Инстинктивно делаю два шага назад, чтобы удержаться на ногах.

Прямо перед моим лицом растрепанная копна волос и русая бородка. Парень притягивает меня за грудь к себе, наклоняет голову, готовясь нанести еще один удар головой в челюсть.

«Ах, вот оно что!» — Оторвать его руку от груди не успею. Значит, удара не избежать. Резко выбрасываю вперед обе руки, встряхиваю парня за уши, нажимаю большими пальцами на глазные яблоки. Он выпускает мою рубашку и со стоном падает навзничь...

Все произошло так быстро, что никто из ребят не успел опомниться. Теперь они хватают упавшего за руки, тормошат:

— Владька, ты с ума сошел! Это же воспитатель наш...

Зажав ладонями глаза, Владька скрежещет зубами от боли и ярости.

— Как его фамилия, из какой палатки?

— Владька Тарабаров. Он не у нас живет. Из леспромхоза в гости к друзьям приехал, орловский.

— Уведите его в палатку и... и вообще расходитесь.

— Здорово он тебя по зубам-то заехал? — сочувственно спрашивает Неизвестных.

Я ощупываю языком зубы: все целы!

Навстречу, с танцплощадки, группа ребят.

— Скажите, где нам найти воспитателя? — останавливают они нас.

— В чем дело, товарищи? Я воспитатель.

Ребята сбивчиво рассказывают.

— Пришли к нам из Шелихова на танцы. Их здесь побили.

— В лицо помните хулиганов? В какую палатку пошли?

— Помним. Вот сюда пошли! — показывают пальцами на двенадцатую палатку.

— Пойдемте! Узнаете, покажите мне.

В палатке накурено. Несколько пустых бутылок на столе. Ребята о чем-то шушукаются в углу. Несколько человек спят на кроватях в сапогах и верхней одежде.

Ребята глазами показывают на одного из спящих:

— Вот этот!

Это был Александр Плахов.

С помощью комсомольских патрулей и бригадмильцев удалось Плахова скрутить и вынести к машине. Я хотел выйти вместе с патрулями, но со всех сторон на меня сыпались вопросы.

Оставаться одному среди этой взбудораженной, взвинченной спиртным массы людей — опасно. Уйти — значит, оказаться трусом. Я решил остаться в двенадцатой палатке и очень скоро пожалел об этом.

...Вокруг меня плотное кольцо пьяных. Оно медленно сужается. До внутренней стенки кольца уже можно дотянуться рукой. Чувствуется резкий запах разгоряченных тел. Почти физически ощущаю, как трудно становится дышать: не хватает воздуха.

— А что это здесь посторонние набились? — перекрывая своим мощным басом гул голосов, спрашивает друг Алферова. — Ну-ка, марш отсюда! Не дадут спокойно побеседовать с человеком.

«Посторонние» — несколько комсомольских патрулей — незаметно исчезают. Остались только «свои»...

Теперь я один, рассчитывать на помощь нечего.

Прямо передо мной Роман Гуминалович. Глаза холодные, жестокие. Шея вытянута, и по ней ползет снизу вверх острый кадык...

— Калеку хотите из Плахова сделать?

— Пойдем сейчас все и в щепки разнесем вашу милицию!

Сразу приходит решение.

— Тихо! — кричу я чужим голосом. — Если боитесь за своего друга, вместе пойдем в милицию и проверим. Никакого беззакония в отношении Плахова не допустим! Нет, не все пойдем. Пойдешь ты, ты и ты!

Ткнув наугад пальцами в грудь нескольких ребят, я повернулся и пошел к выходу. Кольцо нехотя разомкнулось, образовался живой коридор. Я, не оглядываясь, шел по нему негнущимися в коленях ногами, а мозг сверлила мысль: «Ударит кто-нибудь в спину или не ударит? Если ударят — пропал!» Десять шагов от центра палатки до двери показались длиннее километра. Никто не ударил.

Конечно, я зря прождал в радиоузле. Из двенадцатой палатки никто не пришел. Возвращаться на свадьбу не имело смысла. Настроение было окончательно испорчено. Я вышел на улицу.

Светила полная луна. В ее холодном свете желтели брезентовые крыши палаток. Длинная тень от антенны радиоузла уползла к самому забору. Из восьмой палатки доносился нестройный хор голосов: несмотря на поздний час, свадьба продолжалась.

Горячим комом застряла в горле обида. Я шел и шел, не разбирая дороги, не задумываясь о том, куда и зачем иду. Шел быстро, наступая на собственную тень и стараясь втоптать ее в росистую траву, как будто тень была виновата в случившемся. С каждым шагом тень ускользала вперед, ломалась и сплющивалась о стволы сосен.

Стыдно признаться даже себе, но в эту ночь в лесу, я, кажется, плакал, как мальчишка.

Опомнился я только тогда, когда метрах в пятидесяти впереди раздался трубный рев сирены электровоза и вслед за ним грохот колес. Лязгая буферами, состав тормозил перед станцией Гончарово. Я остановился, огляделся по сторонам. Кругом лес, залитый призрачным лунным светом. Над головой прошелестела крыльями летучая мышь да где-то в стороне ухнул филин. Торопливо выбравшись на шоссе, я зашагал в сторону строительной школы, к Валентину...

В понедельник утром мы с Куликом доложили обо всем секретарю парткома Хворову.

— Вам не кажется, что пришло время освободить палаточный городок от всей дряни? — спросил нас Иннокентий Иванович.

— Конечно, пора! — затараторил Кулик. — Так ведь это сколько времени надо? Пока с обходным листом будут ходить...

— С отделом кадров треста я договорюсь сам, а обходным листком для них будет общее собрание Комсомольского городка.

Вечером посреди танцплощадки поставили стол. Вокруг него собрались все комсомольцы палаточного городка. Собрание решило выгнать со стройки шестерых — Романа Гуминаловича, Льва Симакова, Владимира Незнамова, Леонида Хананаева, Александра Пантелеева и Анатолия Агаркова. Один из них — Агарков — был комсомольцем. Вместе с путевкой у него забрали и комсомольский билет.

Через полчаса к Комсомольскому городку подкатила грузовая автомашина. В нее побросали все пожитки шестерых. Сами они уселись в кузове на чемоданах.

— Куда прикажете доставить? — поинтересовался шофер.

— В Иркутск, на вокзал!

...«Была без радости любовь, разлука будет без печали» — эти слова Гуминаловича оказались пророческими. Разлука, и правда, была не слишком печальной.

7

Эта история началась месяц назад. Как-то вечером пришел ко мне староста Сергей Гирей и рассказал, что к ним в палатку кто-то лазал днем через клапан в потолке. Стали разбираться. Виновником оказался Славка Гревцев. Приехал он из Орла с первой группой комсомольцев, получил назначение в леспромхоз, но не поехал. В отделе кадров об этом даже не знал никто. Парень нигде не работал, иногда уходил из палатки и, как говорили ребята, целые ночи напролет играл где-то в карты. Утром все собрались на работу

и закрыли спящего Славку. Проснувшись, он вылез из палатки через клапан и ушел.

Когда мы с Гиревым пришли, Славка сидел на кровати и лениво жевал кусок хлеба. Подбородок и щеки заросли щетиной, длинные русые волосы не расчесаны и прядями свисали из-под кепки.

— Не сидеть же мне целый день под замком в палатке, вот и вылез! — угрюмо пояснил он. — А насчет карт — играл и играть буду! Никому до этого дела нет! На свои играю, не на ваши...

Я очень резко заметил, что азартных игр у нас не будет, и если еще раз узнаю об этом, придется поставить вопрос о возвращении его в Орел.

— Вот мы тебя еще в «Боксе» разрисуем, — пообещал я.

Славка и к этому отнесся равнодушно. Только в глазах на мгновенье блеснули недобрые огоньки. Я смотрел на Гревцева и думал, а не лучше ли сразу избавиться от него?

В тот же вечер в двадцать шестой палатке было собрание. Присутствовать на нем я не мог, был на репетиции. Часов в десять вечера в красный уголок зашел Сергей Гирев. Он сообщил, что собрание прошло хорошо, Гревцев дал ребятам слово исправиться.

Утром мы с Гревцевым пошли в отдел кадров треста — надо было устраивать парня на работу.

— Подожди, так тебя же в леспромхоз назначили! — удивился начальник отдела кадров Воронов, отыскав фамилию Гревцева в толстой книге приказов. — Почему же ты здесь болтаешься, голубчик? Никаких назначений тебе больше не будет. Езжай в леспромхоз — и все разговоры!

Славка пожал плечами и повернулся к двери, но я удержал его.

— Анатолий Александрович, я прошу оставить Гревцева здесь.

— Ты, что же, за каждого лодыря хлопотать собираешься? — вспыхнул Воронов. — Я могу тебе еще десяток таких же назвать: ходи, хлопочи за них! Ведь он, — Воронов снова ткнул в книгу приказов, — он десять дней бездельничает, а ты еще защищаешь его! Ну, хорошо, переведу я его в Жилстрой, например. А кто может поручиться, что он и там не станет бездельничать?

Я совсем не собирался ручаться за Гревцева. Я даже не знал его как следует. Разговаривали мы только один раз, да и то не разговаривали, а ругались. С какой стати я буду ручаться за первого встречного? Но Славка стоял рядом, втянув голову в приподнятые плечи, и смотрел в угол. Он не спорил, не защищался, он безропотно принимал на себя все обвинения. И только полные мальчишеские губы чуть вздрагивали, кривились в страдальческой улыбке. Помимо своей воли, даже не задумываясь, правильно ли это, я вдруг обернулся к Воронову и запальчиво бросил:

— Я за него ручаюсь!

Воронов сдвинул на затылок флотскую фуражку, смерил меня взглядом и пригрозил:

— Хорошо, я напишу направление в Жилстрой и позвоню Федосееву, скажу, что это за гусь! Не знаю, примут ли его в бригаду. А тебе, воспитатель, не советую ручаться за каждого... — Воронов не договорил и взялся за перо.

В Жилстрой шли молча. Славка не рассыпался любезностями, не благодарил за помощь. Я смотрел на него уголком глаза и думал: «Пожалуй, даже лучше, что не лезет со своими благодарностями. Самолюбивый парень. Тяжело переживает. Значит, и помнить будет дольше!» Договорившись с бригадиром каменщиков Иваном Петровичем Демидовым, я оставил Гревцева в бригаде и ушел в Палаточный городок, не напомнив Славке о своем ручательстве за него и не потребовав никаких клятв. В последующие дни я по-прежнему не напоминал ему о разговоре в отделе кадров: зачем оскорблять человека мелочной опекой и недоверием? Даже не спрашивал его о работе в бригаде. Несколько раз интересовался у Демидова, но делал это так, чтобы Гревцев ничего не знал. Новым каменщиком Демидов был доволен.

Теперь на Славку никто не жалуется. Карты бросил. Работает хорошо. В «Боксе» его все-таки нарисовали. Славка зашел в красный уголок, посмотрел на газету, хотел что-то сказать, махнул рукой и ушел.

Несколько дней назад, вечером, мы с ребятами долго засиделись в радиоузле. Обсуждали материал для очередного выпуска комсомольской радиогазеты на воскресенье. Зина Рыжанкова разучивала сатирические частушки, радист Колька Терехов подбирал на баяне мелодию.

Дверь внезапно отворилась, и на пороге появился Гревцев с гитарой в руках. Было немножко досадно, что он помешал нам, но прогонять Славку неудобно. Попросили его сыграть что-нибудь. Славка долго отказывался, потом сыграл и даже спел песенку из кинофильма «Испытание верности». Играет хорошо, с душой, и голос у него приятный, чистый. А когда поет, лицо как будто становится светлее. Показали ему частушки, предложили спеть их. Славка удивленно посмотрел на меня, немного подумал и согласился. Рас-

пределили куплеты между Зиной и Славкой и приступили к спевке.

Расходились далеко за полночь, довольные предовольные. И Славка сразу стал както ближе и роднее.

В воскресенье весь Комсомольский городок слушал по радио сатирические частушки в исполнении Вячеслава Гревцева и Зинаиды Рыжанковой. Впервые за время нашего знакомства я увидел Славку чисто выбритым. Волосы аккуратно причесаны, на голове ухарски заломленная «мичманка».

Посдавали коменданту
Все белье мы постирать,
А вернули после стирки —
Невозможно и узнать!

выводил Славка перед микрофоном, и слушатели отвечали ему дружным смехом.

Эти стихи радиогазеты тоже написала Городина. За любое дело берется горячо. Пишет стихи для «Бокса», помогает выпускать радиогазету, ведет драмкружок.

Зашел я недавно в красный уголок, где репетировали драмкружковцы. Не заметив моего прихода, Городина горячо размахивала книжкой под самым носом Веры Провоторовой и кричала:

— Ты понимаешь, Верка? Не чувствуется еще в твоей игре настоящей души! Вживаться надо в роль! Представь себе, что ты пожилая женщина, что у тебя взрослые дети...

Немного смешно было смотреть на актера, виновато хлопающего ресницами, и на расходившегося режиссера. Да и то сказать, нелегко ведь Верочке в ее восемнадцать лет «представить себя» пожилой женщиной, у которой взрослые дети...

Последнее время с Ниной творится что-то неладное. Обрезала и завила в парикмахерской волосы, хотя завивка ей совсем не к лицу. Раньше приходила к нам в городок в шароварах, теперь после работы идет домой, надевает синее шерстяное платье, туфли и только потом приходит. Очки почти не носит.

К нам обращается на «вы», но с Валентином разговаривает особенно церемонно — тщательно подбирает слова, смущается и краснеет. Иногда ни с того, ни с сего закапризничает и убежит.

На прошлой неделе мы втроем допоздна просидели над газетой. Собрались провожать Нину в общежитие.

— Нет, нет! Вы и так устали. Я одна дойду! — и торопливо убежала.

Этот очередной каприз чуть не привел к беде. В темноте без очков Нина заблудилась. Долго бродила по лесу, натыкаясь на стволы сосен. По гудкам электровозов вышла на дорогу и по ней — в поселок. Боясь заблудиться снова, попросила встречного мальчишку довести ее до милиции. Там рассказала, что не может без очков найти общежитие. По указанию начальника опергруппы милиции лейтенанта Подорванова дежурный милиционер тотчас же привел с улицы первого попавшегося под руку парня, для острастки записал его фамилию в толстую книгу и передал Нину на его попечение, пригрозив найти того хоть под землей, если не доведет девушку до общежития. Парень всю дорогу роптал, что есть, мол, еще такие, которым сама «милиция ухажеров подыскивает», но оставить Нину не решился.

— Ничего, парень, — успокаивала его Городина, — теперь хоть дорогу к нам в общежитие узнаешь. Девчонки у нас знаешь какие? Сразу понравятся!

Как ни старалась Нина скрыть эту историю, уже на следующий день о ней знала добрая половина Комсомольского городка.

На последнее заседание редколлегии Городина не пришла вовсе. Когда я встретил ее на улице и спросил, почему, ответила:

— Знаете, Анатолий, настроение у меня такое, что сатирические стихи не выходят!

Эх, Нинка, Нинка, уж не влюбилась ли ты?

8

Бригада трубоукладчиков Ивана Синицына вдвое перевыполнила июльский план и завоевала первенство среди комсомольско-молодежных бригад стройки. Многие удивились, кое-кто стал откровенно сомневаться, нет ли здесь какой-нибудь «липы». Еще раз проверили наряды. Все правильно — месячное задание выполнено на 207 процентов...

Вспоминаю, как создавалась эта бригада. Через день после приезда орловчан на стройку около маленькой конторки Спецстроя, что притулилась на лесной опушке, собрались комсомольцы-трансмашевцы во главе с бывшим комсоргом завода Борисом Акимовым. Составляли списки бригад, избирали бригадиров. И как-то само собой получилось, что все активисты быстро определились по бригадам, осталась горстка ничем себя не проявивших ребят. Это были Иван Синицын, его жена Нина и три Владимира — Рослов, Макаров и Девичев.

— Ну что ж, ребята, давайте к нам, — предложил Акимов, хоть сам понимал, что работать крупной бригадой неудобно.

— Нет, Борис, не стоит. Может, нам свою бригаду организовать?

Так и возникла бригада Ивана Синицына.

Инструктор Г. И. Параскив, опытный трубоукладчик, привел ребят к узкой прорытой

экскаватором траншее, объяснил, как производится подчистка дна, как пользоваться визиркой — простейшим приспособлением для определения глубины и правильности укладки труб.

Ребята спустились вниз. Инструктор взял в руку чеканку — узкую стальную лопатку — и стал забивать просмоленным пеньковым тросом зазор между стенкой одной трубы и раструбом другой.

— Это называется «чеканить трубы», ничего хитрого нет! Можете попробовать сами, — и он протянул чеканку Рослову.

На борту траншеи собралось несколько рабочих.

— Ну и «наработают» вам комсомольцы! — глядя на робкие неумелые движения Рослова, иронически усмехнулся один из них.

— Ничего, ребята, и Москва не сразу строилась, научитесь! — подбодрил Параскив и пошел в кладовую за инструментом.

Через неделю в бригаду пришли еще двое, Александр Толкачев и Юрий Волков.

Принимая новичков, Синицын первым делом спросил, где работали раньше. Толкачев работал после десятилетки заместителем председателя сельпо.

— Так начальником был? — озорно улыбнулся Иван. — Значит, как раз по адресу попал! — и, протягивая увесистый лом, добавил: — На-ка вот «карандашик», поворочай немного.

Что и говорить, в первые дни не только у Толкачева, у всех от пятикилограммового «карандаша» болела поясница, а ладони покрывались кровавыми мозолями.

Однажды Сотников, Синицын и Толкачев занялись приготовлением мастики для окраски труб. Разогрели битум, добавили в него бензина. Смесь оказалась густой, вязкой. Решили, что мастика застыла, и начали подогревать ее на открытом огне. Пары бензина вспыхнули, над тачкой взвился столб огня и дыма. Все произошло так быстро, что комсомольцы растерялись. Иван выплеснул в тачку ведро воды, но пламя вспыхнуло еще ярче. Мгновенная растерянность сменилась дружным смехом. Тачку опрокинули на землю и засыпали горящую мастику песком.

В трудностях росло мастерство, приобретались навыки и сноровка. Если за первые четыре дня уложили сто сорок метров чугунных труб, то через две недели выработка поднялась втрое и бригада стала ежедневно укладывать по сто—сто двадцать метров таких же труб...

Бывает так иногда в Сибири: в самый разгар лета подует вдруг холодный ветер, выползут из-за окрестных сопок налитые свинцом тяжелые тучи и на два-три дня зарядит нудный тоскливый дождь. На дне четырехметровой траншеи скапливается рыжая от глины пузырящаяся дождевая вода, отвалы становятся скользкими. И хоть мелкий спорый дождь лепит к спине промокшие комбинезоны, бригада Синицына продолжает работу.

Вот уже несколько дней бьются трубоукладчики над опрессовкой трассы, но работа почти не движется. Поднимается давление до трех-четырех атмосфер и снова падает. Утечку воды обнаружили только к вечеру. По недосмотру другой бригады в трассу была уложена лопнувшая труба. За день все так устали, что хотелось забраться в палатку, сбросить промокшие сапоги и лечь в сухую постель.

Но время не ждет — поселку нужна вода. Бригада остается работать вторую смену. Над траншеей вспыхивают фиолетовые огни электросварки. На лицо садится копоть от чадного мазутного факела...

Снова насос нагнетает воду в трассу. Снова стрелка манометра медленно ползет по циферблату вправо и снова семь пар глаз напряженно следят за ее показаниями. Давление достигает десяти атмосфер. Подача воды прекращена. Стрелка остается на цифре «10»: утечки нет. Комиссия принимает работу с оценкой «отлично».

В такие минуты забываются трудности и усталость, и, кажется, нет на свете такой работы, которая была бы не по силам горячим молодым рукам.

...17 августа «Комсомольская правда» напечатала наше открытое письмо министру. Называется оно так: «Будем считать разговор состоявшимся». Ребята в городке бегают, ищут газету и горячо обсуждают это письмо. Все считают, что раз «Комсомольская правда» выступила, значит, получим теперь и цемент, и шифер, и трубы, и все остальное. Говорят, что в трест уже звонили из министерства, спрашивали о наших нуждах и обещали на днях помочь.

Молодец Борис! Все-таки сумел протолкнуть.

9

Нынешнее лето выдалось на редкость неудачным. Почти весь август шли затяжные дожди. Из-за распутицы к большинству объектов невозможно стало ни проехать, ни пройти. Трактора и бульдозеры таскают на буксире автомашины с кирпичом, бетоном и раствором.

Во всех палатках установили железные печки. Специальных сушилок в городке нет, и в палатках стоит тяжелый удушливый запах влажной одежды и обуви. Ничего сухого не осталось. Плащи, телогрейки, кепки набухли и задубенели от воды. Ложишься спать и чувствуешь на себе влажный холодок простыни. Сапоги преют и расползаются по швам. Чуть проглянет солнышко — от мокрых палаток валом валит пар, а внутри такая духота, что нечем дышать.

Из Орла приехала новая группа комсомольцев, больше двухсот человек. Когда в тресте узнали, что половина прибывших — девушки да еще десятиклассницы, просто за голову схватились. Работа на стройке в основном мужская, тяжелая, да еще время к зиме движется. Что с девчатами делать? Вместе с ними возвратились наши посланцы Борис Акимов и Геннадий Мосин. Акимов еще с дороги прислал телеграмму с просьбой подготовить к его приезду квартиру.

На станцию Гончарово поезд прибыл во второй половине дня. Видел на станции Бориса, когда он выходил из вагона. Вместе с ним была красивая женщина небольшого роста в пальто и модной шляпке. Девочку лет пяти с тугими хвостиками-косичками держала за руку пожилая няня. Я подошел к девочке, потрепал ее за косички.

— Тебя зовут Наташа?

— Наташа.

— Как доехала, Наташенька?

— Спасибо, хорошо доехала.

Разговаривала девочка не спеша, с достоинством, спокойно осматривалась по сторонам.

Акимов познакомил меня с женой, но голова у меня настолько была забита посторонними мыслями, что я тут же забыл ее имя. Погрузив чемоданы в машину, Акимовы уехали в квартал 10 «б», где им выделили комнату. Я занялся своими делами. «Она, кажется, назвалась Кирой, а мне всегда казалось, что жену Бориса зовут Валей».

Вечером я снова встретил Акимова в палаточном городке.

— С новосельем тебя, Борис! За вещами в палатку пришел?

Акимов смутился.

— Я остаюсь с ребятами в пятнадцатой палатке.

— Это почему же?

— О таком деле в двух словах не расскажешь. Зайду к тебе после отбоя в радиоузел, поговорим.

«Ну вот, не успели приехать — уже повздорили!» — с горечью подумал я и только сейчас вспомнил, с каким жадным любопытством смотрели наши девчата на Бориса и его жену там, на станции. Раньше я не придал этому никакого значения. Вот ведь бестии, сразу учуяли что-то неладное!

Ночью Борис пришел. Алексей Павлович с вечера уехал в Иркутск. Радиста Кольку Терехова отправили в палатку. Сидели вчетвером около железной печурки — Борис, Леня, Валентин, я. И Акимов поведал нам свою грустную историю.

Киру Аверьянову Борис знал не первый год: вместе работали на Орловском «Трансмаше». Борис знал, что у Киры есть муж и дочка. Семейное положение Акимова тоже не являлось секретом для Киры. Молодой инженер Аверьянова была членом комитета комсомола, Акимов — комсоргом завода. Встречались на молодежных вечерах, на заседаниях комитета, и хоть не было у них никаких разговоров «с глазу на глаз», поняли, что любят друг друга.

Может быть, это и послужило одной из причин, побудивших Бориса уехать из Орла в далекую Сибирь. Может быть, время и расстояние сумели бы охладить две горячие головы, подернуть холодным пеплом жар вспыхнувшего чувства, если бы не эта поездка в Орел...

О последней встрече с Кирой в Орле Борис рассказал кратко, бегло. Встретились. Договорились ехать в Иркутск. Будут ли жить вместе, одной семьей — об этом разговоров не было. Главное, они будут рядом, будут встречаться, разговаривать, видеть друг друга. Кира уволилась с завода, объяснив мужу, что едет с Наташенькой и няней к родителям в Ленинград. Уложила в чемодан самое необходимое и выехала из Орла несколькими днями раньше. В Москве дождалась Бориса. Вместе направились в Иркутск. В Кирове Борис дал телеграмму в Шелихов с просьбой позаботиться о квартире. Кира опустила в почтовый ящик письмо в Орел, в котором написала мужу, что больше не вернется к нему...

— Вот и все, — закончил свой рассказ Акимов. — Остальное видите сами. Судите и решайте так, как подскажет ваша комсомольская совесть.

Наступило длительное молчание. Только всхлипывал на улице осенний дождь, струился по окну мутными слезами, да изредка пощелкивала остывающая жесть печки. Борис ссутулившись, сидел на табуретке, низко опустив плечи и бессильно уронив руки на колени. Глубоко запавшими глазами он смотрел на грязный носок ботинка. Чуть вздрагивали от волнения полупрозрачные розовые крылья

носа, на виске билась маленькая голубая жилка.

— Ты все-таки решил жениться на Кире? — спросил Акимова Валентин.

— Не знаю, пока еще ничего не знаю. Знаю одно — без нее мне не жить! — все так же не поднимая головы, ответил Борис.

— А как же твоя Наташенька? Об этом ты подумал?

— Тоже не знаю. Много думал, но ничего не решил.

— Ты подумай еще, Боря, — я впервые назвал так Акимова — «Боря». И я, пожалуй, не предлагал, не советовал, а скорее просил его. — Подумай хорошенько. Не торопись решать! Потерять семью нетрудно, понимаешь?

— Да, понимаю.

Борис все так же безучастно смотрел на носок ботинка, как будто прилипшие к подошве комья бурой глины интересовали его больше, чем наши слова.

— Давайте, ребята, расходиться, — вздохнул Леня.

Из радиоузла вышли вместе. Акимов вяло кивнул головой на прощание и пошел к себе в пятнадцатую палатку. Шел он, не торопясь, и словно не замечал холодного мелкого дождя, а мы втроем смотрели ему вслед. Смотрели до тех пор, пока косой дождь не заштриховал, не вдавил в темноту его спину и не покрытую кепкой голову.

10

Утром в семнадцатой палатке царило необычное оживление. Ни для кого уже не было секретом, что Вася Сурков собирается жениться. Друзья наперебой поздравляли его, с шутливой назойливостью добивались приглашения на свадьбу.

— А чаво, чаво, ня правда?—петушился и «акал» больше обычного Иван Гусев.

— Ну, будя, будя, Гусак! — явно намекая на неправильный выговор Гусева, махнул на него полотенцем Анатолий Изотов. — Понимать надо: не хочет человек, чтобы земляки на свадьбу пришли.

— Ты бы хоть матери телеграмму отправил, — ехидно посоветовал Сашка Иванин.

— А мы яще хотели скинуться с аванса по четвертной да какой-нибудь подарочек тябе купить, сковородку, али отрез на портки!

В полосатой матросской тельняшке, плотно облегавшей мускулистое тело, Сурков стоял посреди палатки и отшучивался.

Это было утром. А к вечеру в далекий Орел уже летела горестная телеграмма: на строительстве Иркутского алюминиевого комбината трагически погиб при исполнении служебных обязанностей комсомолец Василий Сурков.

В обеденный перерыв на комбинате производственных предприятий бригада электриков проводила ревизию высоковольтной линии. Дело обычное, хорошо знакомое электрикам. Сурков нацепил на сапоги «когти», поднялся наверх, закинул вокруг столба предохранительный пояс. Защитные резиновые перчатки сунул в карман: линия обесточена. Натренированные пальцы безошибочно определяют прочность крепления узлов. Перемычку на изоляторе надо закрепить, иначе может случиться авария. Правой рукой достал из-за голенища сапога плоскогубцы, откусил ими кусок медной проволоки и приступил к работе. Осталось сущие пустяки — затянуть плоскогубцами концы.

Осталось неизвестным, кто включил рубильник на подстанции, но линия вдруг оказалась под током. Сурков взялся за провод голыми пальцами. Страшной силы удар сотряс все его тело. Цепкие судороги сковали мускулы. Державшие Василия на высоте «когти» сорвались и, оставляя глубокий след на древесине, медленно заскользили вниз...

Когда тело Суркова, поддерживаемое «когтями» и предохранительным поясом, коснулось земли, Василий был мертв.

Вечером в палаточном городке было тихо. Девчата молча плакали, уткнувшись лицом в жесткие ватные подушки. Да и ребята часто сморкались в носовые платки.

Хоронили Васю с почестями. Тысячи строителей пришли к клубу, где стоял обитый красным сатином гроб. Многие прямо с работы, в комбинезонах, кирзовых сапогах, серых брезентовых куртках. В почетном карауле у гроба — друзья Суркова, комсомольские активисты. У Лени Кулика какой-то чужой — серьезный и сосредоточенный взгляд. Глаза заметно блестят: видимо, успел наедине всплакнуть. Нина Городина усиленно морщит лоб и не может оторвать взгляд от лица покойного. Она, кажется, никак не может и не хочет понять, что одного из наших товарищей уже нет в живых.

Похоронная процессия растянулась до самого кладбища. Встречные самосвалы с песком и гравием круто сворачивают с дороги. Шофера сдергивают с голов кепки, в глазах горе и скорбь по обыкновенному парню-комсомольцу, о котором многие даже не знали раньше.

Высокий, худой, с длинными, как крыло семафора, руками главный энергетик стройки Щемелев согнулся и стал на голову ниже. Произошло несчастье, но как расскажешь об

этом тысячам людей, идущим за гробом? Поверят ли они? Простят ли? Хворов часто кашляет и морщится, обнажая сносившиеся коронки на верхних зубах. Красильников опустил голову, и я впервые заметил глубокие морщины у него на шее.

Под грустными желтеющими березками могила. Траурный митинг. Короткие речи. Идущие от самого сердца слова:

— Клянемся тебе, Василий, что с честью выполним задание партии — построим алюминиевый комбинат. Пусть он будет тебе памятником от всех нас!

Рыдает медь духового оркестра. Парнишка с комсомольским значком над карманом гимнастерки часто-часто моргает глазами. Губы у него дрожат, играть на своей трубе он не может...

Молча идем в палаточный городок. Разговор не клеится. Хочется побыть наедине со своими мыслями.

Может быть, и не положено воспитателю уезжать в такой момент, но мы с Валентином выкатываем из радиоузла наш комитетский мотоцикл и едем в лес, в горы. Километрах в двадцати от Шелихова сворачиваем с асфальта на лесную просеку и глушим мотор. Лежим на прелой, пахнущей брусникой хвое и курим. Думаем, видимо, об одном и том же, поэтому нет нужды разговаривать. С твердо созревшим решением в сумерках возвращаемся в городок.

Нет, утешать мы никого не будем! Погиб один — остались тысячи. Они еще крепче стиснут зубы и пойдут вперед. И если хочешь быть вожаком — будь впереди!

На другой день ребята рассказали мне: ночью, после похорон, друг Суркова, тоже бывший военный моряк Сашка Иванин возвращался к себе домой. Из соседней палатки навстречу ему вышел Юрка Яковлев, здоровенный парнина с челочкой на широком лбу. Закурили.

— Так, Саня, — гнусаво протянул Яковлев, — значит похоронил дружка?

— Да, похоронил! — устало согласился Иванин.

Яковлев глубоко затянулся и вместе с клубом дыма выдохнул прямо в лицо Александру свою мыслишку:

— Когти рвать отсюда надо, Санька! Иначе нас всех в белых тапочках, туда...

Договорить он не успел. Иванин выплюнул изо рта папироску, схватил его за грудки и звенящим шепотом спросил:

— Так вот ты о чем, тварюга? Ну и рви свои когти — меньше будет нечисти на нашем корабле!

— 11 —

Серая дымка плотно заткала все небо. Потерялись привычные для глаза близкие сопки. Линия горизонта легла на штакетную изгородь палаточного городка, и где-то далеко за ее пределами, на соседнем шоссе, истошно голосят в быстро сгущающихся осенних сумерках самосвалы.

Ребята возвращаются с работы злые. Достают из-под кроватей топоры и идут к кубовой рубить на дрова сырой подмерзший горбыль. Еще днем его привезли кубометров пятнадцать на тракторном прицепе. Другие ведрами носят в палатки из цистерн подернувшуюся корочкой льда воду.

К вечеру подул ветер. Ожили и зешевелились клочья бумаги... По улицам городка зашумели принесенные откуда-то медные опавшие листья осины, покатились колючие клубки перекати-поле. Ветер крепнет с каждой минутой. Он уже загоняет через трубы дым в палатку, рвет брезентовые клапаны на окнах, несет с развороченной скреперами заводской площадки тучи песка и пыли.

Заискрили провода на столбах. Погас свет. Замолкло радио...

Комсорг комбината производственных предприятий Жорка Кулаков после работы не пошел домой. Еще вчера на комитете ему поручили проверить работу продовольственного ларька в Комсомольском городке. Есть подозрения, что продавщица Зинаида Коренных нечиста на руку. На днях трубоукладчик Спецстроя Анатолий Новиков (за непомерно высокий рост ему дали кличку Полтора Ивана) бил себя кулаком в тощую грудь, перечислял на память родственников бога и клялся, что Зина всех поголовно обманывает. Правда, Полтора Ивана любит побузотерить, но проверить все-таки не мешает.

«Надо будет Саню Потапова захватить с собой», — на ходу размышлял Кулаков, ожесточенно сплевывая скрипящий на зубах песок. В двадцать девятую палатку он ввалился в тот момент, когда погас свет. Потапов сидел около дымящей железной печки и чертыхался. Голубые глаза слезились от едкого дыма.

— Здорово, Хаттабыч! — хлопнул его по плечу Егор. — У меня к тебе дело есть. — И зашептал в ухо.

Потапов надел телогрейку, застегнул ее на единственную пуговицу, и вдвоем они вышли за ворота городка к продовольственному ларьку.

— А, Саня пришел! — Зина приветливо приподняла верхнюю губу и показала золотой зуб. — Что тебе?

— Сахарку полкилограмма свешай, хочу

зубы немножко поломать, — Потапов изобразил на лице очаровательную улыбку.

Зина уже собиралась завернуть сахар в бумагу, как Саня спокойно положил руку на весы. От улыбки не осталось и следа.

— Открой дверь! — распорядился он.

Еще не сообразив, в чем дело, Коренных открыла дверь. Замигала от ветра оплывшая свеча на прилавке, запрыгали по полкам угловатые костлявые тени. В это время Кулаков быстро переступил порог и закрыл за собой дверь.

Жорка не из тех простаков, которых можно «провести на мякине». Не первый год работает общественным контролером по торговле и знает все тонкости этого дела.

Результат проверки полностью подтвердил сигналы Полтора Ивана. Коренных работала поддельными гирями. Гири Кулаков изъял по акту и опечатал ларек...

К ночи ветер стих и повалили крупные хлопья мокрого снега. А утром, когда ребята из пятой палатки начали собираться на работу, староста Николай Боев заметил, что одна из кроватей пуста. Это была кровать Владимира Керна. На ней даже не было одеяла.

Многие слышали, ночью Керн приходил. «Странно, — подумал Боев, — он никогда не вставал раньше других». И с возрастающим беспокойством заглянул под кровать. Чемодана не было. Вместе с Керном исчезли фотоаппарат и ручные часы.

Боев вышел на улицу. От палатки в сторону шоссе петлял след по свежему снегу.

В эту ночь сбежала со стройки и продавщица ларька Зинаида Коренных.

Вечером в комитете комсомола сидели Леня Кулик, Борис Акимов, Володя Коврижкин и мы с Валентином. Настроение невеселое. Леня задумчиво вертел в руках розовый картон учетной карточки члена ВЛКСМ Керна. Но карточка говорила мало: Керн Владимир Германович, год рождения — 1933, время вступления в комсомол — май 1954 года, работал слесарем на Орловском часовом заводе, снят с учета 20 июня 1956 года в связи с выездом по комсомольской путевке на строительство Иркутского алюминиевого комбината.

— Давайте, ребята, вот что сделаем, — предложил Акимов. — Пусть Леня возьмет в отделе кадров адрес родителей Керна и напишет им о поступке сына.

— При чем здесь родители? — удивился Коврижкин.

— Как это «при чем»? Должны же мы в конце концов сообщить родителям о том, что он сбежал!

Попытались сообща восстановить в памяти что-нибудь о жизни Керна на стройке.

Вспомнилась ночь на 27 июня. Ливень глухо хлестал по брезенту палатки. Рябые от дождя широкие лужи разлились по городку. Накрывшись плащами, увязая по щиколотку в густой грязи, разносили ребята из камеры хранения по палаткам матрацы и ватные подушки. Готовились к приезду второй партии комсомольцев-новоселов из Орла. А потом пошли с букетами полевых цветов на станцию. Каждый ждал товарища, подругу, паренька со своего завода или просто земляков.

Среди прибывших был невысокий худощавый парень с беспокойными бегающими глазами. Определяться на работу он не торопился, все присматривался, расспрашивал о заработках. И хоть большинство рвалось на основные работы, Керн попросился работать в ОРС экспедитором.

Друзей у Керна не было, да и не стремился Владимир установить с кем-нибудь дружеские отношения. Часто не ночевал в палатке. Нередко его можно было видеть подгулявшим. Вскоре стало известно, что Керн бывает у Зинаиды Коренных, хотя девчата говорили, что в Орле у Владимира осталась жена.

Трижды пытались вызвать Керна на заседание комитета, и каждый раз он находил «уважительную» причину, чтобы не прийти. Позднее, уже после бегства Керна, выяснилось, что в ОРСе он растратил около четырех тысяч рублей.

Вот, пожалуй, и все, что мы знали о Керне. Да и узнаем ли когда-нибудь больше?

12

Два вечера подряд в красном уголке палаточного городка шло расширенное заседание комитета комсомола. На него были приглашены все комсорги строительных управлений и предприятий треста, комсомольские активисты, старосты палаток. Обсуждался один вопрос: что ты считаешь сейчас самым главным?

Положение дел в городке, несколько случаев дезертирства, выпивки, подавленное настроение ребят, — все это серьезно тревожило нас. Надо было вооружить коллектив ясной перспективой, показать всем завтрашний день стройки, сплотить всю молодежь, поднять на большие дела.

Спорили до хрипоты, а решение нашего комитета можно было бы уложить всего в три пункта: заранее распределить строящиеся общежития между палатками, и каждому по вечерам работать на их достройке до седьмого пота; всем комсомольским активистам принять личное участие в разъяснительной рабо-

те среди молодежи; начать строительство нового клуба и спортивного зала.

Особенно много споров вызвал последний пункт.

Мысль о строительстве спортивного зала возникла у Володи Королева. Впрочем, кроме этого заманчивого предложения он больше ничего не привез из Иркутска, если не считать тощего чемоданчика, плаща, серенькой кепчонки на вихрастой голове, кожаных беспалых перчаток велогонщика да неиссякаемого запаса энергии. Работал Королев председателем районного комитета физкультуры и спорта. Несколько раз приезжал в Шелихов на соревнования и «заболел» стройкой. Долго обивал пороги районных организаций, отчаянно скандалил на бюро райкома комсомола, объявлял «забастовки». Наконец всем это надоело, и секретарь райкома комсомола Ванюша Гришин сказал:

— Ну, быть по-твоему, езжай в Шелихов, только не забывай по пятницам приезжать в райком. Из бюро мы тебя все равно не выведем!

Так и приехал Королев к нам. Постройком профсоюза пообещал платить ему по 690 рублей в месяц и тут же забыл о новом физорге. Но забыть Королева было не так просто. Днем, пока ребята на работе, Владимир приходил в комитет комсомола, постройком, управление треста, сначала просил, потом требовал денег на приобретение спортивного инвентаря, потом начал угрожать «поехать выше». Председатель постройкома Бондарук стонал, хватался рукой за больное сердце, уверял, что Королев хочет загнать его в могилу, жаловался на плохое поступление профвзносов. Владимир не отступал, и все мы поддерживали его справедливые требования. Когда же в коридоре управления треста, в «Комсомольском мече», появилась карикатура на Бондарука с хлесткими стихами, постройком на очередном заседании сумел все-таки «выкроить» из своей сметы несколько тысяч рублей на спортинвентарь.

В палаточном городке появилась штанга, несколько гоночных велосипедов, новая волейбольная сетка и мячи. Вечером Колька Терехов передал по радио маленькое объявление: «Желающие заниматься штангой могут записаться в двадцать пятой палатке у шофера Александра Меринкова. Руководить секцией будет штангист-третьеразрядник Меринков».

Спортивная жизнь в городке стала оживать. Способствовал этому и личный авторитет Королева среди ребят. Очень уж просто, незаметно вошел он в жизнь Комсомольского городка, поселился в нашей двадцать девятой палатке и сразу стал своим парнем.

О строительстве спортивного зала Владимир часто заводил разговор на заседаниях комитета, «обрабатывал» ребят поодиночке вечерами в городке, и вскоре все настолько привыкли к этой мысли, что уж и не представляли себе жизнь в Шелихове без спортивного зала.

Еще в прошлом году комсомольская организация начинала строить спортзал, но дальше недостроенного фундамента дело не пошло.

Королев разыскал в техотделе треста старый проект и теперь снова поставил вопрос о строительстве зала на заседании комитета. Единогласно решили возобновить строительство зала, объявив его ударной комсомольской стройкой, и взять шефство над строительством нового клуба на пятьсот мест. Утвердили штаб ударной стройки в составе Владимира Королева, Геннадия Мосина, Валентины Фроловой, Константина Серова (мастер Жилстроя) и других. Королеву было поручено согласовать все вопросы с главным инженером треста Стрижевским.

Под конец Борис Акимов предложил для поднятия собственного духа спеть хором песенку «Расцветай, Сибирь!» Предложение было принято единогласно. Все встали, и вот в первом часу ночи над палаточным городком понеслась боевая комсомольская песня:

Дом родимый свой у Москвы-реки
Мы оставили навсегда,
Чтобы здесь, в тайге, встали фабрики,
Встали новые города.
Не пугает нас непогодина,
Не замерзнем мы за рулем.
Расцветай, Сибирь, наша Родина,
Та, что матерью мы зовем!

Наступление началось!..

В квартале 10 «б» для нас строится больше двадцати сборных восьмиквартирных домов. Десятки плотников, штукатуров, маляров, монтажников штурмуют эти дома. Есть в тресте график ввода их в эксплуатацию. Партком и руководители треста одобрили наше решение заранее распределить жильцов по общежитиям.

Распределяли на совете Комсомольского городка с участием всех старост палаток. Конечно, не все обошлось гладко: много оказалось желающих жить во вторых этажах. Ребята сами, без моего вмешательства, решали эти вопросы. Теперь каждый знает, в каком общежитии комната и даже с кем из товарищей он будет жить. У всех появилась твердая уверенность в завтрашнем дне, и никого те-

перь не надо агитировать на воскресники по достройке общежитий. Каждый вечер в 10 «б» уходят все, кроме дежурного по палатке.

Сейчас особенно жмем на шестое, девятое и десятое общежития, чтобы в первую очередь переселить в них девушек. Так решили на совете.

Большинство зданий под общежития стоит без крыш. Нет шифера. Нет не только на складах, но даже на подходе. Отгрузку срывает Красноярский шиферный завод. Никакие телеграммы треста на шиферщиков не действуют.

Нашему министру Д. Я. Райзеру мы больше не верим. После опубликования в «Комсомольской правде» открытого письма он сообщил дирекции, что тресту выделены необходимые материалы. Но это было только министерской отпиской. Почти ничего из обещанного тов. Райзером мы не получили. Решили не тратить деньги на телеграммы в министерство, а написать письмо комсомольцам Красноярского шиферного завода. Рабочие ребята скорее поймут нашу нужду и откликнутся. Рассказали в письме все как есть, кто мы такие, откуда, как живем и в чем нуждаемся.

В Красноярск самолетом вылетел наш уполномоченный. Наказали ему сходить в крайком комсомола и на словах дополнительно рассказать комсомольцам-шиферщикам о наших невеселых делах.

— Без шифера не возвращайся! — таков был последний наказ...

С Анатолием Алферовым из двенадцатой «гвардейской» мы стали теперь хорошими товарищами. Произошло это так.

Старосту двенадцатой палатки слесаря-сантехника Женьку Павликова откомандировали на работу в Иркутск. В это время началось распределение строящихся общежитий. Алферов сам пришел ко мне в красный уголок, сел на диван и спросил:

— Как же нам теперь быть? Павликов в Иркутск уехал. Давайте нового старосту изберем.

— Стоит ли уж теперь старосту нового избирать? Недели через две все равно переезжать в общежитие. Давай-ка, покомандуй сам это время!

Алферов не стал возражать. Взяли план восьмого общежития и наметили, в какие комнаты будем переселять ребят из двенадцатой палатки. Анатолий не спешил уходить, да и мне, признаться, хотелось обстоятельнее поговорить с ним.

— Знаешь, Анатолий, воровство на стройке, — пожаловался я.

Случаи хищения за последнее время, действительно, имели место. В строящихся домах нашего будущего квартала дважды взламывали двери, украли олифу, краску, электропроводку. Два сторожа на целый квартал не могут за всем усмотреть.

— Что сторожа! Они сами ночью прячутся подальше. Вот если бы мы взялись дежурить, ручаюсь, — ни один ворюга мимо не проскочит!

— Так в чем же дело? Подбирай своих ребят и пойдем сегодня попозднее.

Ночью мы вшестером вышли из палаточного городка. Похрустывают, колятся под сапогами засахарившиеся льдом редкие лужицы. Наш путь лежит в квартал 10 «б».

Вот и дома. Сквозь переплет строительных лесов они смотрят в улицу пустыми темными глазницами окон. Разбиваемся по двое и начинаем обход. Идти приходится осторожно. Траншеи теплотрасс еще не закрыты. Оступишься — ногу сломаешь. Со мной вместе Анатолий Алферов. Он идет впереди. Острым, как лезвие ножа, лучом карманного фонарика ощупывает все закоулки. В некоторых домах, где уже включено отопление, приятная теплота, пахнет олифой и свежей стружкой.

Обход закончен. Мы с Анатолием занимаем свой наблюдательный пункт. Он на самом бойком месте, в кустах около дороги в поселок. Отсюда хорошо видна избитая ухабистая дорога. Любую машину можно остановить и проверить. Пряча в коченеющих кулаках огоньки папирос, до самого рассвета сидим в кустах и слушаем тоскливый крик косяков диких гусей, улетающих от близкой зимы на юг. Время от времени за спиной проносятся с гулом поезда. Эхо долго носит по лесистым сопкам рев сирены электровозов, да сонно, по-старушечьи бормочут колеса удаляющихся вагонов...

Утром я пришел в свою палатку, прилег отдохнуть после бессонной ночи и больше уже не мог подняться.

...Темнота. Густая и черная, как деготь, темнота. Она шевелится, вспучивается безобразными пузырями и выбрасывает из себя целые снопы колючих огненных искр. Искры режут глаза, раскаленными иглами вонзаются в мозг. Бурлящая тьма жаром дышит в лицо. Эх, попить бы сейчас холодной водички!

Где-то далеко-далеко вспыхнула светлая точка. Она растет в глазах, приближается, становится похожей на человеческое лицо. Да это и в самом деле чье-то знакомое лицо!

— Анатолий, Анатолий! — кто-то трясет меня за плечо, наклоняется к самому лицу,

С трудом поднимаю отяжелевшие веки. Перед глазами большая, в половину брезентового потолка голова Анатолия Алферова.

— Анатолий, держи кружку, пей!

Холодная вода из кружки капает на подбородок. Сознание медленно возвращается. Я жадно глотаю воду. Край кружки стучит по зубам.

— Ты что, заболел? Врача вызвать?

— Не знаю, — с трудом отвечаю Алферову и снова погружаюсь в забытье...

Теперь все это уже позади. Только страшно болят ноги в суставах, немножко кружится голова и чуть-чуть поламывает глазные яблоки. День-два — и можно будет снова впрягаться в работу.

Алферов и в самом деле неплохой парень. Всю прошлую неделю он с ребятами дежурил по ночам в 10 «б». Задержали кое-кого, а главное — нагнали такого страху, что теперь и сторожа стали не нужны. Два раза приходил ко мне. Принес как-то банку яблочного компота. Не знаю, почему, но эта банка меня здорово растрогала. Говорят, что Алферов дружит с Ниной Синяковой. Нину я немножко знаю. В Орловской области она была учительницей, сейчас работает бетонщицей на Заводстрое. Скромная, хорошая девушка.

Интересно все-таки получается. Живешь рядом с человеком, а понять его не умеешь. Это уже второй случай у меня на стройке, когда люди оказываются гораздо лучше, чем о них думаешь. Первый — Слава Гревцев.

Кстати, Гревцев уехал недавно километров за пятьсот от Шелихова, в Ольхонский район. Это где-то на северо-западном побережье Байкала. Там наш трест по заданию обкома партии строит новую машинно-тракторную станцию. Надо было послать туда человек двадцать каменщиков. Славку никто не гнал, он сам вызвался.

Накануне отъезда зашел ко мне. Долго разговаривали. Рассказывал о своей жизни. Отец погиб во время войны с белофиннами. Вскоре умерла и мать. Из родственников осталась только старая глухонемая тетка. С 1943 года — детский дом. Неудачный побег и позорное для мальчишеского самолюбия возвращение. Там же окончил семилетку. Потом ремесленное училище, работа на нефтеперегонном заводе в Башкирии, переезд в Орел и, наконец, стройка. Не слишком ли много мытарств для восемнадцатилетнего мальчишки?

Показал мне фотокарточку матери. Он постоянно возит ее с собой в чемодане.

Как сложится Славкина жизнь на новом месте? Не собьется ли с дороги?

Нет, нельзя относиться к человеку с предвзятым мнением. Надо постараться в каждом найти что-нибудь хорошее.

13

Разговор оказался не из приятных. Главный инженер треста Стрижевский встретил Владимира холодно.

— Вашу затею со строительством спортивного зала я не одобряю. У нас сейчас много более серьезных дел. В теплой квартире и о спортзале фантазировать можно, а у нас пятьсот человек в палатках живут! Понимаете?

Королев крепче сжал в кулаке старенькую серую кепку и, стараясь сохранить спокойствие возразил:

— На стройке четыре тысячи человек молодежи. Чем же мы будем заниматься с ними зимой, если у нас даже клуба порядочного нет? Слушать судебные процессы о хулиганстве наших комсомольцев? А насчет «теплой квартиры», Михаил Вениаминович... Я в двадцать девятой палатке живу.

— Мы в свое время тоже занимались спортом и не требовали для этого специальных помещений, — пропустив мимо ушей последнюю фразу Королева, настаивал главный инженер.

— В свое время люди от Москвы до Иркутска пешком ходили, а теперь на реактивных самолетах летают! — выпалил Володька. Выпалил и тут же пожалел, заметив, как холодно взглянул на него Стрижевский. — Мы же берем строительство спортивного зала в свои руки!

— Ваши предшественники тоже брали это дело «в свои руки», закопали в землю десятки тысяч рублей государственных средств, а спортзала не было и нет! — отрезал Стрижевский и углубился в чтение чертежей...

О том, что главный инженер отказался «благословить» нашу инициативу, сразу стало известно комитету.

— Доверили козлу капусту! — откровенно возмущался Коврижкин. — Нашли кого послать — Королева. Это тебе, брат, не с постройкомом профсоюза разговаривать. Стрижевского «на горло» не возьмешь! Надо было культурно, деликатно, вот так! — Володька выразительно покрутил рукой.

— Пойдем, Королев, в партком, все равно добьемся! — решил Кулик.

Иннокентий Иванович Хворов внимательно выслушал наших ходоков и посоветовал:

— А вы начинайте работать. Докажите на деле — найдем и материалы и деньги!

Вечером в Комсомольском городке организовали радиомитинг. Перед микрофоном выступали Кулик, Королев, Мосин.

— Четырнадцатого октября все на воскресник!

На строительных площадках замелькали фанерные щиты с призывами к молодежи участвовать в строительстве клуба и спортзала. Один за одним по палаткам ходили агитаторы, рассказывали, какими будут спортзал и клуб, какие секции и кружки будут в них работать. В ход пустили все средства устной и письменной агитации.

Воскресный день 14 октября был на редкость теплым и солнечным. С раннего утра пришли мы на строительную площадку. Подвозили лопаты, топоры и другой инструмент. Комсомольцы базы механизации пригнали бульдозер. Пришел управляющий трестом Красильников, новый начальник Жилстроя Бутарович. К одиннадцати часам стали подходить участники воскресника. Набралось человек двести. С горном и барабаном пришли школьники. Кто-то захватил с собой гармошку.

Митинг. Плотник Жилстроя Вася Турмасов поднимает флаг ударной комсомольской стройки.

Летят в общую кучу телогрейки, куртки — все, что связывает молодой задор и упругие мускулы. И никого уже не нужно подгонять. Не останавливают даже появившиеся вскоре на руках у некоторых пухлые водянистые мозоли. Но это только у некоторых. Большинство не впервые держит в руках лопату.

Десятиминутный перерыв. Здесь же, в котловане, усевшись рядком на деревянный брус, девчата заводят песню:

Едут новоселы по земле целинной,
Песня молодая далеко летит!

А потом снова за работу. Ровно гудит упрямый бульдозер, ворочая глыбы земли. Жарко. Кажется, даже яркое октябрьское солнце обливается горячим потом...

К четырем часам дня из котлована под фундамент будущего спортзала было вынуто около пятисот кубометров грунта. Трудно решить, кто лучше всех работал в этот день. Переходящий вымпел штаба ударной стройки решили присудить бригаде бетонщиц Эммы Булгаковой с Заводстроя, а личный вымпел — бульдозеристу Виктору Степанову.

Когда Виктору сказали об этом, он вдруг застеснялся, посмотрел на свои мазутные руки, бережно взял вымпел и даже забыл поблагодарить за оказанную честь.

Вечером на танцплощадке Комсомольского городка состоялся бал в честь участников воскресника на ударной стройке. Королев зачитал по радио приказ штаба стройки с объявлением благодарности всем участникам воскресника. Назвали фамилии и тех, кто на него не пришел. Им пришлось еще и на следующий день покраснеть. У автобусной остановки, в самом центре Шелихова, утром появился свежий номер «Бокса» с карикатурами на бетонщика Виктора Фролова, арматурщика Евгения Кирова, слесаря Александра Савелова, штукатура Галину Башкатову и других, кто не был на воскреснике.

Не было на нашем балу мощного джаза, пышных нарядов, зеркального паркета и богатой праздничной иллюминации. Да и зачем они, если Николай Терехов добыл для такого торжественного случая магнитофонную ленту с новыми граммзаписями, если привычный шершавый бетон с успехом заменяет паркет, если звезды на небесной крыше внимательно прислушиваются к нашей веселой музыке, а над самой танцплощадкой остановилась удивленная круглая физиономия луны?!

В понедельник вечером в кабинете главного инженера треста состоялось заседание технического совета. На него пришли инженеры, проектировщики, почти все члены комитета комсомола. Обсуждался проект спортивного зала, который мы начали строить самовольно.

— Итак, — обратился Стрижевский к собравшимся, когда обсуждение проекта закончилось, — будем считать ваш «самострой» узаконенным.

В тот же день на заседании штаба ударной комсомольской стройки распределили между собой дополнительные обязанности. Генке Мосину присвоили громкий титул министра иностранных дел. Он будет поддерживать связь с комсомольскими организациями строительной и средней школ, соседнего строительно-монтажного поезда и других предприятий и в случае необходимости привлекать их для участия в воскресниках. Нормировщица Рита Брагинская — министр труда и зарплаты. Правда, зарплату за воскресники никто не получает, но Рита, аккуратно выписывает и закрывает наряды, ведет учет выполненных комсомольскими организациями работ. Приличные посты получили и другие члены штаба, а мне фортуна снова не улыбнулась. «Должность» у меня довольно скромная — заведующий отделом пропаганды и информации штаба. В мои задачи входит выпуск «молний», «боевых листков», наглядная агитация, информация по радио и в газетах о ходе работ на УКС (так сокращенно мы на-

зываем свою ударную комсомольскую стройку).

Достали несколько листов фанеры. Написали десятка полтора лозунгов и плакатов. Самый броский повесили около магазина: строгое лицо строителя с комсомольским значком на груди и такой же строгий вопрос: «Комсомолец! А что ты сделал для ударной комсомольской стройки?»

Комсорг базы механизации Орест Верочкин договорился с трактористами, и те бог весть откуда приволокли к спортзалу большую утепленную будку. Королев старательно приколотил на дверь вывеску «Красный уголок», и член штаба Валя Фролова получила задание оборудовать его по всем правилам: столы, скамейки, занавески, газеты, журналы и все прочее.

Около автобусной остановки установили щит. На нем, слева — список ударников комсомольской стройки, справа — первая «молния». «Начальнику бетонно-растворного узла тов. Губину. По вашей вине срывается подача бетона для фундамента спортзала. Требуем срочно выдать 10 кубометров бетона. Штаб УКС».

Флаг ударной комсомольской стройки поднят!

14

Из поселковой больницы Владимир Коврижкин возвращался в приподнятом настроении. Только что пожилая улыбающаяся няня сообщила ему, что Саша родила сына. Володька долго упрашивал показать ему ребенка, но няня была неумолима.

— Вот придут домой, тогда и смотри сколько хочешь. Ступай, ступай, милый!

«Значит, мальчишка, сын. Выходит, что я теперь уже отец?» — Эта мысль пришлась Коврижкину по вкусу и здорово развеселила его. На ходу придирчиво осмотрел себя. Да нет, вроде бы изменений никаких не произошло: то же коричневое бобриковое пальто, те же старенькие ботинки, а вот на тебе — новая должность — отец!

Как только Коврижкин переступил порог комитета, мы с Куликом сразу догадались, в чем дело.

— Ну как, Володя?

— Порядок!

— Большой?

— Не показали.

— А вес?

— Три восемьсот!

— Ну?! — хором удивились мы и Леня, опрокинув стул, бросился поздравлять Коврижкина. А отец, казалось, поглупел от свалившегося на его остриженную голову счастья. Маленькие хитрые глазки совсем закрылись, улыбка растянула рот от уха до уха. Разговаривать по-человечески он уже не мог, только крутил головой и мычал.

— Везет тебе, Володька! — позавидовал я. — Не успел еще новоселье в новой квартире справить, как крестины подвалили!

— Ну, иди, иди домой! Готовь там все к приезду семейства! — Кулик вытолкал Коврижкина за дверь.

Не успели мы с Леней обменяться парой слов, как в дверях появился Борис Акимов.

— Слыхал новость: у Коврижкина родился ребенок. Три восемьсот...

— Кто родился? — перебил Борис Кулика.

— Как кто? Ребенок родился!

— Да я без тебя знаю, что ребенок. Ты скажи, кто родился, сын или дочка?

Кулик растерянно посмотрел на меня, я — на него. Только сейчас оба сообразили, что забыли в спешке спросить, кто родился. Ленька выскочил на улицу вслед за Коврижкиным. Борис все понял и схватился за бока.

— Ой, не могу! — стонал он. — Собрались два друга... Все расспросили... Даже вес узнали. Сущий пустяк забыли узнать — сын или дочка!..

Кулик вернулся минут через десять. Коврижкина он отыскал в магазине и сразу коршуном налетел на него:

— Кто родился, Володя?

— Ясно кто — сын! — удивился Коврижкин, а Кулик уже бежал назад.

Вволю насмеявшись над своим промахом, мы начали обсуждать, что надо сделать до возвращения Саши Коврижкиной с сыном домой. Ведь Коврижкин-младший — не только первенец в семье, но и первый ребенок среди комсомольцев-орловчан, — первый сибирский орленок!

Вечером Борис Акимов придирчиво осмотрел комнату, в которую Коврижкины переехали несколько дней назад. Осмотр явно не удовлетворил его.

— Придется тебе, Володя, денька на три в кухню перекочевать: полы надо заново покрасить. А как насчет кроватки? В магазине нет? Сами не маленькие, из арматуры сварите. Я с Генкой Мосиным поговорю, он поможет.

На обратном пути Акимов зашел в седьмое общежитие, к девчатам-малярам.

— Какой же может быть разговор? — охотно согласилась Тоня Кузнецова. — Мы с Володькиной Сашей вместе в Орле в кинопрокате работали. Конечно, сделаем!

За какие-нибудь час-два девчата заново прошпаклевали и окрасили пол, заперли дверь на замок и унесли с собой ключ.

— А то еще, чего доброго, краску своими бутсами попортишь. Вот так, папаша! — и Кузнецова помахала ключом перед носом молодого отца.

Надо было на первое время помочь обставить комнату, и Леня Кулик пошел к начальнику жилищного отдела.

— Да если они у вас каждый день, ребятишки-то, рождаться будут? — размахивая бумажкой, кричал Целиков. — Где же я на всех мебели напасу?

Но кричал Целиков только для виду. Просто он никогда ничего добровольно не отдает. Накричится досыта, потом даст. Так и получилось. Добыли стол, два стула и диван. Кроватку тоже сделали.

В день возвращения Саши с сыном домой в квартире Коврижкиных было тесно. Товарищи от души поздравляли родителей, приносили подарки. Долго сидели за празднично накрытым столом, вспоминали перегороженную листами фанеры и одеялами «семейную» десятую палатку, где они прожили четыре месяца, и смеялись до слез...

Есть еще одна хорошая новость. Из Красноярска пришли вагоны шифера. Возвратился и наш уполномоченный. Рассказывает, как только получили наше письмо, в обеденный перерыв в цехах прошли комсомольские собрания. Договорились с парторганизацинй и дирекцией завода, создали комсомольские посты по контролю за отгрузкой шифера, и через три дня вагоны уже были в пути... Да и краевая комсомольская газета помогла. Одним словом, свой брат — комсомол! Послали на завод телеграмму: спасибо за помощь, друзья!

Начали заселение новых общежитий. Первым подготовлено общежитие номер шесть. Переселяются девчата одиннадцатой, шестнадцатой и еще двух палаток.

Вечером в городок пришли автомашины. Приказано брать с собой личные вещи и комплекты постельных принадлежностей. Столы, стулья, тумбочки и прочую мебель будут получать у коменданта общежития.

С веселым гомоном девушки собирают свои пожитки, ребята помогают грузить. Машины с трудом подъезжают к крыльцу общежития: траншеи завалили землей, но бульдозеры наворочали повсюду такие глыбы, что ни проехать, ни пройти невозможно.

Темнеет. Света в общежитии нет, электрики еще не подключили здание к линии. Суматоха. Некоторые комнаты закрыты на замок, комендант куда-то запропастился. Наконец явился — в телогрейке, с острыми «буденновскими» усами. Требуем ключи от комнат. Удивляется:

— Какие ключи? Комнаты заняты.

— Кем? Когда?

— Откуда мне знать, кем? — вороватo опускает он усы. — Приехали сегодня какие-то и заняли! Говорят, Целиков, начальник ЖКО, разрешил.

Девчонки опустили головы, молчат. Ребята вопросительно смотрят на меня.

— Так это что же? Выходит, заселяйся, кто как может?

— Подождите, ребята. Пойдем, проверим!

Четыре комнаты заняты самовольно. В одной поселился столяр жилищного отдела с женой, в другой экспедитор ОРСа с тремя ребятишками.

У экспедитора крепкая багровая шея. Сидит за столом спиной к двери. Напротив за тем же столом три дюжих мужика. Судя по широченным шароварам — грузчики. Оборачивается к нам и цедит сквозь зубы:

— Занял — и баста! Куда же мне с ними деваться? — чуть наклонил шею в сторону детишек, которые беззаботно возятся на полу. — Ну, топайте отсюда, юнцы, если неприятности не хотите иметь!

Детвора перестала играть, — испуганно смотрит то на нас, то на отца. Потрескивает горящая свеча в консервной банке, холодно отсвечивают грани пустых стаканов на столе. Мужики за столом в тон хозяину многозначительно покашливают. Видимо, успели уже «обмыть» новоселье.

— У нас в палатках тоже есть с детьми, а все-таки ждут своей очереди!

— Плевать я хотел на ваши палатки!

Сытая, круглая, как блин, физиономия отворачивается, и снова видна только багровая шея под жирными складками затылка.

Эх, если бы не детишки, через полчаса комната была бы пустой! А так, куда их, на ночь глядя, выгонишь? Ребята вносят в комнату вещи девушек, хозяек комнаты, отодвигают к окну стол и кровать. Мужики за столом заволновались было, хотели воспротивиться. Володя Шатунов, друг Алферова из двенадцатой «гвардейской», подошел к ним, положил одному на плечо тяжелую ладонь:

— Вы тут в гостях? В гостях. А мы — дома. Теперь ясно? А ты, друг, — обратился Шатунов к орсовскому, — имей в виду, девчата у нас добрые, ребятишек ночью на улицу не выгоняют. Так и быть — переночуй в комнате. Но завтра к обеду надо переселиться.

Остальные три комнаты заняли бездетные. С ними разговоров было меньше. Любезно помогли вынести вещи в коридор и вселили девушек.

Утром временный квартирант девчат, экспедитор ОРСа, был переселен в другую квартиру.

15

Пустеет наш Комсомольский палаточный городок. Все тоскливее и безлюднее становится в нем. Радиоузел перевезли в 10 «б» квартал. У нас теперь тихо. Пустые палатки не снимают пока, крест-накрест заколотили досками двери и поставили сторожа, который живет в бывшем радиоузле. Ветер гоняет по улицам съежившиеся от холода опавшие листья.

Пятнадцатая палатка тоже исключена из списков палаточного городка. Все бывшие трансмашевцы переведены в новое общежитие. Незадолго до переезда ребят Борис Акимов ушел к Кире. Она работает в управлении треста инженером по электронадзору. Последнее время он, видимо, страшно переживает. Замкнулся в себе, ходит мрачный, избегает встреч и разговоров с друзьями.

Недавно он получил телеграмму от жены. Валя сообщала, что Наташа серьезно больна. Борис отпросился с работы и самолетом вылетел в Орел. Через неделю вернулся в Шелихов: телеграмма оказалась ложной, Наташенька была вполне здорова и жила у бабушки. Спрашивать его о поездке и разговорах с женой мы не стали.

В Спецстрое Акимова перевели из бригады мастером на асфальто-бетонный завод. Завод еще только строится, забот и хлопот — почти никаких. Борис затосковал еще больше. На заседания комитета не приходит и не пытается найти какое-нибудь оправдание: не пришел и все!

Как все-таки иногда легко и беспечно подходим мы в молодости к решению такого сложного жизненного вопроса, как семья. Познакомился, понравилась, поженились... Поженились, не заглядывая в будущее и не задумываясь о том, что человек, который тебе понравился, будет идти рядом с тобой всю жизнь. Поженились, а потом, когда проходит угар первого увлечения и начинается обычная «проза» семейной жизни, оказывается вдруг, что тебе, беспокойному, непоседливому человеку, нужна не просто домохозяйка, нужна подруга, способная самоотверженно сменить благоустроенную, обжитую городскую квартиру на угол в палатке, способная никогда не обрастать плесенью мещанства. Поженились, а потом долгие годы отравляют друг другу жизнь взаимным недоверием, ревностью, упреками или — что еще страшнее — взаимным равнодушием, безразличием. Поженились, а потом «не сошлись характерами», и в конечном счете дети должны расплачиваться за былое легкомыслие родителей, оставшись без отца или матери.

Я не осуждаю Акимова за разрыв с женой: Борис не из тех легких мотыльков, что бездумно порхают с одного цветка на другой. Может быть, разрыв лучше вечной семейной каторги. Но за то, что две маленьких Наташки остались без отцов, ты должен ответить, Борис.

Очень все это неприятно. Рано или поздно придется обсуждать Акимова на комитете, но... рука не поднимается на товарища, вместе с которым столько пережито. В конце концов, помимо чувства долга, у каждого из нас есть какие-то личные, свои чувства, симпатии и неприязни.

Две недели назад Валентин окончил курсы машинистов башенных кранов. Экзамены и практику сдал на «отлично», получил специальность машиниста седьмого разряда. Из строительной школы перешел на работу в Жилстрой. Да, не зря Валька в первый день на стройке заглядывался на кран! Кран, на котором он сейчас работает, смонтирован на строительстве новой средней школы. Это стальная махина высотой в пятиэтажный дом, способная поднять гусеничный трактор. Своей работой Валентин доволен, а Ленька теперь с завистью смотрит на его черные лоснящиеся ладони.

Вместе с ликвидацией Комсомольского городка упразднилась и моя должность воспитателя. Перешел на работу в редакцию вновь организованной многотиражной газеты «За алюминий». Выходит два раза в неделю. Штат — редактор Сергей Иванович Бурыкин («сочувствующий комсомолу»), литсотрудник — я, и машинистка Гутя Петрова (комсомолка). Штат, можно сказать, комсомольский. Комната наша по соседству с комитетом комсомола, даже телефоны на одном проводе.

Сергей Иванович в курсе всех комсомольских дел и в отсутствие нас с Куликом успешно решает все вопросы: дает «руководящие указания», принимает сводные отчеты по членским взносам. Активисты в шутку зовут его внештатным секретарем комитета комсомола. С орловчанами у Бурыкина особая дружба. Он ведь ездил летом в Орел и вместе с об-

комом комсомола занимался отбором молодежи на нашу стройку.

Никто у нас не удивляется, что сорокалетний «юноша», коммунист, без всяких на то полномочий вмешивается во все наши «ребяческие» дела, отчитывает штатного секретаря комитета и его «замов».

16

Эта последняя ночь на «даче» показалась особенно долгой и мучительной. Печка с вечера дышала жаром. Уставшие и промерзшие за день, мы прямо у печки проворно, наперегонки опустошили кастрюлю подгоревшей гречневой каши, запили крутым кипятком без заварки и, подбросив в прожорливую «буржуйку» остатки дров, повалились в постели.

Печь остыла, и по палатке начали гулять сквозняки. Холод пробивает наброшенные сверху плащ, пальто, забирается под одеяло, подтягивает онемевшие колени к самому подбородку. Где-то совсем рядом, за стеной стонет холодный ветер, воют электрические провода.

Интересно, который час?

Перед утром Кулик не выдержал. Вскочил с кровати, не надевая брюк, сунул босые ноги в сапоги, надел шинель и с топором в руках выбежал на улицу. Вернулся с охапкой дров. Растопил печку, разбудил Валентина.

— Если протопится — твоя очередь! — и, лязгая зубами, забился под одеяло.

Так поочередно рубили дрова и топили, коротая холодную ночь.

Всего два дня осталось до праздника. Неужели придется встречать его на «даче», в стороне от друзей? В квартале 10 «а» заканчивается отделка восьмиквартирного дома № 29. Одна трехкомнатная квартира в нем — наша. Комсомолки-маляры покрасили панели, шпаклюют полы. Это уже третья «наша» квартира. От двух предыдущих отказались в пользу семейных. Больше ждать невтерпеж. И так на две недели «пережили» всех самых старых палаточников. Надо переезжать!

До обеда были на воскреснике. Вели кладку стен, разгружали кирпич, разбирали детали для клуба. Под конец раздурились. Устроили кучу-малу, спустили Тамарку Заремскую в котлован по кирпичному желобу. Зацепилась за гвоздь и расхватила всю спину на телогрейке. Правильно говорят: дурь до добра не доводит! В свалке кто-то локтем подбил глаз Вале Фроловой. Она страшно переживает. Еще бы, такая кокетливая дивчина и вдруг... с фонарем под глазом!

После воскресника пошли втроем на квартиру управляющего трестом Красильникова, рассказали о своем житье. Его жена Анна Евдокимовна напоила нас чаем с малиновым вареньем. Ленька сначала ломался, а потом за разговорами не заметил, как опустошил вазочку. Что греха таить: мы тоже от него не отставали! Ну, да не в этом дело. Важно не варенье, а теплое слово. У Красильниковых оно всегда найдется для каждого.

— Вот что, ребятки, — сказал Петр Федотович, — раз замерзли — переезжайте сегодня же. Полы потом покрасят!

Перевезти на машине все наше имущество оказалось делом каких-нибудь сорока минут.

К вечеру столяр Ванюшка Харламов принес из дому инструмент и, деловито поковыряв стамеской, врезал в дверь квартиры добротный замок. Орест Верочкин перебросил через улицу кусок проволоки, продернул его в форточку соседнего шестого общежития, «пошаманил» что-то над щитком, и, к нашему восторгу, в квартире вспыхнула единственная пока лампочка. Валентин громыхал на кухне посудой. Ее набралось изрядно: казенный чайник, казенная кастрюля, одна собственная тарелка, три «привыкших» стакана и три собственных ложки.

Начальник жилищного отдела Целиков, наругавшись досыта, выделил нам на время диван, щетку для полов, шифоньер, три тумбочки; квартира теперь обставлена почти роскошно.

Октябрьские праздники встречали в новой квартире. Шестого ноября собирались у нас. Пришли все члены комитета, многие из комсоргов стройуправлений. Народу набралось человек тридцать. Сделали из досок столы и скамейки. Каждый по доброму желанию принес с собой стакан, ложку или вилку. На нашу посуду никто не рассчитывал, а оказаться за праздничным столом без ложки и, тем более, без стакана никому не хотелось. Хлеб, колбасу, селедку, сыр, нарезали и положили на «тарелки» из газеты. Для картошки и котлет нашли обычные фаянсовые тарелки.

Одну из комнат превратили в танцевальный зал. Из комитета комсомола принесли радиолу. Пластинки собирали по всему Шелихову.

Встретили праздник весело и хорошо. Петь и танцевать можно было сколько угодно — мешать некому, мы единственные жильцы на два этажа. Все соседние квартиры пустые, в коридорах и на лестничных клетках кучи строительного мусора. Благо гости у нас невзыскательные и никто не жаловался на неудобства. Один только Саня Потапов назвал

наш праздничный вечер «босячником» и тут же вынужден был под давлением общества отказаться от своих слов, извинившись перед гостеприимными хозяевами.

Жизнь нашей «коммуны» пошла своим чередом. Уверен, что она была бы еще краше и светлее, если бы не... Леня Кулик. Он, наверное, скоро выживет нас из квартиры.

Все наши мытарства начались с того, что Кулик начал конструировать электрорадиобудильник. Два вечера чертил схемы, два вечера примерял, крутил, паял что-то. Принцип действия электрорадиобудильника конструкции Кулика коротко состоит в следующем. В определенное время обычный коричневый будильник марки Орловского часового завода начинает звенеть. Звонок автоматически замыкает цепь и включает радиоприемник. В квартире начинается такой звон и гвалт, способный разбудить покойника, но все-таки недостаточный для того, чтобы разбудить Кулика.

Ленькины эксперименты с электрорадиобудильником окончились трагически пока только для будильника. Он вдруг заболел неврастенией. То мчится вперед с космической скоростью, обгоняя время, то вдруг впадает в состояние крайней апатии и еле дышит. Ни с того ни с сего разражается среди ночи звоном, включает приемник и начинается адская какофония. Подойти к нему в темноте опасно: попадешь под ток. Приходится будить Леньку и просить утихомирить свой комбайн.

Валентин уверяет, что будильник безнадежно испортился от магнитного поля, а Кулик и слушать не хочет.

Вся квартира опутана проводами, под койками трансформаторы, на каждом шагу натыкаешься на куски ватмана с нарисованными на них черепом, скрещенными костями и надписью: «Не трогать, смертельно!» Кулик намерен организовать для нас курс лекций по технике безопасности и выдать соответствующие удостоверения. В общем, дорого обходится нам Ленькин диплом инженера. Уж лучше бы он не был инженером или, по крайней мере, не любил так самоотверженно свою профессию! Было бы гораздо спокойнее и безопаснее.

17

Письмо выглядело совсем по-обычному — скромный голубой конверт и несколько исписанных карандашом листков бумаги. На конверте орловский штемпель и обратный адрес: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, 8, Керн А. А.

Читали письмо прямо на комитете комсомола, и хоть вопрос этот совсем не значился в повестке дня, он стал основным на нашем заседании.

Вот оно, это письмо матери. Я привожу его дословно, без всяких литературных «прикрас»:

«Уважаемые товарищи!

Простите, что не сразу ответила на ваше письмо. Удар последнего, видимо, надолго сломил меня. Сегодня через силу встала написать вам.

Велико мое горе. Нет сил и слов выразить все то, что приходится переживать за неудачного сына. Суровый приговор приготовил он матери. Мне 50 лет, и я до сих пор работаю, несмотря на те переживания, которые легли на мои плечи с 1941 года. И вот когда он предстанет перед вами, — а это произойдет в недалеком будущем (тех денег, что он похитил, надолго не хватит), — пусть расскажет вам, чем вызвано его недобросовестное отношение к обществу, к семье и лично к себе.

Разве он не мог трудиться честно? Разве руки у него не те, что у его товарищей? Разве его отец погиб за счастье негодяев? Разве мать, оставшись с ними тремя, школьного возраста, запятнала себя перед детьми и обществом?

Нет! — поверьте мне. Работала не покладая рук, работаю и теперь. Как приехала в Орел, уже на одном месте работаю десять лет, имею три благодарности с занесением в трудовую книжку. Разве я хотела иметь такого сына? Ведь он у меня один (остальные дочери). Вернулся из Армии, не успел обжиться, женился. И с этим смирилась, думая, быть может, к лучшему. Ничего из этого не получилось. Уехал, и была к нему единственная просьба — трудиться честно...

Вы напрасно обвиняете себя. Характер Владимира жестокий. Как подойти к нему, быть может, я и не сумела?

Он начал гибнуть с приездом в Орел, влившись в компанию лет на 8—9 старше себя ребят. Это семья Афанасовских. Даже работать пошел не на свой, а на часовой завод, где работал его «старый друг».

Быть может, виновата я, предоставив его самому себе. Но у меня иного выхода не было: или кусок хлеба, или надо было ходить по пятам за сыном. Но в то время не одна я поступала так. Война многих нас, матерей, заставила бросить детей без присмотра, чтоб они же не умерли с голоду. Но не все дети оценили труд матерей так, как отблагодарил меня мой сын. Я заранее знаю, что его ждет, то есть то пожнет, что сам посеял.

Прошу вас исполнить две мои просьбы: одна — это передайте ему мое письмо. Вто-

рая — сообщите мне о результатах после его нахождения.

Простите меня за моего сына.

С приветом, А. Керн.

23 ноября 1956 г.»

Мы не смогли выполнить ни первую, ни вторую просьбы матери — Владимира так и не нашли.

Кто знает, может быть, мои записки когда-нибудь увидят свет и попадут в руки бывшего комсомольца Владимира Керна? Пусть хоть в них он прочтет это так и оставшееся у меня письмо матери и хоть с опозданием выполнит ее наказ. Вот это письмо.

«Володя!

Быть может, это будет последнее письмо к тебе. Прошу тебя, серьезно прочти и подумай.

Твой последний поступок окончательно убил меня. Но это неважно. Я свое прожила, и никто не скажет, что сделала кому-то плохо. Ты знаешь о том, как я работала, начиная с 41 года. Но ты, ты молод, и твоя жизнь и будущее счастье в собственных твоих руках. Не думай, что я имела покой, не получая от тебя вестей с 28 июля. Не было разницы между днем и ночью. А ведь в таких случаях хорошие мысли не идут на ум.

Володя, вспомни час нашей разлуки и мою просьбу. Вспомни годы войны, гибель отца, те трудности, которые легли на мои плечи. Вспомни тайгу, где мы с тобой в 45-градусный мороз встречали эшелон за эшелоном в надежде увидеть отца. Вспомни переезд в Орел, нетопленую комнату, коптилку, пирог из свеклы, как я отказывалась от него, ссылаясь на то, что сыта, и отдавала вам, детям. Я — мать. И неужели ты думаешь, что мне было легко видеть вас в этой обстановке? Но я не свернула с пути, ничем не унизила себя перед вами.

Ты бросил учебу. Устроила в ремесленное. Разве это плохо? Разве труд рабочего — позор? Рабочий в наше время самый почетный человек. Уехав на стройку, ты стал белоручкой.

У меня не укладывается в голове одно: как можно думать, что всякий нечестный поступок останется безнаказанным?

Вспомни, как честно трудился твой отец. Он не строил себе палат, а довольствовался тем, что было вознаграждением за труд. А ведь в его ведении были, как ты помнишь, крупнейшие заводы. И мы жили скромно. И я была довольна, что даже после его гибели нам осталась хорошая слава о нем и все знали его как хорошего человека.

Мне доверяли и доверяют материальные ценности. Запусти я руку в государственный карман, что было бы со мной? А ведь я в год имею две премии. Я просто в ужас прихожу при одной мысли, что так жестоко поступил ты со мной и еще более жестоко приговорил себя, погубив свою молодость, а может быть, и жизнь ради мимолетного счастья. Да я и не думаю, что ты имел его хотя бы на мгновенье!

Ты так легко отрекся от комсомола, а ведь поехал-то ты по путевке ВЛКСМ, и сколько на каждого из вас затрачено государством средств.

Володя, я никогда, ни в чем не завидовала людям. А вот когда слышу и вижу, какие есть хорошие дети и счастливые матери, не только завидую, но с горечью думаю: «Значит, я не достойна иметь хорошего сына!»

Не ради меня, а ради своей молодой жизни подумай серьезно. Отрекись от ненужных попоек. Только тогда и будет хорошо, когда честно, трудом зарабатываешь на жизнь. Тогда и хлеб будет слаще меда, и отдых здоров, и не только себе, но и окружающим будет приятно.

Вернись на путь истины! — только об этом могу просить.

Мать».

Письмо прочитано. И еще минут десять в комнате стояла тишина. Может быть, именно в эти минуты каждый из нас вспомнил свою родную мать, ее всегда такие теплые шершавые от стирки руки. Вспомнил о том, что в постоянной житейской сутолоке, в своих мелких заботах и хлопотах не находишь минутки времени, чтобы написать ей хоть самое маленькое-маленькое письмецо. А ведь она только ими и живет и ничего-то больше ей от тебя не нужно!

Леня сидел за столом, запустив руки в густые черные волосы и смотрел на пустой конверт. Борис осторожно кашлянул, потянул руку в карман, за портсигаром. Курить на заседании не разрешается, но на этот раз никто не возражал.

Нина Городина забыла о лежавшем перед ней листке бумаги, на котором прежде рассеянно рисовала чернилами какие-то сказочные цветы. Округлившимися глазами она все еще испуганно глядит прямо в рот Кулику. Крупные слезы падают на листок, чернила на цветах расплываются лиловыми подтеками...

Письмо матери вызвало много горячих споров. Говорили не о том, права или не права мать Владимира. Больше говорили о том, что у нас еще немало таких Кернов в коллективе и с ними надо крепко поработать. Решено было прочитать и обсудить письмо во всех молодежных общежитиях, а комитету ВЛКСМ и комсомольским организациям участков под-

держивать связь с родителями ребят и девушек, сообщать им не только о проступках, но и о хороших делах их сыновей и дочерей.

В эти дни мать Владимира получила много писем из Шелихова. Писали совершенно незнакомые ей молодые люди, старались поддержать и ободрить чужую мать.

«Ваш сын опозорил вас. Так считайте же всех нас своими сыновьями и дочерьми», — писали комсомольцы-штукатуры Рита Беетц, Дуся Хочунская, Лида Андреева, бетонщица Нина Жарких и другие. И, может быть, от этих простых бесхитростных писем теплее становилось на материнском сердце, смягчалась душевная боль.

Пусть мы не сумели помочь матери Владимира Керна в его воспитании, но она, бесспорно, помогла нам в воспитании многих парней и девчат.

За это вам большое наше сыновнее комсомольское спасибо, мать!

18

Недавно Нина Городина познакомила меня с Лидой Манченко. Лида рослая полная блондинка, очень неглупая, но до чрезвычайности наивная. Скажи ей, что ты записался в очередь для космического полета на Марс, она охотно поверит и не отвяжется до тех пор, пока не скажешь, куда надо посылать заявление, какие к нему приложить справки (о состоянии здоровья, о семейном положении, об образовании), сколько и какого размера фотокарточек. Впрочем, завидное здоровье Лиды, пожалуй, не нуждается в подтверждении медицинскими справками. Оно вполне подходяще и для космических полетов, и для работы бетонщицей.

Большая красивая голова Лиды с мягкими белокурыми волосами битком набита мыслями о романтике. Ради романтики она согласна на все — есть черный хлеб с водой, долбить кайлой мерзлую землю, ходить в резиновых сапогах, мерзнуть и мокнуть. Ради романтики три месяца назад Лида ушла из университета на стройку.

А было это так.

В июне 1956 года студентка Иркутского госуниверситета Лидия Манченко успешно сдала экзамены за первый курс. Нехитрый студенческий скарб уложен в чемодан. В кармане вместе с железнодорожным билетом остатки скромной стипендии. Можно отправляться домой на каникулы.

За несколько часов до отъезда с группой других студентов Лида пришла на вокзал встречать орловских комсомольцев, прибывших на строительство алюминиевого комбината. Звуки оркестра, цветы, лепестки на асфальте и горячая восторженная встреча. Вместе с товарищами Лида поздравляла кого-то с приездом, кому-то желала больших успехов и счастья на новом месте. Потом долго бродила по раскаленному асфальту перрона и думала, думала.

Осенью, возвратившись с каникул, студентка Манченко пришла к проректору по заочному обучению и заявила о своем намерении уйти на стройку.

— Вы, девушка, или совсем не знаете жизни, или слишком избалованы, — внимательно выслушав ее, сказал тот. — Советую вам хорошенько подумать.

Но все уже давно было обдумано и решено. Оформив перевод на заочное отделение, Лида приехала на Алюминьстрой.

Нет ничего удивительного, что она так крепко подружилась с Ниной Городиной. Та же откровенность, та же наивность, та же кристалльная душевная чистота и бескорыстие. Валька Сухарев объясняет их дружбу еще проще: «Сапог да сапог — пара!»

За Нину у меня душа болит. Два месяца назад по моей рекомендации комитет комсомола утвердил ее воспитателем.

— Хорошо, — согласилась Городина, — только дайте мне мальчишеские общежития. С мальчишками я скорее найду общий язык.

А теперь вот чувствую, что работа у нее не клеится. Нина не в меру прямолинейна, доверчива и мягкосердечна.

Манченко недавно рассказала мне, что за Ниной упорно ухаживает каменщик Анатолий Гуцев. Нина не отвечает ему взаимностью, и, зная об этом, Анатолий старается взять ее «на измор» — выпивает, куралесит. Нина носится с ним, как с писаной торбой, «воспитывает» его, читает морали, а он свое:

— Будешь со мной дружить, буду хорошо себя вести, нет — сопьюсь!

Разговаривал о нем с Городиной.

— Давай, вызовем в комитет.

— В комитет пока вызывать не надо. Попробую еще сама с ним поговорить.

Я ничего не имею против Гуцева. Он хороший парнишка, неплохой работник. Но нельзя же воспитателю работать такими «методами!» Ведь об этом уже знают ребята. Ругаю себя за то, что, не подумав, предложил тогда на комитете направить Городину воспитателем.

Наверное, я не отважился бы на такой рискованный шаг, если бы не одно обстоятельство. Осенью, во время стажировки на башенном кране, Нина совершила крупную аварию.

Окончив вечернюю смену, она решила задержаться еще на час и попытаться работать самостоятельно. Городина не раз видела, как опытные машинисты крана работают одновременно на двух-трех контроллерах, совмещая операции подъема груза, движения каретки и разворота стрелы.

«А что, если и мне попробовать? — Нина мысленно представила себе, как удивится и обрадуется завтра Ленька Наумов, ее шеф-машинист, убедившись, как легко и свободно может она управлять стальной рукой крана, и повернула вправо баранки двух контроллеров. Ровно гудели электромоторы. Отсвечивая в лучах прожектора, тяжелая бадья медленно ползла вверх. Девушка переключила контроллер подъема груза во второе положение, и бадья стала подниматься быстрее. «Обрадуется, ох, как обрадуется Ленька!» — торжествовала Нина и начала плавный разворот стрелы.

Но Ленька не обрадовался. Увлеченная работой Городина совсем забыла о движущейся каретке. Тяжелая каретка с блоками проскочила через ограничитель, ударилась об упор на конце стрелы и застряла. Нина перевела контроллер в обратное положение, но каретка не двигалась. Выключив моторы, девушка зачем-то сняла очки, протерла их рукавом куртки и снова водрузила на нос. Что же теперь делать? Можно добраться на четвереньках по стреле до каретки и посмотреть. Страшно одной. Да и что там разглядишь в темноте? Оставалось одно — выключить рубильник и идти домой.

«Нет, не получится из меня крановщик, — скользя подошвами ботинок по ступенькам металлической лестницы, думала Нина. — Очень уж я рассеянная, забывчивая и... и еще близорукая...»

Утром Валентин с Леней сразу заметили, что кран неисправен, не работает каретка. Разбираться было некогда: внизу каменщики требовали кирпич и раствор. Маневрируя по рельсовой колее, ребята стали подавать груз на леса. Минут через тридцать прибежала Городина, поднялась в кабину.

— Это я, Леня... Это я каретку вчера... Ночью хотела попробовать сама и вот...

Наумов и Сухарев не стали вызывать слесарей. Кое-как дотянув до обеденного перерыва, сами поставили каретку на монорельс. Никто бы ничего и не узнал, но Городина отыскала механика и рассказала об аварии.

— Эх, дочка, дочка, — вздохнул инженер. — Давно я за тебя опасался. Нельзя тебе такой механизм доверять. Да и зрение вот у тебя плохое, далеко ли до беды? Может быть, на кран «Пионер» перейдешь?

Но о «Пионере» Нина и слушать не хотела. Два дня ее не было ни на работе, ни дома. На третий день пришла в комитет комсомола и, виновато шмыгая носом, попросила совета.

Дважды обсуждали на комитете персональное дело Бориса Акимова. Первый раз после тяжелого полуторачасового разговора решили отложить рассмотрение вопроса до окончательного выяснения. Собственно говоря, между Борисом и Кирой выяснять нечего: все и так яснее ясного. Но ведь у каждого из них есть «своя» семья и с этим нельзя не считаться. Киру на комитет не вызывали, она пришла сама. Оба хотели какого-то решения. Члены комитета уже склонялись наложить на Акимова взыскание, махнув рукой на их поступок, но я предложил написать письмо жене Бориса и мужу Киры и отложить разбор дела. Все охотно уцепились за это, чтобы избежать продолжения неприятного разговора. Борис же посмотрел на меня красноречивым взглядом и пожал плечами.

Ответы на наши письма пришли. Валя Акимова писала, что ради дочки согласна простить нанесенное оскорбление и приехать в Шелихов. Муж Киры, инженер одного из ленинградских заводов (после отъезда Киры он переехал в Ленинград), высокомерно требовал развода.

Борису после мучительно долгого обсуждения решили объявить строгий выговор.

Никто из членов комитета не уверен, что большой и сложный вопрос о жизни двух семей решен правильно, но другого решения придумать не могли.

19

Кулик со вздохом отложил ручку и взялся за телефон. Доклад для собрания комсомольского актива почти не подвигался, мешали телефонные звонки и люди, которые шли сегодня один за одним.

— Если к обеду не привезут кирпича, — грозил по телефону бригадира каменщиков Виктора Егорова, — все уйдем со спортзала! Будем просить перевод на другой объект.

— Что, опять кирпич не дают? — спросил Кулика сидевший рядом Королев.

— Хорошо, постараемся что-нибудь сделать. — Кулик положил трубку на аппарат и повернулся к Королеву. — Что ты будешь делать! Красильников дал распоряжение каждый день выделять на спортзал две машины

кирпича, а кирпич увозят на другие объекты. Пойди, Володя, разберись.

Королев схватил шапку и побежал. Через час-полтора срочно мобилизованная группа штукатуров строительной школы во главе с группкомсоргом Ларисой Жуковой разгружала у спортзала пять машин с кирпичом. В это же время начальник конторы снабжения звонил управляющему трестом Красильникову и рыдал в телефонную трубку, что комсомольцы самовольно перехватили автоколонну с кирпичом и угнали на свой «самострой».

Это один из примеров того, как приходится нам решать проблему обеспечения ударной комсомольской стройки материалами. Правда, это крайняя мера и к ней приходится прибегать лишь тогда, когда не помогают наши «молнии»...

Ударная комсомольская стройка живет и дышит полной грудью. Каждый вечер воскресники. Выходят поочередно все комсомольские организации. Площадку электрифицировали. Ведем кладку стен, утепляем грунтом фундаменты, прокладываем теплотрассы. На спортзале стены выросли до второго яруса окон. На клубе идет монтаж сборных стеновых конструкций.

В прошлую субботу начали кладку бытовых помещений спортзала. В три часа дня, прямо с работы, пришли на ударную стройку две бригады каменщиков с Заводстроя. Привезли раствор. Можно бы начинать работу, но прораб не успел сделать разбивку фундаментов. Без нее кладку не начнешь.

За организацию субботника отвечал я и не доглядел вовремя. Ух, и досталось же мне от девчат. Одну бригаду пришлось отпустить, чтобы зря не держать людей. Остальные тоже было засобирались домой. Делать, мол, все равно нечего, пропадает субботний вечер ни за грош!

Мы с бригадиром Таней Акимовой собрали девушек, спрашиваем:

— Что будем делать? Если уйдем домой, раствор к утру наверняка схватится. Все ударную стройку опозорим.

Подумали девчонки, помялись.

— Будем работать, вот и весь разговор! — ответила за всех Таня Скиба.

Смеркалось. При свете электрических ламп сделали стяжку фундамента и начали кладку. Вскоре у всех появился волчий аппетит. Техник Гена Колчин принес из магазина три буханки белого хлеба. Здесь же, на грудах кирпича и ящиках с раствором, вперемежку с шутками и смехом съели хлеб — и снова за работу.

Холодный ветер забирается под телогрейки. Из темноты медленно падают снежинки. Вздрагивают от холода, прячутся глубже под абажуры электрические лампочки на столбах. Цементный раствор сковывается и глыбами намерзает на лопатах.

Только в десять вечера, выработав весь раствор, каменщики ушли домой. В понедельник штаб ударной комсомольской стройки присудил бригаде Татьяны Акимовой с Заводстроя переходящий красный вымпел.

Работа на ударной стройке буквально захватила всех. Два-три раза в неделю в обогревалке — заседания штаба. Подводим итоги, присуждаем вымпел, составляем оперативный план-задание и график работы комсомольских организаций. Иногда наши заседания бывают настолько длинными, что одному из членов штаба приходится брать топор и бежать на улицу — подколоть дровишек для остывающей печки. На последнем заседании подвели итоги за три месяца. За это время комсомольцы и молодежь отработали на ударной комсомольской стройке около пяти тысяч человекодней. Начало неплохое! Главное, наша стройка подняла и сплотила весь коллектив. Ничто другое не сближает людей так, как совместная общественная работа.

Позавчера вечером зашел я к Стрижевскому. На большой базе у нас только что запустили новый крупный завод железобетонных изделий, и надо было сделать для газеты запись беседы с главным инженером треста о ходе работ на других пусковых объектах.

Время было около десяти вечера. Стрижевский сидел за столом, заваленным кубиками бетона, коробочками со шлаком, туфом и еще чем-то. В кабинете дым коромыслом. Вид у Стрижевского крайне утомленный. Лицо землисто-серое, под глазами мешки.

— Очень, понимаешь, кстати зашел. Здравствуй! — встретил он меня. — Только что получили телеграмму из Москвы. На ваш, понимаете, «самострой» ассигновали восемьсот тысяч рублей. Телеграмму с просьбой отпустить на спортзал деньги подписывал, понимаете, я, я и в ответе перед министерством. Смотрите, чтобы не подвели меня!

Стрижевский потер пальцами высокий лоб, виски и продолжал совсем другим, неофициальным тоном.

— Читал в газете о рейдах вашей, понимаете, «легкой кавалерии». Доброе дело затеяли! Хорошенько надо трясти нашего брата и меня, понимаете, в том числе. Расчистим весь мусор, который у нас еще есть, комбинат, город построим, дворцы, театры, — вот тогда, понимаете, заживем! А сейчас... сейчас, пони-

маете, трудно пока нам всем, от вас, комсомола, помощь нужна.

Стрижевский умолк. Сузившимися глазами он задумчиво смотрел на большой, во всю стену, генеральный план стройки. Потом как-то сразу внутренне подобрался, словно застеснявшись своей откровенности и теплоты, стряхнул в урну пепел с папиросы. Теперь за столом сидел Стрижевский, настоящий Стрижевский, каким я привык видеть его за полгода работы на стройке — высокомерный, с холодным непроницаемым взглядом голубых глаз.

20

После лютых морозов неожиданно наступила оттепель. Торопливо зашмыгали ноздрями водосточные трубы. С крыш повисли мутные сосульки. Звонкая капель полтинниками рассыпалась по асфальту. Заслезились прозревшие ото льда стекла в окнах. Проснулись, зашумели нагие тополя, сбрасывая с ветвей искрящийся игольчатый куржак.

Блестящими медалями дымятся на тротуарах радужные лужицы. Накатанные за зиму дороги покрылись слизью. Буксуют машины. Чертыхаются шофера. Влажный порывистый ветер пригоршнями бросает в нос запах оттаявшей земли. Запоздавшая сибирская весна быстро слизывает шершавые снежные сугробы.

За какие-нибудь две-три недели все вокруг изменилось до неузнаваемости. На улицах появилась тьма-тьмущая пронырливых ребятишек. Они тащат откуда-то металлом, спорят, играют в пристенок, по-цыгански меняются перочинными ножами. Голенастые девчонки в коротеньких платьицах с чернильными кляксами на подолах чертят мелом на асфальте квадраты для игры в «классы».

По вечерам из окон девичьих общежитий звучат стройные звуки песен. В такие минуты мне вспоминается Любка, и становится немножко грустно. Она живет рядом, в одном из общежитий квартала 10 «б», и работает все в той же бригаде. Только бригадир у них теперь другой. Но у нас с Любкой ничего не было и, наверное, не будет. Встретимся иногда случайно на улице, поздороваемся — и разойдемся.

Грустить и тосковать некогда. Недавно прошла вторая отчетно-выборная комсомольская конференция стройки. Провели ее досрочно, весной. Последние месяцы Леня Кулик захандрил, стал рваться на работу по специальности, просил освободить его от работы в комитете.

Конференцию проводили в новом клубе, строительство которого полгода назад было объявлено ударной комсомольской стройкой. Клуб еще не был окончательно достроен, внутри велись отделочные работы.

На улице снег с дождем, слякоть. Через незатвердевший на ступеньках бетон положили скользкие трапы. По трапам входили в зрительный зал, где вместо театральных кресел поставили триста новеньких табуреток для делегатов.

Нас крепко ругали за ошибки и промахи, но немало было сказано и теплых слов. В целом конференция дала положительную оценку работы комитета.

Из тринадцати членов нового комитета комсомола десять — рядовые рабочие ребята — плотники, каменщики, бетонщики, механизаторы. Леня Кулик, Борис Акимов и еще несколько человек избраны в комитет второй раз. Меня избрали комсоргом стройки, Бориса Акимова снова оставили заместителем секретаря комитета.

— Ты сам знаешь, где у нас какие бумаги лежат, — скороговоркой выпалил после конференции Кулик. — Составь акт на передачу дел, потом подпишем оба. Я завтра выхожу работать механиком на бетонно-растворный завод. Мы со Стрижевским еще за неделю до конференции договорились! — Ленька растянул губы в плоскую утиную улыбку, потер руки и удовлетворенно захихикал.

Что я думаю о своей новой работе? Дум много разных. Много будет трудностей впереди, но главное уже за плечами. Молодежный коллектив стройки сложился, вырос в трудностях, окреп.

Пора набирать ход!

* *
*

Эти записки относятся к началу строительства Иркутского алюминиевого комбината. Жизнь сложилась так, что, проработав еще год комсоргом стройки, я должен был уехать из Шелихова. Впереди была новая работа, новые люди, новые заботы. Но так уж, видно, устроен человек, что его неудержимо тянет побывать снова в тех местах, где раньше жил и работал, где остался кусочек твоей души, сердца.

Прошедшей весной я на два дня заезжал в Шелихов. Сыпал мелкий дождь вперемежку со снегом. Переобувшись в кирзовые сапоги, мы с Борисом Акимовым долго ходили по поселку. За год здесь выросла новая школа, больничный городок, целые улицы с двух- и трехэтажными домами. Как называются ули-

цы? Пока никак, просто кварталы семь, восемнадцать; кругом асфальт, свежие посадки тополей, акаций, багульника...

Не удержались от соблазна пройти и на заводскую площадку.

— Эх, брат, не догадались мы с тобой переодеться в телогрейки. Сели бы на любой самосвал и доехали. А так, — Борис с сожалением посмотрел на наши выходные плащи и сокрушенно покачал головой, — так ни один шофер не посадит. Ты же знаешь: не любят у нас праздных «туристов»!

Но нам повезло. Разбрызгивая веером перемешанный с дождем снег, из-за поворота вынырнула зеленая «Победа». Шофер управляющего трестом Гена узнал нас и в два счета довез до базы.

Да, все знакомо здесь и все незнакомо. Вот тут мы с Борисом и его дочкой Наташкой когда-то за полчаса успевали набрать по корзинке крепких молоденьких шампиньонов. Теперь здесь выросли железобетонные каркасы заводских корпусов. В некоторых цехах уже идет монтаж оборудования. Рядом с ними башенный кран тащит к небу бадью с бетоном — строится заводская теплоэлектроцентраль. В блеске огней электросварки, в грохоте пневматических молотков поднимается над тайгой гигант цветной металлургии Восточной Сибири. Пройдет еще несколько месяцев — и Родина получит первый металл, так необходимый для выполнения величественных планов семилетки. Десятки комсомольцев-строителей осваивают по вечерам новую профессию электрометаллурга, чтобы стать у электролизных ванн, у разливочных ковшей и с первых дней обеспечить бесперебойную работу завода.

Да разве только стройка выросла? Выросли и возмужали люди. Больше двадцати молодежных коллективов соревнуются за звание бригад коммунистического труда. Борис Акимов стал машинистом экскаватора и заочником инженерно-строительного института. По стопам Бориса пошел Володя Коврижкин. Он тоже учится на экскаваторщика. Кажется, давно ли наш «Гусак» Ванюшка Гусев не умел мастерка в руках держать. Сейчас Гусев — инструктор по каменной кладке и сам обучает бригаду новичков. Саня Потапов возглавляет бригаду трубоукладчиков. Бывший начальник штаба ударной комсомольской стройки Володя Королев без отрыва от производства окончил среднюю школу, получил аттестат зрелости и работает комсоргом стройки. Лида Манченко, подруга Городиной, осталась таким же романтиком и оптимистом. Работает оператором на бетонно-растворном заводе и учится заочно на четвертом курсе университета. Вместе с ней учится мастер Спецстроя Светлана Теплякова. Нина Жарких заочно поступила в энергетический институт. Заочников в Шелихове столько, что всех не перечислишь.

Интересной была встреча с Анатолием Алферовым, бывшим заводилой из двенадцатой палатки. Сначала я увидел на Доске почета фотографию старшего мастера Алферова. Позднее, в августе, мы встретились с Анатолием в клубе. Накануне Дня строителей он сидел в президиуме торжественного заседания коллектива стройки. После разговорились.

— Двенадцатую палатку помнишь? — спросил я Анатолия.

— А как же, разве такое забудешь? — Алферов помолчал. — Знаешь, дураками мы в то время были. И если вышли в люди, спасибо за это комсомолу! Сейчас вот семья, ребенок, и жизнь совсем другая пошла... Приезжал ко мне Володя Шатунов. Он тоже в Сибири остался. Сидели так же, вспоминали старое... А Неизвестных, Алексей Павлович, «палаткоуправ» наш, уехал недавно на Север...

Заходил я к главному инженеру треста Стрижевскому, поздравил его с награждением орденом Трудового Красного Знамени.

А разве можно было не зайти к Лене Кулику? На двери квартиры Кулика табличка: «Прошу нажать кнопку». Пришлось уважить письменную просьбу хозяина. Вслед за звонком послышался короткий сухой щелчок, словно кто-то взвел курок пистолета, и на двери вспыхнули буквы: «Входите». Немножко озадаченный столь необычным гостеприимством, я мгновенно вспомнил электрорадиобудильник системы Кулика, робко толкнул дверь ногой, но входить не решился. За дверью никого не оказалось, и это насторожило еще больше: с Ленькиной «автоматикой» мне пришлось на практике ознакомиться еще два года назад, и знакомство было не из приятных! Наверное, я так и стоял бы у открытой двери, если бы из комнаты не показалась взлохмаченная голова Кулика.

— Что же ты на пороге-то стоишь? — удивился Леня и принялся тормошить меня.

— А у тебя тут «Не трогать, смертельно!» нигде не написано? — спросил я Кулика, и оба расхохотались.

— Понимаешь, Толя, хотел написать, да у меня один из членов семьи совершенно неграмотный. — Леня обернулся в глубину квартиры и крикнул: «Петька, ну-ка марш сюда!»

Раскачиваясь на коротких крепких ножонках, из кухни вышел годовалый крепыш и на-

чал бесцеремонно ощупывать и осматривать незнакомого «дядю». «Проверив» на ощупь качество брюк и убедившись, что они крепко держатся на поясе, Петр Кулик обнаружил на моей руке часы и решительно потребовал:

— Дай!..

Работает Леня в дирекции алюминиевого завода инженером по оборудованию. В свободное время по-прежнему увлекается мотоциклетным спортом и конструирует всевозможные «электрорадиотелекомбайны».

У Ленигого сынишки много ровесников — Маша Акимова, Валера Гусев, Лена Петрова, Лена Верочкина, Лена Королева и много-много других, чьи имена я не успел запомнить. Да это, пожалуй, невозможно: за один только прошлый год в Шелихове появилось больше трехсот маленьких граждан. Что и говориь, комсомольские темпы!

Первому сибирскому орленку Витьке Коврижкину недавно минуло три года. Растет сынишка и у Нины, теперь уже не Городиной, а Гуцевой.

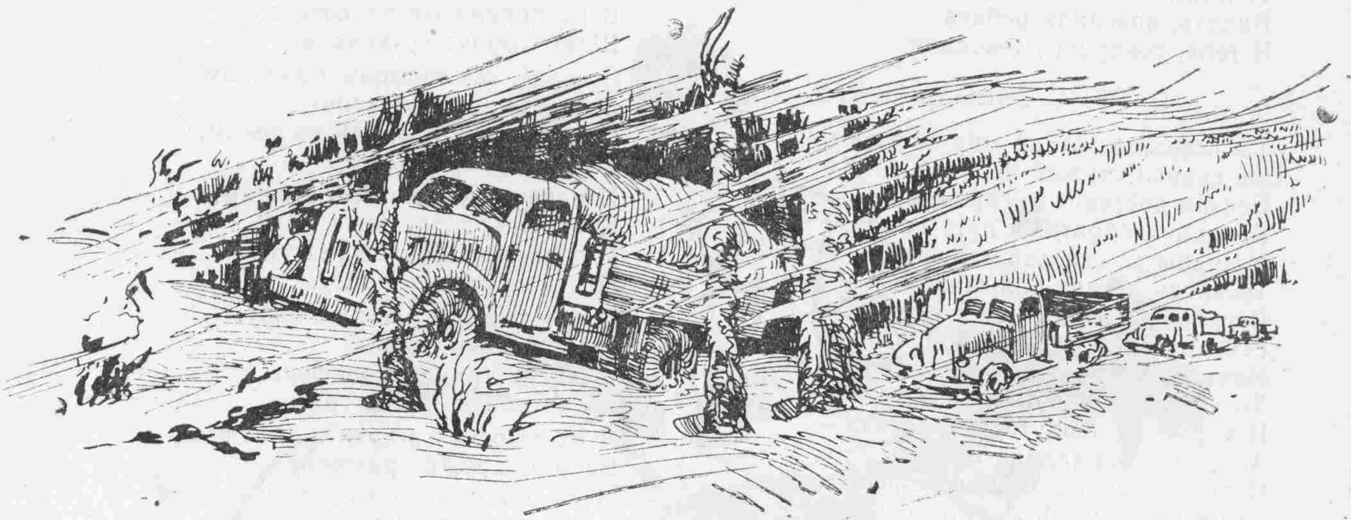
С Валентином Сухаревым мы видимся каждый день. Он вместе со мной живет в Чите, работает механиком на стройке. Старая студенческая дружба оказалась настолько крепкой, что вот уже больше двенадцати лет мы не расстаемся друг с другом...

Когда живешь бурной напряженной жизнью, время летит удивительно быстро. Именно такой жизнью живут тысячи строителей Иркутского алюминиевого, рядовых бойцов семилетки, тех, о ком здесь рассказано и о ком автор не сумел рассказать.

Прощаясь со стройкой, мне хотелось от души пожелать всем друзьям и товарищам по комсомолу:

Оставайтесь, друзья, молодыми,
Никогда, никогда не старейте душой!

Марк Сергеев

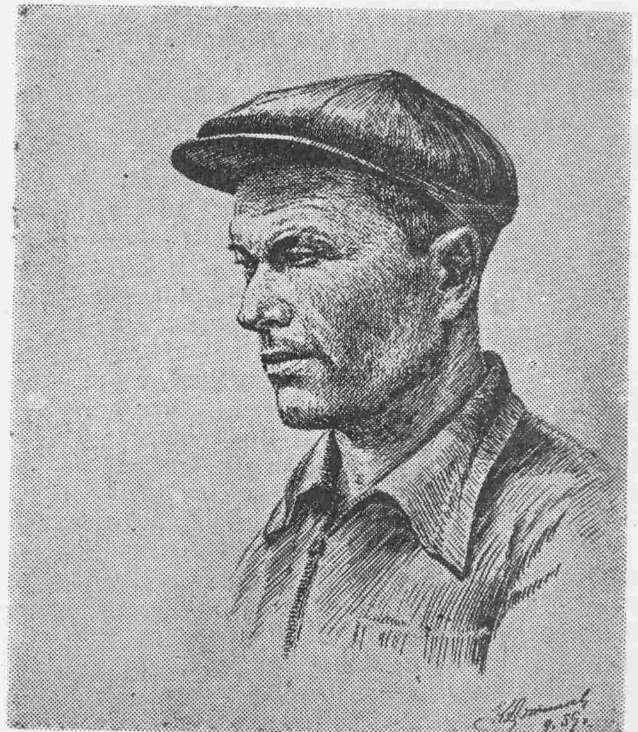


ТАКОЙ ХАРАКТЕР У ШОФЕРА

Очерк

1. В ТЕБЯ ПОВЕРИЛИ РЕБЯТА

От кукурузного массива
Сквозь перепаханный простор
Машину быстро и красиво
Ведет с улыбкою шофер.
То, что должны бы делать трое,
Он нынче сделает один.
Машину водит без простоев
Шофер Василий Щеколдин.
И как живой ему послушен
Видавший виды грузовик:
Минута — доверху нагружен
И мчит к траншеям напрямик,
Минута — и с медвежьей силой
Вцепился трактор в крепкий трос,
Минута — и в траншее силос,
Уходит в поле шум колес.
С утра до ночи гул моторов,
И от зари и до зари
На поле трудятся шоферы
Из автобазы номер три.
Они уходят спозаранку,
Чуть встанет солнце из-за гор.
Садись попробуй за баранку —
Узнаешь, кто такой шофер!
Он все снесет — дожди и стужи,
Он ценит дружбу и добро.



Ты стал, Василий, людям нужен,
И вот — ты избран в партбюро.
Такой не забывают даты
И те, кто дожил до седин.
Видать, поверили ребята
В тебя, товарищ Щеколдин.

2. РЕЙС СКВОЗЬ ПУРГУ

Ты помнишь: отдан мир морозам,
Он скован стужей ледяной...
Бензин доставив леспромхозам,
Вы шли в обратный путь домой.
Машины то скользили юзом,
То вновь летели большаком.
Василий впереди — он с грузом,
Его друзья — порожняком.
Мечтали до ночи добраться,
Хоть рейс не короток, не прост.
И вдруг на полпути от Братска —
Авария: сдал задний мост.
И пусть теперь домой нескоро,
Где ждут жена, и сын, и дочь, —
Такой характер у шофера:
В беде товарищу помочь.
И вот с машиною больною,
Как с пациентом доктора,
Возились на морозе трое
Весь день и дальше — до утра.
И руки зябли, мерзли ноги,
Был ветер хлесток и остер.
Вы грелись:
У большой дороги
Нервозно вздрагивал костер.
И только двинулись машины,
Подмяв сыпучие снега,
На них стеной пятиаршинной
Слепая двинулась пурга.
Она тяжелыми руками
Машине упиралась в лоб
И тракт лизала языками,
Сугроб взметая на сугроб.
Машины то скользили юзом,
То в снег врезались прямиком.
Василий впереди — он с грузом,
Его друзья — порожняком.
А день темнел слепой и куцый,
Шли тучи наподобье льдин.
Машины двигались к Иркутску,
Их вел Василий Щеколдин.

3. МОТОРЫ НЕ ГЛУШИТЬ

Так повелось: едва лишь лето
Подсушит первые валки,
В распоряженье райсоветов
Шлют города грузовики.

С полей, где золотым Казбеком
Вдали виднеется гумно,
По всем дорогам, как по рекам,
Течет ядреное зерно.

И пахнут села хлебом свежим,
Комбайны ходят все в поту,
И фары самосвалов режут
Ночей крутую темноту.

И каждый год в такую пору,
Огнями ночи озарив,
В Алари трудятся шоферы
Из автобазы номер три.

Я их встречал в пути и в поле,
Ведя по дружбе разговор,
И на дорогах — на приколе,
Когда отказывал мотор.

Здесь в напряжении, в кипенье
Борьбой наполненных годин,
Ты мне открылся на мгновенье,
Шофер Василий Щеколдин.
В зубах зажата самокрутка —
Покрепче требует душа!

И ты работаешь, по суткам
Мотора в поле не глуша.
Могу уверенно теперь я
Сказать, да и не я один,
За что оказано доверье
Тебе, товарищ Щеколдин...

...Идут машины спозаранку,
Лишь солнце выйдет из-за гор.
Садись попробуй за баранку —
Узнаешь, кто такой шофер!
Он все снесет — дожди и стужи,
Он ценит дружбу и добро.

Ты стал, Василий, людям нужен,
Ты ими избран в партбюро.

И эту памятную дату
Ты не забудешь до седин.
Не зря поверили ребята
В тебя, Василий Щеколдин.

Л. Тихонова



День был на исходе. Человек с рюкзаком за плечами, обламывая кусты, карабкался на крутой склон. Время от времени он останавливался, чтобы успокоить распирающее грудь дыхание и, смахивая рукавом пот со лба, оценивающе смотрел в ту сторону, где за сплошной молчаливой стеной леса садилось солнце. Он знал, как внезапны сумерки в тайге. Лишь спрячется солнце в розовой пелене, окаймляющей небо, и вмиг нахмурятся, помрачнеют и без того сумрачные дебри, таинственно зашумят хвойные лапы и даже привычные шорохи будут казаться пугающими, опасными — и не от трусости: в нехоженой чащобе, где нет ни тропок, ни дорог, где человек впервые оставлял свои зарубки, надо быть начеку.

— Эге-ге-гей!.. — донеслось снизу. Лес подхватил этот басовитый оклик и, будто сердясь на того, кто потревожил его царственный покой, раздробил звук на мелкие осколки и тотчас погасил.

Плечистый юноша в клетчатой ковбойке снова сложил ладони рупором:

— Анатолий Васильевич! В лагерь пора?!..

Вверху затрещали, зашевелились заросли. «Вроде не доделал что-то сегодня», — с досадой подумал Бутенко, подавая ответно голос спутнику. Он заспешил и все-таки не мог не ковырнуть своим геологическим молотком кусок породы на встретившемся обнажении. Прошел было мимо, но, отступив несколько шагов, обернулся. Освещенная яркими закатными лучами сероватая порода зеркально поблескивала. Сразу были забыты лагерь, надвигающиеся сумерки, усталость. Бутенко бегом вернулся к склону, азартно заорудовал молотком.

— Анатолий Васильевич!.. — уже тревожно доносилось снизу.

Не отрываясь от работы, он коротко отзывался.

— Эге-ге-гей!..

Когда встретились внизу, Бутенко был недоволен, молчалив, добела выгоревшие брови сердито сдвинул. Опять обманули его эти искристые блестки. Так, ерунда... Всего лишь единичные кристаллы мусковита...

Видимо, правы были геологи, которые несколько лет назад сделали заключение, что этот огромный гранитопегматитовый массив неперспективен на слюду.

Согласиться с этим доводом, казалось, было давно пора. Уже целое лето поисковики разбредались окрест лагеря на многие десятки километров: шли долинами рек, переваливали через горные вершины, плыли на лодках, углублялись в тайгу, через каждые 250 метров наносили на карту пометки о встречающихся породах. Но обнаружить новые слюдяные жилы, которые должны были восполнить иссякающие запасы Мамского месторождения, не удавалось.

Ночью Бутенко, начальнику съемочной партии, не спалось. Вышел из палатки, поежился от ночной свежести, поправил сложенные звездочкой лесины в костре. Вспомнилось, как однажды у них потерялся огонь.

Вот так же, как сегодня, Анатолий Васильевич возвратился в лагерь к ужину с полным рюкзаком образцов за плечами. В тот вечер засиделись у костра. Неторопливо обменивались рассказами и историями. Коллектор Сережа Котов вполголоса басил:

Ох, да ты, тайга, тайга густая...

Ночь спускалась беззвездная, душная. А к утру разразился ливень.

По обыкновению, начальник партии поднялся первым; свернул папиросу, пошарил в карманах. Спичечная коробка была пуста. Анатолий Васильевич поискал в полевой сумке, во вьючном ящике — пусто. Зашел в соседнюю палатку. Спичек не было и там. А дождь хлестал, небо над головой и у дальних горизонтов серело мрачно и грозно. В сердце заползала тревога. Уже весь табор искал спички. Кто-то пытался высечь искру из кремня, но ватный жгут отсырел и едва загорался.

Унылым и длинным показался геологам этот дождливый день в тайге у залитого водой пепелища.

Лишь к вечеру наткнулся Бутенко на кожаный мешок оленевода якута Романова. В нем были порох и капсули: «Ура!.. Живем!..»

В костре с треском рассыпалась золотисто-оранжевая головешка, искры фейерверком взвились вверх.

Воспоминания казались в эту минуту близкими, явственными.

— И чего я полуночничаю? Ведь снова по маршруту спозаранок... — Стараясь не шуметь, Бутенко пробрался к своему месту. Закрыл глаза, и сразу зарябили яркие пятна раскаленных углей, на которые он только что смотрел, потом набежали зеркальные блестки, вспыхивающие чешуйки слюды. С мыслью о них Анатолий Васильевич и уснул и проснулся. Все-таки не поспешил ли он у вчерашнего скального обнажения? Может, не случайны там кристаллы мусковита?

Решил: «Лучше перепроверить, чем сомнениями мучиться».

Молодым коллекторам коротко объяснил:

— Такое уж правило у поисковиков: ни ног, ни времени не пожалеть, зато вывод сделать совершенно точный. Ведь когда еще после нас сюда заглянут...

Идти тайгой по собственным зарубкам было приятно, будто по знакомой, хоженой-перехоженной улице.

— У нас в лагере и происшествий-то нынче не случалось, — явно пытаясь вызвать Бутенко на интересный разговор, сказал коллектор.

Анатолий Васильевич улыбнулся, про себя подумал: «Ишь ты, обязательно сразу романтики захотелось...» Рассказывать он любил и умел. Да и было у него что порассказать. Бутенко насчитывал к этой поре добрый десяток лет, проведенных в экспедициях и блужданиях по неизведанной тайге. Если бы мысленным пунктиром соединить меж собой протоптанные им пути, получился бы довольно сложный чертеж. От Трошковского месторождения огнеупорных глин, разведку которого Бутенко поручили в первые годы после окончания университета, линия потянется к Бурятии, к Селенгинскому озеру, в Забайкалье, где он возглавил экспедицию, отыскавшую мощные соляные проявления; затем путь его лежал на Витимо-Патомское нагорье, все дальше на север — к Алдану и наконец сюда, на Маму. И что самое главное: всюду, где стояли палатки его съемочной партии, — возникали в безмолвной тайге шумные базы, рубились поселки, начинали дымить заводские трубы...

— Везуч ты, Анатолий Васильевич, — нередко говаривают ему друзья. — Клады тебе сами в руки лезут...

— Не очень-то возьмешь эти клады голой рукой, — возвращаясь к заботам наступающего дня, ворчит Бутенко. Да и раньше не было легкости в его работе. Так это, для красного словца, говорилось о везучести. А трудностей, неожиданностей, опасностей, как у каждого геолога, хоть отбавляй.

— Так вот, — решил он рассказать одну из давних историй шагающему рядом практиканту. — Было это в первый послевоенный год. В экспедиции много женщин еще работало. А съемку мы делали на Тынде, между Алданом и Большим Невером. Места суровые, глухие. Идем по тайге втроем: девушка-промывальщица, молоденькая коллекторша и я. Через каждые два километра фиксируем смену пород, как вот и сейчас. Забрели далеконько,

уж все пометки сделали и тоже вот удивлялись, что без больших происшествий дело обошлось. Повернули назад; к базе, на последнем привале остатки продуктов прикончили: все равно, мол, обедать в лагере будем.

Выбрались к речке. До этого мы ее вброд одолели. А тут — что такое? Вспух Могот, течение сумасшедшее. Попытались, держась друг за друга, войти в воду, как едва назад выбрались. Решили вязать плот, свили бревна прутьями, в руки шесты взяли: ни пуха, ни пера, как говорят. Счастливого плавания! В один миг плот вынесло на быстрину... Чувствуем, что не успеваем дна шестом коснуться. Несет нас без руля и без ветрил, а река впереди раздваивается. Повезло: влетели в то русло, которое нам по пути. И тут же ахнули: несет прямо на залом из подмытых деревьев. На счастье зацепились за корень. Плот затрещал, заскрежетал, но не рассыпался и снова на быстрину выскочил. Разбиться бы нам тут вдребезги о скалы, если бы не обратил я внимания, что глубина небольшая. Махнул в воду и, обдирая до крови руки, подтянул плот на мель к берегу. Тут мои девчата крепко обнялись и хохочут и плачут.

— Да мало ли всякого бывает... — оборвал Анатолий Васильевич. Коллектор растерянно взглянул вслед внезапно шагнувшему в сторону Бутенко; что его там привлекло опять? Ведь ходили же здесь вчера... А Бутенко уже стоял на коленях возле поросшей лишайниками каменистой ямы. Светлые зоркие глаза его были настороженно прищурены.

— Так, так, — в раздумье произнес он. Снова кристаллы...

И снова зашагали к вчерашней скале: какие-то еле уловимые признаки подсказывали Анатолию Васильевичу, что там надо возобновить поиски. Он торопился, был сосредоточен.

— Анатолий Васильевич, интересно, а как вы в геологи пошли? С детства увлекались? — простодушно спросил коллектор Гоша Захаров.

Бутенко рассмеялся:

— С детства, я, брат, конюхом был. Работать-то пришлось с четырнадцати. Сирота. Потом столярить выучился. А что касается основной моей профессии, — так тут челюскинцы причиной.

Юноша взглянул на него недоуменно.

— А так вот и было... Кончал человек вечерний рабфак. А жил во Владивостоке. В 34-м весь город высыпал чествовать героев Арктики, лекция в клубе была, встречи. Мы с дружком Павлом Демидовым (он сейчас тоже геолог, в средней Азии работает) загорелись: будем тоже неизведанными тропами ходить, белые пятна на карте заполнять. В молодости-то все нипочем. Так и пришло у нас решение поступить в Иркутский университет на геологическое отделение.

И, веришь, сам своей судьбе изумлялся: я ли это от беспризорщины, от двух-то классов начальной школы в инженеры выхожу?..

В первые годы советской власти удивительным все это казалось... — Добравшись до места, привлекавшего его, Анатолий Васильевич, не отдыхая, скрупулезно осмотрел весь склон, нашел еще кое-где одиночные кристаллы мусковита. Распорядился: — Попробуем рыть канаву, копнем поглубже, вроде наших предков.

На глубине четырех метров, в зоне вечной мерзлоты, откопали две старинные деревянные лопаты. Теперь они, как реликвии старины, хранятся в историческом музее. А тогда очень обрадовала Анатолия Васильевича эта знаменательная находка.

— Ого! Значит, не мы первые тут орудуем!..

Уже не только Бутенко, но и его молодые помощники были охвачены поисковой безудержной страстью. И вдруг перламутровый долгожданный блеск ударил в глаза.

— Мусковит — самая высококачественная слюда, — торжественно произнес Анатолий Васильевич.

Уже поверхностное, торопливое вскрытие подтверждало: перед ним жила, плотно уложенная, как книжками на полке, крупными кристаллами мусковита.

Об открытии срочно доложили начальнику экспедиции Бадардинову и техруку Сучкову. И сразу в тайгу пришло оживление, шумно и весело стало на геологической базе.

За этот сезон было разведано еще 26 мусковитовых жил. Вместо бесперспективной на слюду зоны, как значилась она прежде, возник крупнейший промышленный Мамско-Чуйский мусковитоносный район, тянущийся на сотни километров. Теперь геологам предстояло уточнить запасы, составить детальную геологическую карту.

Сезоны 1949 и 1950 годов Анатолий Васильевич снова провел на Маме. Его партия делала съемку десятитысячного масштаба. Что это значит? Это значит, что пометка на карте должна быть сделана через каждые 100 метров. А ведь всего несколько лет назад точки на карте ставили через 2 километра, что казалось Бутенко чуть не пределом точности...

Теперь геологи уходили с базы на несколько дней и нередко возвращались с победой. Одна за другой на карту ложились ершистые

веточки все новых и новых жил — всего их было зафиксировано семьдесят шесть.

Это замечательное открытие обусловило совершенно новый взгляд на эту зону, как на крупнейшую мусковитоносную провинцию, по своим запасам и качеству не имеющую себе равной в мире.

Подходила к концу работа многих лет, напряженная, трудная, нередко опасная. А дальше? Дальше для Бутенко все начиналось сначала, и это было самое замечательное!

...Снова на исходе летний день. Неясный гул лесного ветра катился откуда-то со стороны еле видимых байкальских хребтов, высвеченный прямыми закатными лучами. И человек с рюкзаком за плечами, преодолевая усталость, снова отмеривал километр за километром.

Теперь Анатолия Васильевича увлекла не менее сложная и трудоемкая задача — комплексное исследование Слюдянского района. Здесь, правда, не было нехоженых троп и неисследованных дебрей. Места эти издавна славятся как богатейшая природная кладовая, как естественный минералогический музей. Прежде всего прославились они слюдой флогопитом. Первые старательские разработки слюды начались здесь еще в середине XVIII века. Недаром и название такое пошло — Слюдянка...

Прежде чем отправиться в экспедицию, Анатолий Васильевич засел за архивы. С библиотечных полок кочевали в его кабинет подшивки отчетов, рулоны карт, старинные книги.

Было очень странно, что во всем этом обилии документов речь шла лишь о флогопите. А другие полезные ископаемые? Не велось ли изучение этого горнорудного района однобоко? Ответ напрашивался утвердительный.

Идти на поиски пройденными путями — это значит удвоить внимание и утроить настойчивость. Это значит — горячо оспаривать каждый довод своих предшественников, не принимать на веру самые, казалось бы, досконально проверенные, самые авторитетные заключения.

...Опять холм. Бутенко осмотрелся, выйдя на веселую опушку. Сколько таких холмов проверил он сегодня и накануне. Не хранят ли они какой-нибудь неожиданной тайны?

Этот холмик был невелик, всего, может, полуметровой высоты. Зато, поди ж ты, будто в зеленой бархатной накидке — весь порос мхом. Даже жаль портить столь парадный наряд. Может, не стоит его и трогать? «Нет, друг, так не годится», — тут же упрекнул себя Анатолий Васильевич. Ковырнул сбоку, лениво стукнул молотком по образовавшейся во мху плеши. И тотчас радость буйной волной прилила к сердцу. Подхватил черный тускло-зернистый пачкающий руки осколок, поднес к глазам, боясь ошибиться в сумерках.

Нет, ошибки не может быть: это графит — сырье, необходимое в металлургической, электротехнической промышленности, минерал, известный любому человеку, державшему в руках карандаш.

Так появилось еще одно крупное месторождение на счету геолога Бутенко. Были у него и еще заявки: здесь же, в Слюдянском районе, и в других местах богатейшего нашего края.

— Так, значит, интересуетесь, сложно ли отыскать природный клад? — с веселой лукавинкой в глазах переспрашивает Анатолий Васильевич ребятишек, слушающих историю о том, как появился на карте Мамско-Чуйского района ключ Голодный.

— Сложно, друзья. Видите, иногда и голодать приходится и в тайге плутать. Ну, а кто, несмотря на трудности, хочет стать кладоискателем, записывайте скорее главные правила: первое — внимательность наблюдений, второе — терпение, третье — смелость, настойчивость. Ну, и, конечно, знания о рудах и минералах.

А через несколько дней в Куйтунском райкоме партии Бутенко читал лекцию для педагогов, лесников, охотников:

— Учитесь не проходить мимо кладов — снова увлеченно обращался он к людям, казалось бы, не имеющим никакого отношения к поискам полезных ископаемых. — Если встретил хоть малейшие признаки присутствия полезного ископаемого, сделай все для того, чтобы дать полную геологическую характеристику места, сделай так, чтобы не мучила совесть за небрежность. Пусть это будет вашим девизом, товарищи.

Анатолий Васильевич Бутенко один из организаторов массового геологического похода, начатого в нашей области летом прошлого года. Агитатором он оказался отличным.

— Ведь в самом деле, — горячо говорит он, — сколько склонов могут облазить ребята в дальних местах, куда геологи еще только собираются, сколько важных сведений, которые направят маршруты поисковых партий, могут собрать лесники, охотники, колхозники...

Трудно не отозваться на эти горячие слова, трудно не ощутить в них заманчивых перспектив. Да и самого Бутенко этот массовый геологический поход увлек даже больше, чем он предполагал вначале.

— Ведь вы представьте, — с энтузиазмом рассказывает он, — за шесть месяцев в походе приняли участие свыше двадцати тысяч человек. Поступило 150 заявок о находках новых полезных ископаемых.

Вот познакомился с председателем Киренского райплана Шабуневичем. Могу сказать одно — увлекся человек геологией на всю жизнь. Недавно он обнаружил, что в шести километрах от поселка Коротково, Казачинско-Ленского района, таежная река Киренга размывает полуметровый пласт марганцевых руд осадочного происхождения.

И снова Бутенко в походном снаряжении. А рядом с ним шагает Шабуневич — полный нетерпения, гордости, радости. Вместе провели детальное геологическое исследование долины Киренги. Оно предсказывает, что неподалеку от содержащихся в речном галечнике осадочных марганцевых руд можно производить поиски коренного месторождения этого материала. В 1959 году здесь продолжались дальнейшие широкие геологоразведочные работы.

Путь Анатолия Васильевича лежит то в Заларинский район, где работником потребкооперации Шаком найдены железные руды, то в Слюдянку — рабочий Усов обнаружил там крупные жилы слюды-флогопита, то на север — в Шитку. Заявки надо проверить, уточнить, включить в большой план.

— Уже пятнадцать месторождений, открытых энтузиастами, признаны имеющими промышленное значение, — радуется Бутенко. — А ведь проверены еще далеко не все заявки...

Прошлой осенью Бутенко выпала честь быть участником конференции по изучению и развитию производительных сил Восточной Сибири. Он будто помолодел в те дни. Кажется, что поразгладились даже глубокие морщины на лбу и у глаз, сложившиеся от привычки пристально всматриваться в окружающее.

— Так вот, Антонина Терентьевна, — с шутливой торжественностью сообщил Анатолий Васильевич жене, вернувшись с областного совещания, — специалисты подтвердили: на базе Безымянского месторождения проектируется строительство горнообогатительного комбината, который уже в 1966 году начнет работать на полную мощность. Это на месте-то моего изумрудного холмика!.. — тут же постарался он смягчить шуткой взволнованную горделивость своего тона. — Значит, учли, что я в своем заключении писал: залегание пласта графитовых гейсов там неглубокое, можно применить открытый способ добычи. Да и место уж больно удобное: всего в пяти километрах от железной дороги...

— Ну а на Маме как? — живо заинтересовавшись его рассказом, спросила жена. — Кто откуда приезжал? — Ведь и она многих там знает, вместе с мужем три года провела в партии: врач был там очень нужный человек. И старший сынишка оторвал голову от книги.

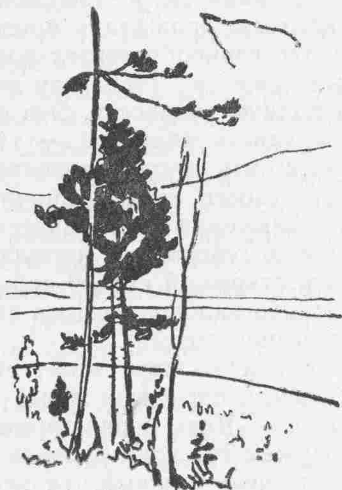
— Правда, как там теперь, папа?

Анатолий Васильевич с удовольствием рассказал и о новых экспедициях, продолжающих поиски мусковита в Мамско-Чуйском районе (кстати, 25 заявок на слюду-мусковит поступило от участников геологического похода), и о том, что на трошковских глинах, где его партией была начата разведка еще в предвоенный год, тоже планируется строительство большого завода огнеупоров. Он был полон впечатлений, новых мыслей, хорошей гордости, что и его труд послужил освоению сибирских богатств.

...А с началом полевых работ этот невысокий, сухощавый, уже немолодой человек снова с геологическим молотком в руках карабкается на склоны, забыв про усталость, берет пробу за пробой, не торопится возвращаться домой.

— Все учесть. Все проверить. Не пропустить ни одного нужного Родине клада, — снова и снова повторяет он свой девиз, твердо отмеривая шаг.

А. Преловский



БЛАГОДАРНОСТЬ

Вечно хочется — в путь,
мне и дня не прожить, запершись!
Улетаю.
Плыву.
Ухожу по дорогам тяжелым...

Я эпохе своей благодарен:
она мою жизнь
приварила навек
к этим дерзким глаголам!

НА СЛОМЕ ОСЕНИ

Тайга —
она скупа на теплоту,
и даже летний полдень
в Приангарье
на землю падает,
как снег, — кругами,
синеет,
остывая на лету...

На сломе осень.
Небо — голубое,
последний лист висит,
слегка дрожа.
На сломе осень.

Таким вот днем,
как первою любовью
иль как последней пулей,
дорожат.

Все потому,
что скоро стужа
срубы
заиндевит,
к земле тальник пригнет
И на груди чубатых лесорубов
тугие телогрейки
запахнет.

ВЫБОР

Я годами ездил по Сибири —
по ее краям и областям,
как турист,
что в необъятном мире
открывает дали по частям.

День пришел —
я над своей судьбою,
над строкой
задумался всерьез.

Вся Сибирь
предстала предо мною
в дыме строек, в шелесте берез.
Города и стройки показала,
к рудникам и шахтам позвала...
Нет, не показала —
приказала,
нет, не позвала,
а призвала...
...Покачнулись,
стали неприметны
пятна крыш и вязь дорог витых.
Самолет
мотает километры
на стальные жадные винты —
и уносит
в облачные дали
цвета неземного серебра,
где дороги строит,
сосны валит,
котлованы роет
город Братск.
Ангара.
Урочища лесные.
Перекресток судеб и дорог.
Там уже и люди потеснились,
чтобы рядом я работать мог...

...Мне не надо
крепче увлеченья
краем замечательным моим,
и не надо
выше назначенья —
Быть великой стройки
рядовым.
Встать у транспортера,
у опоки,
с мастерком подняться на леса,
чтобы о делах своей эпохи
говорить
от первого лица!

Елена Жилкина

РОДНОМУ КРАЮ

Нет,
здесь не склоняются
даже под ветром
В распадке высокие гордые травы,
Колючи, неласковы
ветки у кедра —
Деревья здесь тоже упрямого нрава.
А этот, в лицо тебе бьющий торопко
Пронзительным хиусом
холод с Байкала!..
Здесь путь каменист,
неуступчивы тропы,
Зовущие к дальним тебя перевалам.
Здесь туча, над гладью озерной маяча,
В нее опрокинется серою глыбой,
Здесь кружатся чайки-горюньи,
плача,
А берег пропах весь и нефтью и рыбой.
Стоят, прислонившись
к причалам, баркасы,
Набиты до самых краев неводами,
А где-то в горах
откликается трасса
Впервые идущими здесь поездами.
Снега голубые,
на льдины похожи,
Лежат на гольцах,
и в июле, не тая...
Здесь всюду живет,
красотою тревожа,
Сибирский характер сурового края.
И слышу я песню о нем
в неустанном
В байкальском прибое,
в могучем прибое.
Здесь то,
к чему сердце летит постоянно,
Здесь то,
что зовется твоею любовью.

НОВЫЙ ТРАКТ

Оскалясь корневищами седыми,
Попятилась испуганно тайга.
Лежат откосы в рыжеватом дыме,
И до чащобы только два шага.

И шум ее несется мимо, мимо...
Мы ловим эхо, слышное едва.
А тракт летит назад неудержимо,
Слепит глаза асфальта синева.
И вот — тупик...
И снова перед нами
Скрипит тайга: «Вам дальше не пройти».

Но вдруг блеснул добротными домами
Поселок лесорубов на пути.

И будто бы опять всему начало,
Когда, стремительно сменив тепло,
Прохлада, прилетевшая с Байкала,
О ветровое стукнулась стекло.
Остались далеко желтеющие крыши.
Гремит мотор,
Чем тяжелей, тем злей...

Подъем, подъем!..
Но чем взлетаем выше,
Тем новый тракт становится светлей.

Сороковая годовщина освобождения Сибири от колчаковщины

П. Петров



Повесть

Погода обманула наблюдателей. Вопреки их ожиданиям, в эту осень рано ударили морозы. Выпал глубокий снег. Ветер, подхватывая его, наметывал сугробы. Жителям сибирских степных деревень приходилось откапываться. А там, где не хватало сил бороться с нашествием снегов, хозяева выезжали из дворов через заборы.

Обманулись и наблюдатели погоды. Но еще больше обманулся в этом неспокойном году провозгласивший себя верховным правителем адмирал Колчак.

Катились через Урал к Волге и Каме белые полчища. Под неистовый колокольный звон гремели парады в городах Сибири. С иконами и трехцветными флагами маршировали по улицам Омска рыжие бородатые крестоносцы. Как мелкая монета, сыпались чины и награды. Все громче и торжественнее в офицерских собраниях и соборах пели «Коль славен...» Но правители Сибири не могли спать спокойно.

На окраинах городов, где во время войны осели ремесленники, покалеченные солдаты и мелкие шинкари, каждый день появлялись прохожие. У них были угрюмые лица и зоркие глаза. Люди эти не имели пристанища и скоро исчезали. По их следам рыскали, заломив белые каракулевые папахи, верховые и пешие офицеры. В погребах, в свиных котухах, в поездах и железнодорожных мастерских они старательно разыскивали неуловимые большевистские комитеты.

В то же время в глухих деревнях, вокруг которых дремучие сосны и пихты шептали снежные легенды, до рассвета мерцали стародедовские светцы. Сквозь заузоренные инеем окна их не всегда можно было видеть. Вокруг светцов собирались люди в потрепанных шинелях, в рваных домашних полушубках. Они рассматривали, подчищали привезенные с фронта всяческими неправдами винтовки, подсчитывали патроны. В разговорах людей просто и грозно звучали слова: «Подати не платить. Новобранцев и коней не давать».

Около ворот вразвалку ходил человек. Он посматривал на рассыпанные в небесной синеве брызги звезд, на засоренную комьями

дорогу и протирал рукавицей глаза. Человек только казался спокойным. На самом же деле мысли его были жарки и тревожны. Он знал, что в избе разговаривают люди, пришедшие из города, с железной дороги, из далеких таежных зимовий.

Организаторы.

Малейший скрип, шорох — если даже почешет о жердь гриву лошадь в соседнем дворе — не ускользает от надежного постового.

По ночам налетали на села сборщики податей. Созывали сходки. Сборни окружали казаки и добровольцы. На столах, дулом на сельчан, устанавливались пулеметы. И здесь говорилось тоже коротко: «Выводи пятого».

Потом в переулках, совсем близко от сходки, гремели выстрелы, и все смолкало, — разве завывала какая-нибудь зряшная собака с перепугу. А на рассвете, собрав контрибуцию, с песнями уходили из села чубатые казаки. Проводив их за поскотину опустошенными глазами, жены, матери и детишки поднимали дорогие трупы.

Вот почему замаскированный часовой в козловой дохе крепко держал под полой легкую кавалерийскую винтовку и солдатский тесак. Вот почему его привычные уши и глаза не пропускали ни единого звука, ни единого предмета.

Он оберегал организаторов.

Простонародное предание гласило, что в день объявления адмирала диктатором Сибири в саянской тайге грозно заревел медведь. С низовий Ангары и Енисея ему дружно откликнулись еще два других. В это же время на Дальнем Востоке зарычал уссурийский тигр, в ответ которому хрюкнул кабан с вершин забайкальских гор.

Простые люди видели в этом дурное предзнаменование для омского правительства. Так оно и случилось. В декабре восемнадцатого года грозно зашумела енисейская тайга. К ней присоединилась мариинская. Восстал Алтай, за ним Забайкалье. И шум этот через горб Урала услыхала далекая Москва.

Из таежных избушек, из полуразграбленных деревень, с городских окраин вышли крепкие косматые звероловы, бывшие красногвардейцы, старые фронтовики. Вышли и громко закричали:

«Долой!»

Оборванные люди двинулись к железной дороге, к городам. Решительна и тяжела была их поступь, метки и сокрушительны пули. Берданы, дробовики и самодельные патроны заставили трепетать карательные отряды омского правительства. Кровавым пожаром запылала Сибирь в декабре восемнадцатого года.

Все шире разливалась огненная лава из тайги на степные просторы. Все громче и властнее звучали голоса оборванных людей, соединяющихся в могучие армии, отбиравшие у противника винтовки, пушки, пулеметы и пленных.

Из-под сугробов волки вырывали трупы чехов, итальянцев, японцев.

Таежные люди смотрели, как сгорали их жилища, как разграблялось их имущество, как гибли под рукой карателей их близкие, и бросались на врага, не жалея себя.

В упорстве таежных людей было что-то непостижимое, бег их был неуловим. Временами они уходили в леса, умолкали. И неожиданно появлялись там, где их не ждали. Люди разрушали железную дорогу, забирали приходящее с востока оружие и продовольствие и опять скрывались.

Уставали работать телеграфные провода. Уставали писать приказы генералы, командующие многочисленными внутренними фронтами Сибири. А тайга шумела все грознее, все решительнее. Огонь сносил селения и города. В огне сгорала человеческая кровь. В огне рождалось новое.

Теснее сжимался смертельный круг. С хребтов Урала уже слышалась красная канонада. Стремительно шла в Сибирь советская армия.

Близился для верховного правителя роковой «двенадцатый час». Он пришел в дышащие ледяной стужей январские дни двадцатого года. Последний его час пробил на берегах неуемной Ангары. Отзвук его прокатился по миру колокольным звоном и замолк под грохот пушек. Круг замкнулся.

Победители с песнями шли в разрушенные города и села. Холодный ветер заметал снегом кровавые следы. Ветер отгонял на восток темное марево. В полях, опустошенных войной, светлело.

1

Кондратий Артюхов, сделав ладонь козырьком, смотрел на поселок против повисшего над лесом солнца. С плоскогорья, от загороженной составами поездов станции, двинулись в наступление четыре колонны чехов. По перехваченной телеграмме штаб Артюхова знал, что на партизан в этот раз брошено около двадцати тысяч смешанных войск.

Чтобы избежать столкновения с сильнейшим противником на неудобных позициях, повстанцы, разрушив железнодорожную ли-

нию, отходили к югу в горно-лесистые местности.

В подтаежном селе Нахвальном — первоначальном центре повстанцев — были сосредоточены продовольственные склады отряда, оружейные мастерские и больница. К этому центру и стягивал силы партизанский штаб.

Решив временно задержать противника арьергардом, Артюхов приготовил отряд. Но, еще раз осмотрев и изучив обстановку, он нашел, что неправильно определил движение противника. На совещании штаба не был предусмотрен удар на правый фланг партизан, слабо защищенный. Нужно было спешно перестраиваться, а это можно было сделать, отойдя по крайней мере на десяток верст. Командующий волновался.

— Здорово идут, гнусы, — говорил он, дергая за повода. Соловый круглый конь чуял тревогу и не стоял спокойно. Кондратий крепко сжимал ногами его лоснящиеся бока.

Начальник штаба, еще молодой мужик Макар Яковлев, вытягивая полу шинели, попавшую между его ногой и лошадью, равнодушно подтверждал:

— Идут, как пишут... Сразу видно, что не колчаковские добровольцы... Вот так же хаживали немцы... в ту войну...

Яковлев поудобнее уселся в самодельном крестьянском седле и оглянулся на свежие окопы, вырытые по опушке березовой чащи. Он хотел убедиться, уж не трусят ли там, но партизаны высовывали головы из окопов. Казалось, что и предстоящая схватка с чехами не особенно беспокоила их, не один раз видевших против себя иностранцев.

Через первую линию на карем коне проехал командир кавалерии Хмелев. Ему кто-то крикнул:

— Смотри, Алеха, пупырь прилетит!.

— Не страшно, — ответил парень.

Он подъехал к командующему и без особого волнения доложил:

— Нахвальский и Заливаевский полки обходят от Погодиной. С фланга хотят давнуть. Какие распоряжения будут? Драться?

Кондратий нахмурился, — начальник кавалерии помешал ему додумать новый план, — и сердито ответил:

— Нет, целоваться. — Артюхов с упреком взглянул на Хмелева... И взгляд этот говорил: «Сам видишь, что трудно решить сразу, как лучше поступить. Вот если чехи направят удар в центр партизанского фронта, тогда непременно разорвут его. Надо, стало быть, отступать. А если они отвернут влево, то всякому невоенному человеку будет понятно, что надо драться. При таком положении противника можно будет прижать к болоту и бить его из березовой чащи».

Яковлев смахнул с аккуратных белесых усиков пепел от цигарки и прищурился. В мелких морщинках его белого круглого лица Кондратий увидел чуть заметные коричневые веснушки. С Макаром Артюхов организовывал отряд, с ним советовался во всех трудных случаях боевой жизни. Второй помощник командующего, пожилой и сутулый Михайло Бородин, с кривыми ногами и длинным охотничьим ножом на опояске, стоял поодаль, держа за повод пегую спокойную кобылицу. Михайло был человек неграмотный, но опытный и неустрашимый.

Он сформировал роту лыжников и тревожил с нею карательные отряды, не давая им долго засиживаться. Зимой этой ротой были взяты в плен три сотни новобранцев. Заслуги Бородина стали известны всему отряду и его поставили помощником Артюхова. В зубах у Михайлы не переставала дымить самодельная трубка-коренушка. Кондратий втягивал обросшие редкой прямоволосой бородой щеки и говорил:

— Не сворачивают, гнусы... Придется отскакивать, Макар...

— Не минуешь, — у начальника штаба дрожали в углах губы. — Откинут.

Кондратий ударил кулаком по шее горячившегося коня и свернул набок козырек измятой фуражки, будто он мешал решить нужное.

Румяный с насмешливыми глазами Хмелев ждал и улыбался широким ртом. Заметно было, что парень любовался конем, своей посадкой, молодостью и бесстрашием. Его бойкие черные глаза будто говорили: «Как вы там ни решайте, а мне бы только скорее драться или веселиться».

— На левом фланге у ребят цикория ломается, — почтительно напомнил он Артюхову. (Цикористами в отряде звали трусов.) Артюхов оглянулся и, дрожа нижней челюстью, сказал:

— Пусть нахвальцы и заливаевцы откатываются до поселка Ключи.

Кавалерист ускакал. В это время Михайло Бородин увидел впереди взметнувшийся клуб белого дыма и, не торопясь, закинул на шею кобылицы поводья. Из окопов озорно гремели голоса:

— Ванька, пупырь летит!

— Прячься, черт!

Снаряд перелетел через окопы и не разорвался. От потревоженного воздуха закачались тонкие вершины березника. Бойцы скрывались в окопах, но через секунду опять тор-

чали на поверхности их головы, напоминая обгорелые кочки на болоте. Партизаны переглянулись, будто желая проверить, кто и как себя чувствует.

Чехи начали бить сразу из нескольких орудий. Плоскогорье, с которого спускался противник, покрылось дымом, но еще было видно, как передняя колонна начала рассыпаться в цепь.

Между окопами партизан и противником оставалось расстояние не больше километра, когда Артюхов сказал маленькому расторопному командиру полка:

— Потылицын, перепусти их из пулеметов. Да так, чтобы в ушах загудело... А потом отходи в Пестеревку.

Кондратий откинулся на седле и, вихляясь из стороны в сторону, неумело поехал по сырой слизкой дороге. Неподалеку виднелась заимка. Штабные двигались шагом. Каждый по-своему обдумывал поступок Артюхова. Но все видели, что иначе и быть не могло. Наступление чешских войск неожиданно разбило планы партизанского штаба. Теперь всем было понятно, что с имеющимися силами и оружием можно действовать только в тайге, как и раньше, в начале организации небольшого отряда.

Бородин бросил повода на шею пегухи и, вынув изо рта коренушку, спросил:

— А чего, Макар... Ежели бы мы не занимали станцию, то, пожалуй, чешишки не сунулись бы на нас.

— Все равно полезли бы... Одна холера... Всем командует капитализма.

Михайло раскурил угасавшую коренушку и выпустил клуб густого дыма.

— А по мне, кажись, не так... Не потронь мы их, ну и сидели бы в лесу да пощелкивали казачишек с добровольцами. Верное дело. А то дорогу испортили...

— Чудак человек! — сердито улыбнулся Кондратий. — Стратегия у тебя узкая. Ты посиди без дела, а они и подумают, что боишься... И попрут...

Около заимки толпились верховые ординарцы. Посыльные волновались, как это всегда бывает при отступлениях, и ждали распоряжений. Кондратий не успел сойти с коня, как из калитки вышел адъютант Кондаков. Длинная шинель парня и сапоги не по его росту были забрызганы грязью. На бедре болтались две полные сумки и какой-то кошель. Парень был неуклюж, худощав и низок ростом. К бледному его лицу очень не шла острая подстриженная бородка. Зато умно и проницательно смотрели на этом незаметном лице голубые задумчивые глаза.

— Заготовь, Игнаха, бумажку об отступлении по всему фронту, — сказал Кондратий, совсем не заботясь, понял ли его адъютант. Но Кондаков понял. Он знал, что эта бумажка уже не нужна, раз командующий отдал словесное распоряжение, но в штабе было заведено все записывать, хотя и задним числом. Так требовал Артюхов, чтобы потом иметь памятки обо всем, что делалось в отряде и в штабе.

Через четверть часа, когда полк Потылицына вступил в перестрелку с чехами, а ординарцы поскакали к своим частям, Кондратий стукнул кулаком по столу и огорченно сказал:

— Откатываемся, ребята!.. Ах, гнусы, гнусы!

2

В это свежее июньское утро в Нахвальном были слышны орудийные выстрелы. Ночью опять привезли раненых, в том числе Яковлева. У начальника штаба была прострелена нога с повреждением кости.

Врач, фельдшера, сестры шатались от усталости. Матрена всю ночь просидела около койки Макара. Ей, заведующей госпиталем, доставалось вдвойне. Но больнее было от сознания, что повстанческий отряд не выдержит, что, может быть, сегодня придется бросить уютную больницу и уходить в тайгу. Трудно было представить, как перевозить тяжело раненных через непроходимые дебри, через горные реки. Наконец, что будет с Яковлевым, лежавшим на койке без сознания? Ночью из Нахвального сбежали дежурные подводчики. Госпиталь остался без транспорта. Опасность близилась, как вода, прорвавшая плотину.

Матрена в отчаянии ломала руки. Нужно было посоветоваться, но с кем? Никого из штабных в Нахвальном не было, никто из них не мог оставить фронт.

А когда-то одна, в темные глухие ночи, в тылу у белых проводила сходки, вербуя бойцов в партизанский отряд. Там было проще. Повертеться перед носом у противника, раздразнить его и ускакать к своим. Это было похоже на своего рода игру. Один раз Матрену преследовала целая рота, стреляли по ней из пулеметов. А она, настегивая лошадь, крепче нажимала на стремена и хохотала, словно в этом урагане было что-то веселое.

Тогда Матрена думала, что в жизни ей терять нечего. В то время еще очень болезненно переживалась смерть мужа и четырехлетнего сына Мити. Это было в начале появления партизанского отряда Артюхова. Прибывшие в село каратели под командой капитана Огурцова прежде всего занялись расправами над

заподозренными в сочувствии большевикам, пользуясь доносами. В избе Данилы Злобина не раз собирались для беседы фронтовики — будущие партизаны, — и это ему припомнили.

В холодный и туманный декабрьский вечер 1918 года Матрена пробежала до соседней деревни восемнадцать верст в одной курмочке и попала на сходку. Ее рассказ о делах белых, должно быть, подействовал на мужиков, и в этот же день деревня примкнула к восставшим.

Матрена стала агитатором. С тех пор подобных сходок она провела много. Но нужно было организовать госпиталь. Это дело поручили Злобиной. И полуграмотная Матрена Андреевна исполняла его, как могла.

Поиски медицинского персонала и медикаментов немало причинили ей хлопот. За хирургическими инструментами Матрене пришлось с небольшим отрядом сделать налет на тылы белых. Из отрядика не осталось в живых и трети бойцов, но инструменты были добыты.

Тогда риск был связан с потерей нескольких жизней, а теперь совсем по-иному складывались обстоятельства. Бои развертывались с небывалым ожесточением. Партизаны, изнемогая, уступали территорию. Правда, не легко доставалась противнику родина повстанческой республики. Две группы чехов и одна итальянцев в течение мая были уничтожены на подступах к Нахвальному. Но у повстанцев кончались патроны, ежедневно выбывали из строя лучшие бойцы. Отряд слабел. Раненые волновались, не спали ночей.

За отступающими пылали села. В крови, в стонах, в пожарах переходили деревни под власть омского правителя. А на уцелевших заборах ветер трепал желтые листы — приказ адмирала Колчака о передаче земель повстанцев Нахвальской и Заливаевской волостей казакам и чехам.

3

Матрена стояла на крыльце. Над крышей здания в мягких и влажных ветвях дерева, напевая, копошился скворец. Сладкой испариной дышала пробудившаяся земля. Теперь бы самая пора высаживать огуречную рассаду и начинать прополку в огороде. Но сегодня все это показалось Матрене далеким, оторванным от нее непреодолимой силой.

За корпусами дымила кухня. Там шумели повара. Звонкий голос кладовщика Андрюшки Ветрова выделялся особенно. Андрюшка кого-то ругал грубыми словами, чего не выносила Матрена. По виляющей дорожке она направилась в кухню. Среди молодых сосен расцветали первые медуницы. Хотела сорвать цветок, но вспомнила, что на столе у нее целый букет. Что-то похожее на улыбку скользнуло по строгому лицу Злобиной. Этот букет три дня назад с попутным ординарцем прислал Макар. «Будет ли жив», — подумала она.

Злобина в армии, по мнению остальных женщин, вела странный образ жизни. В то время, когда швейки, сестры, поварихи и прачки госпиталя выходили замуж, веселились, она жила одиноко. В госпитале за это Матрену прозвали игуменшей. Но это было не так. Она уже думала о Макаре каждый день. Ждала конца войны. Мечтательно строила планы их будущей совместной жизни. Но об этом никто не знал. Не знал и Яковлев.

Со дня отхода отряда от железной дороги Матрена ежечасно тревожилась, порывалась съездить в штаб, но предлога не находилось, а выдумывать его натура Злобиной не позволяла. Прирожденным чутьем понимала, что ей, стоявшей во главе ответственного дела, нельзя подавать дурные примеры.

«Может быть, теперь уже поздно?» То есть Матрена хотела сказать, что поздно думать о Яковлеве, о их совместной жизни.

Невеселые мысли оборвались при появлении из кухни Андрюшки Ветрова. Он выскочил с безменом в руке, взмахивая им, словно видел перед собой врага. У кладовщика зло сверкали мелкие рыжие зубы. При встрече с ним у Матрены всегда возникало нехорошее чувство. Андрюшку сняли с фронта за трусость. Он и сам чистосердечно признавался в этом. Санитары и сестры все же при всяком случае попрекали парня. А когда в Нахвальное приезжали фронтовики, Андрюшка избегал с ними встреч, боясь насмешек.

— Чего шумишь? — недовольным голосом сказала Матрена.

— Оттого, что дела веселые! — гремел парень. — Смотри, вчера положил в чан стегно мяса вымачивать, а сегодня облизывайся на здоровье... Сперли. Разве с нашим народом установишь правильную жизнь?.. Тащи назад такую революцию! Надо из бычьей кишки порасстрелять половину.

Матрена провела рукой по черным, отсвечивающим синевой волосам — они были жестки и липки — широко открыла глаза.

— Кто же взял-то?

— Известно... Кавалеристы тут ночевали. Герои. Они думают, рубить это все... Демка Лепешкин кормил коней около нас, ну и сожрал!

— А у нас лошади свободные есть? — спросила Матрена, уже забыв о мясе.

Андрюшка опять взмахнул безменом, покраснел и злобно рассмеялся:

— Ей про Ивана, а она про Петра... Одна хромая кобыленка. Держись, а то свалишься. Свой хвост еле носит. Какие тут кони. Всех Демка забрал. Крошат, видно, наших там, как капусту. Гроб с крышкой! — Ветров прислушался к протяжному гулу орудий, вздохнул. — Должно, к Сосновке подбираются. Верст пятнадцать, не больше. Как прорвутся — пиши похоронную. — Он приблизил лицо к Злобиной и спросил: — Как будешь уходить со своей богадельней?

Глаза Матрены вспыхнули, затряслась нижняя челюсть, «Цикорист», — хотела она бросить обидную кличку, но сдержалась и, презрительно сощурив глаза, сказала:

— А ты в стороне надеешься остаться? В тайге спрячешься?

Кладовщик сжался и стал еще меньше. Он понял намек и сбавил тон.

— Никто не останется... Я могу доказать... Но подыхать зазря никому нет охоты... Если убьют, но неминуче лягешь... А только не шибко храбрые и «те» — Он имел в виду своих невидимых просмешников. — Разве порядки в нашем штабе?.. Оставляют до последу. На чем я буду вывозить кладь?

Матрена не дослушала. Передернув плечами, она пошла назад.

— Обожди, — закричал кладовщик, озадаченный ее поведением. — Может, дело какое у тебя?.. Помочь надо?

Матрена махнула рукой и презрительно подумала: «Какая от тебя подмога. Вояка с тараканами».

4

По тропке Матрена бежала вниз, едва удерживая равновесие. Мучительно и назойливо звучали в ушах слова Андрюшки. «Неужели все так настроены? Неужели развал?» — думала она.

Внизу журчала узкая речонка Заливаевка. На мостках женщины полоскали белье, громко разговаривали, спорили. По торопливым движениям, по возбужденным голосам Матрена почувствовала их тревогу.

Через речку босоногий мальчишка с побелевшими от солнца нечесаными волосами перегонял корову. Матрена посмотрела в его испачканное лицо, спросила:

— Куда погнал?

— На хутор.

Светлые глаза мальчика вдруг омрачились, сделались злыми и недоверчивыми. Он облизал сухие губы, ударил по воде прутом и в свою очередь спросил:

— Всех будут вешать или только вас?

— Почему вешать? — Матрена растерялась и остановилась, будто прилипла ногами к молодой зелени, покрывшей берег. — Кого это «вас»? И за что?

Мальчик глянул в безоблачное небо, скривил потрескавшиеся губы.

— Большевиков... Известно... Смутили народ, вот им и будет... — паренек стегнул прутом замедлившую в воде корову и больше не оглянулся.

«Да... смутили», — одними губами повторила Матрена. В сельском совете она встретила двух незнакомых мужиков. Наскакивая друг на друга, они кричали:

— Тебя вперед проткнут, сукинова сына!

— Нет, тебя, варнака. И за дело!

— А ты сволочью проживешь? Везде в добрых останешься!

Добиться от этих людей чего-либо было невозможно. По селу тянулись подводы, нагруженные домашним скарбом. В пыли и страхе метались зачуявшие беду собаки, ржали лошади, скрипели немазаные телеги.

Матрена поднялась в гору, к больнице. В госпитале, как обычно, начался медицинский обход, перевязки. В крайней палате широкоплечая латышка Марта на своих руках переносила в ванную пулеметчика Евдокимова. Матрена знала, что парень не так уж слаб, чтобы мучить сестру, и возмутилась:

— Почему санитаров не заставляешь?

Марта обидчиво ответила, чуть взглянув на Матрену светло-голубыми холодными глазами:

— Надо собак иметь, чтобы его разыскивать, — у нее все получалось наоборот, когда дело касалось единственных и множественных чисел. — Заелся... На фронт такого отправлять надо... Струсил вперед бабы...

Матрена поняла, что речь идет не об одном санитаре. Она прошла по палатам. Желтые встревоженные лица больных с ввалившимися глазами сегодня действовали особенно угнетающе. Беспомощные люди растерянно смотрели на сестер, на санитаров и на Матрену, требовали, ругались. Неустойчивость фронта сказывалась здесь больше, чем на передовых линиях. Грохот орудий становился все ближе и явственнее.

В палате около койки Яковлева стояли невысокий сгорбившийся доктор Семенов, человек тихий, малоразговорчивый, и юркий фельдшер Нагнибеда. Фельдшер протирал полотенцем эмалированную кружку. В черных очках и белом халате он производил более выгодное впечатление, чем доктор, и новички всегда принимали его за врача.

Яковлев лежал с помертвелым лицом, с закрытыми глазами и часто дышал. На его покатый сморщенный лоб садились мухи, но больной уже не чувствовал этого. Матрена перевела глаза на доктора:

— Ну, как?

Семенов только поднял плечи, и все поняли неутешительный ответ.

— Безрадостно, — досказал словами Нагнибеда, охочий поговорить по всякому поводу. — Пожалуй... конец...

Доктор бросил на него взгляд и заметил:

— Об этом надо не в палате.

5

В приемной собрались все медицинские работники. Сюда же пришел и Андрюшка. Парню не сиделось около кладовых. Несмотря на жару, Ветров надел хромовые сапоги и кожаную тужурку. Эти вещи были его гордостью. Еще будучи на фронте, он снял их с убитого офицера, чем хвастался, как вещественным доказательством, что он уж не такой трус.

— Плохо, — начал доктор, кося глазом на Матрену. — Нужно бы сделать операцию.... Но, во-первых, он слаб. А во-вторых... — доктор опять поднял плечи, говоря этим, что в такое время может операциями заниматься только сумасшедший. Глаза Семенова встретились с припухшими глазами Матрены. Они друг у друга искали ответа. — Но о нем поговорим еще, — продолжал доктор. — Как будем делаться с остальными? Из штаба ничего?

— Не могу дождаться нарочного, — это вырвалось из груди Матрены вздохом.

Андрюшка сделал нетерпеливое движение руками и безнадежно сказал:

— Фронт не удержат, а об нас и думать забыли... Чего тут ждать. Досидимся до чехов...

— А ты погодила бы звонить, — строго одернула кладовщика Марта. — Кухонная герой!

Андрюшка сел на табуретку. Кругом зашумели санитары и сестры:

— Нажили себе петлю...

— Теперь всех с грязью смешают...

Нагнибеда, склонив голову, слушал эти невеселые разговоры, что-то собирался сказать. У него только на узком лбу да на носу не росли черные жесткие волосы. Фельдшер не пользовался у партизан особым доверием. В интимной беседе кое с кем он как-то проговорился, что рано или поздно отряд разобьют. Мобилизуя его, Матрена предупредила: «У нас служба крутая... Не обижайся, если задумаешь чего...»

Но Нагнибеда работал добросовестно и начал привыкать к жизни партизан. А вот о чем он думал теперь? К кому ближе его сердце?

Матрена посмотрела на фельдшера испытующе. И под этим взглядом он заговорил:

— Да... Там не до нас. Это ясно. Вдруг ночью прорвутся, а у нас сплошной могильник. Сотня человек пластом лежит... Надо действовать.

Доктор чесал бровь, морщился от проникавших в окно солнечных лучей. Андрюшка завертывал в газетную бумагу листовой табак. У него вздрагивали губы. Кладовщику хотелось сделать какое-то предложение, но опасался, что кто-нибудь опять оборвет, разбередит больное место упреком.

— Нда-с... Хуже положения не представишь, — тянул доктор. — Но я думаю, что штаб примет меры... И нет еще оснований...

— В огне и отца с матерью забудешь, — доказывал Андрюшка, у которого не могли найти покоя проворные руки.

Матрена кусала запекшиеся губы. Она чувствовала, что в словах Ветрова есть какой-то смысл. Но мысли обрывались, как изгнившие нитки, и не одна не завязывалась в нужный узелок. Никто не знал, куда теснимый противником отряд будет отступать. Никто не знал, когда займут Нахвальное. Страх усиливался, он возрастал, когда мимо больницы тянулось в тайгу население ближайших деревень, когда за ним, скрывая оружие, пробирались группы случайно приставших к отряду, а теперь покидавших его людей.

Матрена бегло оглядывала медицинских работников. Сестры и санитары стояли с опущенными головами.

— Что же делать? — спросила она скорее себя, чем окружающих.

— Надо гнать в штаб...И здесь искать коней, — Андрюшка выпалил это, мало подумав, и смутился. — А вот на чем гнать — это действительно... Зарезали подводчики. Вот кого убивать надо.

Нагнибеда откуда-то достал кусок жареного мяса, откусил и громко зачавкал. Матрену от этого затошнило. Как можно в такую пору есть? А фельдшер обтер с губ белую пенку жира и предложил.

— Подкрепитесь, Матрена Андреевна. Не мешает... Лучше подумаем, как быть.

Рывком она отбросила руку Нагнибеды и в упор спросила доктора:

— Выдержат тяжелобольные, если придется везти их на телегах?

— Как сказать? Плохая, вообще говоря, надежда... Дороги, сами знаете...

— Но как же быть?

Нагнибеда потянул носом воздух, сверкнул очками и прикрыл дверь поплотнее.

— А я думаю так, — начал он подшвыркивая носом. — Чем полумертвых тревожить, не лучше ли... того...

На фельдшера с недоумением обратились все глаза.

— Чего? — глухо спросила Матрена.

— Отравить... в случае чего... Это им будет легче...

Фельдшер сказал полушепотом, а в ушах присутствующих это прогремело выстрелом. Матрена отшатнулась и села. У нее пропал голос. В это время сильно рванули дверь, и в нее просунулась голова в белой повязке. Лыжник Вася Казарский резким взмахом отбросил филенчатую створку и с хрипом выкрикнул:

— Сначала вас, гадов, подушим!

Парень больше ничего не мог выговорить. Все его большое тело тряслось, по щекам катились слезы. Взволнованные сестры и санитары закричали все разом. Грузная Марта вертела кулаком над головой Нагнибеды и кричала:

— Я давно знал, что ты белогвардейца! Сволочь!

Даже на степенного и рассудительного доктора не обращали внимания. Не слушали и Матрену.

Страшное слово фельдшера молниеносно облетело палаты. Раненым показалось, что все медицинские работники поддерживают предложение Нагнибеды, и они взволновались. В коридорах и палатах застучали костылями, кулаками, всем, чем можно было стучать. С коек поднимались совсем слабые раненые. На четвереньках, на животах люди ползли из помещения. Они направлялись в сосновую чащу, к селу и куда попало, теряя повязки, бинты, холщовые туфли. В то же время выздоравливающие вооружались поленьями и окружали помещение, где совещались медицинские работники. Часть из них устремилась к крыльцу с криками:

— Фельдшера!

— Все тут колчаковцы!..

— Выхватывай за шиворот!

Матрена слушала эти слова, будто принимая в сердце ножевые удары. Почти всех она знала еще до восстания.

Сколько раз они слушали ее нехитрые речи на митингах. Матрена не один раз бывала с ними в боях, выносила из огня раненых. Что же теперь произошло с ними? Откуда это озверение?

С искаженным, потемневшим от боли лицом она соскочила на первую ступеньку крыльца и придушенным голосом крикнула:

— Товарищи, опомнитесь!

Ей ответили оглушительным ревом:

— Жеребцы вам товарищи!

— Таскались, стервы, с белокрылыми!

А Казарский, которого Матрена выхаживала на своих руках и которому отдала два стакана собственной крови, подскочил к ней и в глаза прошипел:

— Продались... Затем сорвал с головы гнойную повязку и обвил ею плечо Матрены, крикнул: — Н-на, лярва, получай!

Марта и Андрюшка задержали рванувшихся на крыльцо больных.

— Тю, черти, облешачили! — кричал Андрюшка. — Назад!

Матрена с пересохшим горлом стояла на видном для всех месте. У нее шевелились запекшиеся губы, а звуков не получалось. «Продалась», — механически повторяла она слова лыжника. Но как они смеют! За что на нее такая обида? Разве не ее первую поднимут на штыки белогвардейцы, если доберутся до больницы?

Неизвестно, что бы произошло дальше, если бы не разорвался где-то вблизи снаряд. Вскоре с горы по тракту в пыльных столбах показались подводы беженцев. Чутье подсказало Матрене, что это убегают последние жители. Она спрыгнула с крыльца и разбросила в стороны руки. Выздоравливающие расступились. Неожиданный порыв Матрены озадачил больных. Люди вдруг поняли, что они занимаются не тем делом, которое сейчас нужно, напрасно теряют дорогое время на глупости.

Между тем Матрена выбежала на взгорок и вызывающе оглянулась. Лицо ее вытянулось и побледнело, каким бывало в самые опасные минуты на фронте, и крикнула уже мощным голосом:

— Кто за мной, ребята!

И люди побежали за женщиной, еще не осмысливая ее намерений.

6

Сразу за больницей, зажимая с обеих сторон тракт, начинался сосновый лес. Через него светлела широкая просека. Черным дымом затягивались глубокие таежные пади. Ветер гнал на юг темное марево, в воздухе пахло

жженым хлебом, — в деревнях горели амбары с зерном.

Матрена посмотрела на прямую линию тракта, стараясь различить хоть что-нибудь впереди, но, кроме взметнувшейся над лесами пыли, там ничего не было видно. В десяти километрах отсюда находилась ее деревня Канарай, в которой Злобина родилась, вышла замуж и похоронила мужа с сыном. Цела ли эта деревня? Как бы хотелось теперь побыть хоть минуточку на дорогих могилах. Покойно ли там их косточкам?

Люди шли за Матреной с поленьями. Это напоминало первые дни формирования отряда. Тогда подводчики в боях подбирали оружие убитых, отнимали его у робких и сами становились в ряды. Матрену это ободрило, но поразило происходящее около больницы. Оглянувшись, она заметила, как на опушке сосновой чащицы мелькали белые халаты сестер. Под гору к речке еще с большей поспешностью убегали и ползли люди. Там снова началась паника. По коровьей тропке с сумкой за плечами уходил куда-то фельдшер Нагнибеда. А на крыльце, как привидение, стоял с опущенными руками доктор.

— Куда же они? — спросила Матрена и запнулась о пень.

— Удирают, — сказал Андрюшка... — Известно...

К больнице приближался обоз. Вот из-за поворота показалась дуга и голова лошади. Дорога здесь разветвлялась. Часть подвод повернула вправо. Заметив это, Матрена закричала:

— Перехватывай!

С десяток людей кинулись наперерез обозу. Матрена первая ухватила за вожжу и повернула с дороги лошадь с белым пятном на лбу. Сидевший на возу старик угрожающе забормотал и упал в канаву вместе с перевернувшейся телегой. Напуганная лошадь крутила головой, храпела, но не могла освободиться от навалившегося воза. С покати напирали задние, получилась свалка. Матрена в сумятице не заметила, как к ней подскочил широкоплечий бородач с дробовиком за плечами и плетью на руке.

— С дороги, баба! — заорал он, брызжа слюной.

— Не пущу! — выступила грудью Матрена. — Лошади нужны для раненых.

Сзади густо и злобно зашумели:

— Не имеешь полного права!

— Штой-то, мужики, последнее грабят!

— Сами заварили, ну и... пусть дохнут...

Подбодренный криками, бородач ударил Матрену плетью по голове. У нее брызнули из глаз зеленые, как угар, искры. Но, ухватившись за верхушку молодой березки, она удержалась на ногах. Через минуту Матрена увидела, как Андрюшка сзади схватил бородача за шею, а Казарский держал наизготовке дробовик, сорванный с плеча беженца. Выздоравливающие окружили обоз. Мужики не сдавались. У кого-то вырвалась перепуганная лошадь и понесла по лесу. Задние колеса слетели с переломанной оси, покатились под гору. За ними, махая руками, бежала целая семья. В это время около больницы разорвался второй снаряд. От грохота метнулись кони, запищали ребята, запричитали женщины.

Несколько минут все это напоминало Матрене сон. Она окончательно очнулась, когда к обозу прискакали со стороны позиции конные ординарцы. Кавалеристы, все в пыли, были неузнаваемы. И когда подводчики с проклятиями и воплями начали освобождать телеги, к Матрене подъехал молодой парень с испачканным кровью лицом и спросил:

— Ты, что ли, тут за главную?

— Ну? — недоумевала Матрена. У нее все еще шумело и путалось в голове.

— Чего же копалась? Сколько раз посылали к тебе!

Матрена, ничего не ответив, взяла подводу и повела ее к больнице.

7

По селу били из орудий. Снаряды рвались вокруг больницы. От них горели баня и кухня. Истоптанная молодая зелень померкла в клубах пыли и дыма. Редкие выстрелы партизан перекидывались вправо-влево, гремели неожиданно с боков.

Конные отряды противника бросались в атаку по лесным тропам, стараясь обхватить зажженное село.

Солнце зашло, и над лесами осталась только розовая полоса лучей. Но Матрена равнодушно относилась к стрельбе. Она устало шагала за последней телегой. Некованые колеса прыгали по набитым ступеням, по кореньям, выступавшим из земли. Часть отряда еще была позади, а госпиталь двигался по монгольской скотопрогонной дороге. Кругом стояли горы с хвойными лесами. В тайге пахло болотной сыростью, смолой. По дороге рассеялись люди, лошади, коровы, овцы, собаки. Что делалось впереди, что позади? Куда движется отряд — понять было трудно.

На повозках стонали раненые. Матрена не знала и не могла знать, всех ли их подобрали. До конца, среди дыма и пламени, она отыскивала в чаще больных. На последней

подводе вывезла Яковлева, медикаменты и хирургические инструменты. Семенов так же, как и Матрена, шел пеший и нес за плечами две туго набитые сумки. Его спокойствие удивило Матрену. Доктор покинул больницу последним и отказался от верховой лошади. Этот замкнутый тихий человек проявил невиданный героизм, подвергаясь опасности не меньше, чем любой боец.

Яковлев несколько раз поднимал голову и чего-то искал глазами. Матрена подбегала к нему. Но начальник штаба не узнавал ее. У всех обгоняющих она спрашивала, не остался ли кто из больных в селе.

— Кто тут разберет, — отвечали ей. — Свою голову потеряешь.

— А куда идем-то?

— Идем по дороге, разве не видишь?

Мимо, через кустарник, через замшелые наросты на изгнивших стволах деревьев, когда-то поваленных путниками и бурей, стороной прошли конники. Матрена увидала Алешку Хмелева и окликнула. Он подъехал с сердитым лицом — сначала не узнал изменившуюся Злобину.

— Ну, чего тебе?

— Капитон где... брат мой?

Командир кавалерии расширил глаза и подался назад. Задние сбивали его лошадь в сторону, мешали разговаривать. Алексей хлестнул кого-то нагайкой и выругался. А затем пробрался к Матрене, вздохнул сильной грудью:

— Капитона поминай, как звали... Из пулемета срезали... Жалко парня.

Матрена отошла в сторону и присела на замшелый пень. Она долго смотрела на проходящих мимо людей. Надо бы поплакать, но не было слез. Видела, как на пегой кобылице проехал Бородин, а за ним Кондратий провел в поводу соловка. Но Матрена и не подумала остановить их.

На дороге, в луже, свалилась корова с большим животом. Расшарашив ноги, она жалобно мычала. Две женщины поднимали корову. Одна, что помоложе, всхлипывая, говорила:

— Ну, ну, Красулюшка... Ну!

А у Красулюшки все больше расползались в стороны ноги. Синее набухшее вымя лежало в грязи, как выкидыш.

— Прибавь силушки-и, — причитала вторая женщина. — Куда-а мы без тебя-а!

Непонимающими глазами Матрена провожала проходивших, пока не стемнело. Она пыталась осмыслить случившееся. На мгновение почувствовала, что застывает сердце и останавливается в жилах кровь. Жестокие удары оглушили женщину. Потеря брата, безнадежное состояние Яковлева, неуверенность — всех ли раненых подобрали — занимали теперь ее мысли. Голова еще болела от плети бородатого беженца. «Зачем идут в тайгу люди, какого спасения они ждут там?» В памяти вставало все мрачное, подаренное Матрене незадачливой жизнью. Годы, проведенные солдаткой, поденщина у соседей, наконец, потеря семьи. Но то было уже далеко, мучительнее действовало, что видела и испытала сегодня. С утра она ждала брата, всех расспрашивала о нем. И вот получила весточку. «Конечно, умрет и Макар. Одна, одна», — вздохнула Матрена. Позади уже не стреляли. Какие-то обтрепанные люди прогнали с десяток хромых лошадей. Люди громко ругались, торопились, боясь отстать.

Матрену никто не замечал. Она поднялась и, придерживаясь за деревья, тихо пошла по разбитой дороге. Первый раз в жизни ощутила холодное отчуждение от мира, от людей. И это было страшно.

Тайга поглощала звуки, преломляла их по-своему. Весь шум, производимый отступающим отрядом, напоминал водопад, замирающий где-то под землей. Матрена не слыхала, как сзади к ней подошел Андрюшка. Он крикнул около самого уха:

— Ты не рехнулась ли! Ору, ору, а ты!

Матрена посмотрела на него, не узнав в темноте, и тихо, будто тайну, передала:

— Капитона-то... Из пулемета... И Макар умрет... Одна я осталась...

— О тех нечего поминать, — взмахнул руками Ветров.— Живым надо убираться. Гляди за собой... Людей еще много.

У Матрены пробежал по спине холодок, она вздрогнула и, печально посмотрев на парня, подумала: «Никто, никто не поймет». В то же время смутно чувствовала, что в словах Ветрова есть какая-то правда, которой необходимо подчиниться.

— Околела? — спросил Андрюшка. — На вот тужурку. И ружье могу отдать.

Матрена только теперь заметила, что на плечах у него две винтовки.

— Где взял? — спросила она, чего-то пугаясь.

— На дороге подобрал... Еще в Нахвальном... Можешь скорее шагать?

Впереди утихал гул. Тайгу быстро накрывала темнота. От громоздившихся по бокам лесов и гор веяло древним покоем. Андрюшка говорил:

— Проберемся на границу — поживем... А нет, так пиши поклоны родителям. Тоже дураки или умники нашлись и из нашего бра-

та. Слыхала, что проделал Стародубцев с полком? Увел его на реку Кан еще вчера. Позиции бросил. Вот тебе и борец.

Матрена мало понимала из сказанного. Горе этих дней опустошило ее. Но Ветров не заботился, слушают его или нет. Он говорил без умолку, будто нашел случай вылить обиды, накопленные за всю жизнь.

— Они думают, если в одном бою человека сперло, то он барахло. А как же я на германской не хлябил? Вот теперь и выясняется, кто борется до конца. Дай только догнать штаб. Так и скажу: не хочу больше надевать белый фартук. В строевую запишусь. Винтовку сам припас.

Мелькнули огни, на мгновение осветили силуэты деревьев и фигуры людей. Недалеко ждало какое-то убежище.

8

Партизаны остановились на берегу реки Булдыри, где стояли два зимовья и несколько рыбачьих шалашей. Это был последний населенный пункт Нахвальской волости. Здесь кончалась колесная дорога, и глубже в тайгу вели только тропы с затесами на деревьях.

В темноте люди натыкались на брошенные телеги, на завалившийся в канавах скот. Люди падали в грязь, но шли до полуночи, все еще подгоняемые страхом.

Ветров заботливо устроил Матрену под деревом. Он разжег костер, добыл сухарей и в солдатском котелке вскипятил воду. Рядом около ручья расположилась группа партизан. Среди них что-то плачущим голосом говорила девочка, но слов разобрать не было возможности из-за шума ручья и треска костров.

Какой-то мужчина знакомым голосом сказал:

— Мавра, сдой корову, а то спортится... Как раз и чайку с молочком попьем... Ну, вставай!

— А ты бы мне берестечком посветил, — отвечал из темноты покорный женский голос. — Да и не знаю, что у ней есть... Сутки без корму гнали бедную... Ну-ка, ребята, подмогните поднять скотину.

Хозяйственные заботы неизвестных людей немного вывели Матрену из раздумья. Эти люди надеялись жить. Плотнее завернувшись в тужурку, она подошла к соседям.

— Милости просим, — ответил на ее приветствие человек знакомым голосом. — Увидев его лицо в широкой бороде, Матрена открыла рот и задрожала еще больше. Мужик тоже сробел, бегло, как вор, осмотрелся и скороговоркой продолжал:

— Садись, садись, молодуха... Видишь ты, где опять повстречались... Ты меня прощай, девка... От недоуменности вышло у нас... Подурели люди от этой войны.. Отца родного зарубишь в такие переполохи... Садись-ка с нами чаевать... Прощай, девка, дураков набитых...

Мужик развязал мешок и вытряхнул из него несколько белых пшеничных калачей.

— Кушай, молодка... Ты ведь Канарайская... Злобина будешь?..

— Матрена Андреевна, — сказал Казарский, которого она без повязки не узнала. — Пришла, а мы о тебе горевали, — Казарский говорил стыдливо. Он подсел к Матрене и разломил обгорелую лепешку. — Попробуй-ка, аппетитная... А это, — указал он на бородача, — мой сваток из Пестеревой Куприян Лысов. У него два сына в отряде. Со мной в одном взводе. Непонимание у всех вышло. Вгорячах это он тебя огрел по голове...

Матрена смотрела на этих людей и не могла понять их, как не могла определить сейчас своего отношения к ним. Сердцем она уже прощала им обиды, но рассудком ненавидела то страшное в людях, которое узнала утром. И Казарский и Лысов чувствовали это. Лыжник услужливо говорил:

— А раненых-то всех собрали. Как это кавалеристы подоспели да мы взялись... Которые не ходили, и те поднялись. Пулеметчик Санька Евдокимов верхом ускакал. Что тут было не перескажешь. Сестер и санитаров согнали к больнице, заставили работать. Нагнибеда и тот таскал на себе раненых...

— И Нагнибеда? — Матрена не верила своим ушам.

— Какой это полк? — спросил подошедший Андрюшка.

— Теперь не разбери-бери, — объяснял Казарский. — Все перепуталось в клубок. Тут и нахвальцы и заливаевцы и другие есть.

Матрена, не глядя на парня, спросила:

— Где же госпиталь-то остановился?

— Это дальше... Наверное, около штаба. Да ты куда пойдешь?

— Как же Макар? — Она поднялась, отыскивая глазами Ветрова. Отпустить одного и с подводчиком, да это такое безрассудство! Сказала: — Андрей, пойдешь со мной?

— Куда?

— К госпиталю...

— Чего выдумала! Скоро рассветает, тогда и двинемся. — Кладовщик выплеснул из кружки кипяток и взял винтовку. Парню очень не хотелось покидать нагретое место и

огорчать Матрену не смел. Вмешался Лысов. Вкрадчивым голосом он уговаривал:

— Куда вы на такую пропасть. Намочитесь, измотаетесь, а толку не добьетесь. Теперь и за сутки без знатья не найдешь, где кто.

К огню подошли пожилая женщина с котелком молока и сухощавая белокурая девочка лет двенадцати. Девочка протянула к костру красные, мокрые от росы ноги и с любопытством посмотрела на Матрену.

— Молочка попей, — участливо сказала женщина.

— Разуйся да посушись, — настаивал Лысов, подстилая около костра пихтовые ветки. — Вот тут будет мягко и тепло. А завтра солнышко согреет. В тайге теперь самая благодать. Ни гнуса, ни топи.

У Матрены снова разболелась голова, но она решила двигаться к госпиталю. Пока переобувалась и сушила юбку, слышала глухие, как из-под земли, голоса. Рядом с ней лежала согнувшись босоногая девочка и что-то бормотала спросонья. Вокруг костра все еще сидели партизаны и беженцы. Кто-то монотонно говорил:

— Сюда едва ли пойдут... Чехи, они на степях привыкли. Солдатам-то ихним тоже, поди, неохота гинуть...

— Пробьемся как-нибудь, — поддерживал говорившего молодой звонкий голос. — Ну, месяц-два просидим здесь... Не подохнем... Привычны...

— Красная Армия, сказывают, через Урал перешагнула...

— Все так... А вот кабы они при выходе на границу не встретили...

Над ухом Матрены запищал комар, а ей показалось, что где-то играют на скрипке. Вот так же играли чехи, когда стояли в их деревне. И Матрене живо представилась смерть мужа. Усатый русский офицер с желтыми лампасами вытолкнул Лариона в дверь и выстрелил ему в затылок. Громом прозвучали его слова: «Одной красной сволочью меньше».

После этого Матрена, не помня себя, схватила с постели раздетого Митю и сама полураздетая выскочила в окно.

Трещал мороз. Под ногами упруго скрипел снег. Не помнила, сколько времени бегала по улице с ребенком на руках. Стучала к соседям, но их не было дома, или не хотели впустить. Только перед рассветом она зашла в крайнюю избушку к сельскому сторожу. У ребенка стукнули об пол застывшие ноги. Он скончался в ту же ночь.

И вот тогда-то случилось необъяснимое, по крайней мере для самой Матрены. Оставив трупик ребенка старику, она побежала по следам отступившего партизанского отряда, тогда еще только зарождавшегося.

Матрена, встревоженная воспоминаниями, вскочила с дикими глазами. Около нее стоял Куприян и мягко говорил:

— Не торопись, Андреевна. Утра дождись... Почаюй и тогда ступай с богом к делу. — Глаза у мужика светились ласково. Он провел рукой по бороде и добавил:

— Хочу устроить старуху с девчонкой около тебя. Сам тоже бы остался, ежели возьмешь. Теперь нам одно дело... Надо послужить для народа...

— Нет, пойду, — твердо ответила Злобина.

9

Андрюшка подал ей вычищенную винтовку и снял с себя пояс с патронташем, а сам подтянулся веревкой.

— Так и оставим ружья, — говорил он. — Зверя и то чем-то надо отпугнуть. Идем живее.

В тайгу еще мало проник утренний свет. Вода в канавках, накануне перемешанная с грязью, отстоялась и отсвечивала полудой.

Матрена и Андрюшка шли торопливо. В тайге угасали костры. Около них лежали вповалку уставшие партизаны. На вывернувшейся полянке в излучине реки густо сбились в кучу люди и скот. Кто-то поклонился Матрене и сказал:

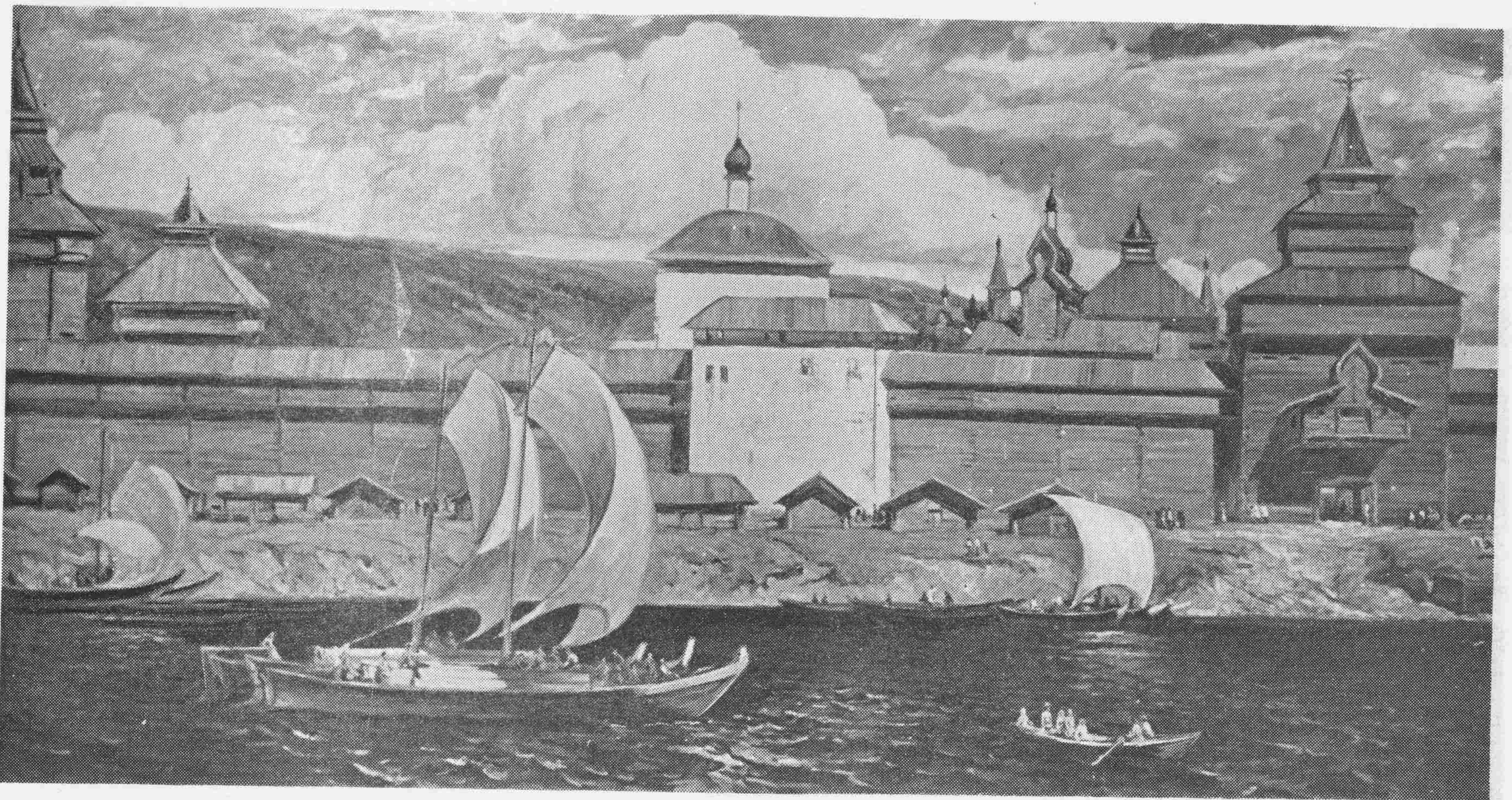
— Тебя требовал в штаб... Артюхов.

— Какой?

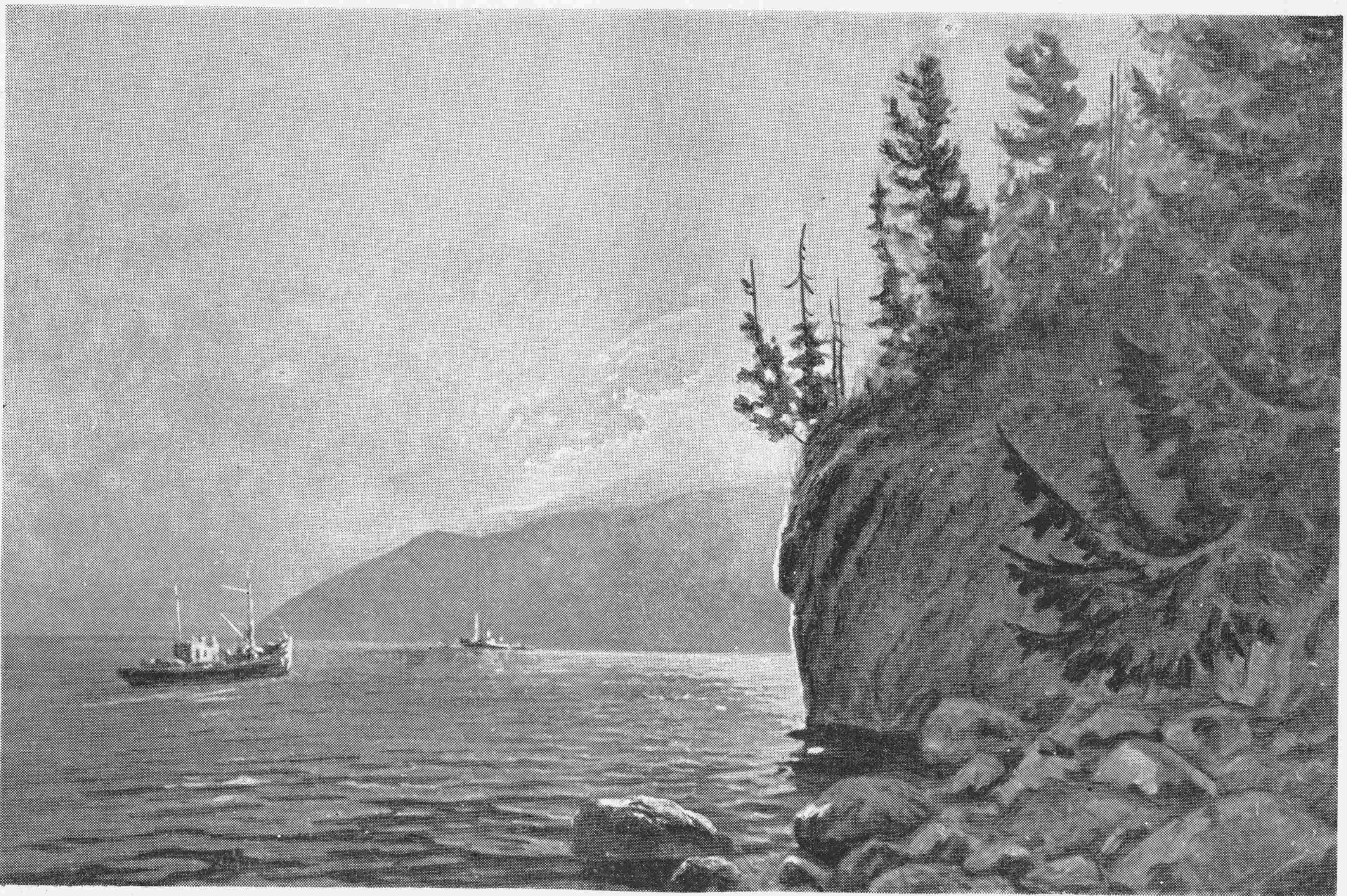
— Вот те на! Командующего позабыла... Вы спуститесь вот по этой тропинке, скорее попадете.

Тропинка лежала около берега. Вскоре она приблизилась к быстрой прозрачной реке. На перекатах Булдырь кипела, брызгалась пеной. Перебраться на другой берег было невозможно, несмотря на то, что река была не шире десяти саженей. Здесь больше открывалось небо. Поросшие таежным пырьем берега красиво зеленели. Под свежей травой чернела гарь — недавно прошел пал.

Через час добрались до госпиталя. Раненые лежали подряд на непросохшей земле. Под некоторыми были подстелены матрацы, под другими — пихтовые ветки. Тут же стояли разбитые телеги. На всем виделись следы грязи и увечья. За расположением госпиталя по берегу паслись лошади с ввалившимися пахами и высунувшимися ребрами. Вид их у Матрены вызвал тошноту.



Б. И. Лебединский. **СТАРЫЙ ИРКУТСК**. Масло.



Б. И. Лебединский. **ВЕЧЕР НА СЕВЕРЕ БАЙКАЛА.** Масло.

— Остряпали лучше некуда, — сказал Андрюшка, угадав мысли спутницы. — Такие и на мясо не годятся. В глотку не полезут.

Около крайней постели стояли Марта и Нагнибеда. В руках у фельдшера болтался размотанный бинт. Еще несколько сестер кормили раненых из рук сухарями и сушеным мясом.

Увидав Матрену, Марта бросилась к ней навстречу с криком:

— Неужели ты живой!

У Нагнибеды выпал бинт.. Фельдшер опустил руки и механически повторил за Мартой:

— Живой! Живой!

Матрену окружили. И опять она не узнавала людей, не могла угадать перемену в их отношениях к ней.

Часть больных поднялась. На воздухе лица раненых посвежели. Так по крайней мере казалось Матрене. Доктор покачал головой и зачем-то пощупал у ней пульс.

— Отдыхать, отдыхать надо, — посоветовал он. — А у нас совсем неплохо... Смотрите, как огурцы... Даже Яковлев порадовал сегодня.

— А где он?

— Подальше немного... В зимовье поместили... По приказу Артюхова...

Матрена пошла в указанном направлении. Ее взялся проводить Нагнибеда. Они избегали смотреть в глаза друг другу. Матрена раскаивалась в том, что плохо думала о фельдшере. Нагнибеда чувствовал себя виновным за дикое предложение и малодушие. Теперь оба они видели, что все приходило в порядок, а вместе с тем осмысливалась и имела значение их собственная жизнь.

Артюхова Матрена встретила в темном, почерневшем от дыма и копоти, зимовье. Он стоял над Яковлевым, склонив нечесаную голову. В наружности командующего трудно было заметить перемену. Все так же смотрели его темно-серые невеселые глаза. Не меняя военной выправки, Кондратий держался прямо, немного расставив длинные ноги в ичигах. Только щеки еще больше втягивались внутрь и длиннее торчала щетина бороды.

Артюхов встретил Матрену без особого тепла.

— Пришлепала-таки... А я послал ребят в розыски... Ну, здравствуй!

— Ничего, — говорила Матрена. — Замаялась немного. — Она хотела расспросить о гибели брата, но нашла это неудобным. «Разве ему не все нужны и дороги, которые не пришли сюда?» — подумала она.

Макар слабо улыбнулся ей и сделал движение, чтобы протянуть руку. Раненая его нога лежала на грязной подушке не совсем удобно. Матрена подложила под один край подушки сена и пощупала лоб больного. Он был холоден и влажен.

— Живем, — тихо сказал Макар. — Отдыхай...

Кондратий отошел к двери, заслонив ее большим телом, и взглянул на Матрену:

— Вышло у тебя ладно... Я и не думал. — И, сделав на лбу складку морщин, указал на Яковлева:

— Как вот дальше повезем таких молодцов? Дорога-то теперь пойдет аховая. — Артюхов мял на ладони корешок листового табаку и смотрел на Злобину, как экзаменатор. — Я думаю прикомандировать к госпиталю батальон особого назначения. Всех беженцев сформируем и заставим помогать тебе. Действуй, как надо... На тебе ответственность. Каждый час должна быть готова к походу... Сидеть на месте нам не приходится.

Матрена возвращалась чуть не бегом. Из-за гор выкатилось солнце. От его жарких лучей травы и деревья закурились, как подожженные.

Ветров сидел около привязанной к дереву красной телки и точил о камень нож.

— Ну, чего там? — обратился он к Матрене.

— Надо придумывать что-нибудь для перевозки раненых, — ответила она. — Кондратий говорит, что телеги здесь бросаем... Торопит...

— И думать нечего... Носилки надо мастрячить. В Карпатах мы так возили, ладно выходит.

Улучшение состояния здоровья Яковлева и спокойствие Артюхова вывели Матрену из тупика. «Уж если они так держатся, то не все в жизни потеряно», — соображала она. Совсем неожиданно поднимался Макар.

Лучше, чем следовало ожидать, чувствовали себя и остальные раненые. «Разве не стоило потрудиться для них? Раскисла, баба».

Матрена, думая так, погладила обреченную телку по спине и направилась к госпиталю.

10

К штабу шли бойцы. Они несли на себе все, что можно было захватить при отступлении: винтовки, матрацы из половиков, шинели, даже седла с потерянных коней, многие здоровались с Матреной, но она узнавала их не сразу. И не удивительно. Ведь эти люди больше месяца провели в непрерывных боях, запылились, обросли, постарели.

Лысов и Андрюшка выстрагивали топорами оглобли для носилок и спрашивали проходящих:

— Зачем собрание-то?

— Стало быть надо, — нехотя отвечали бойцы. — Вы варите уж кашу...

— А чего слышно сзади?

— Хотели у вас спросить...

Матрена, сестры и сформированные в отряд особого назначения беженцы готовили носилки. К длинным оглоблям пришивались половики, одеяла, шинели и деревенские однорядки. Даже женские платья пригодились в этом непривычном деле.

Работа подвигалась медленно. Медицинские работники часто отрывались к больным. Немного успокоившись, раненые стали капризничать, как дети. Одни требовали непременно холодной воды, другие — кислой капусты, третьи скандалили из-за того, что около них не сидят сестры.

Доктор и Нагнибеда сами делали в этот день перевязки. И тут же два старика беженца добывали бересту с молодых березок и мастерили ложки. Андрюшка свежевал телку, в шутку спрашивал:

— На каком базаре думаете продавать посуду-то?

— На медвежьем, — ответил старик с закопченной бородой и беспалой левой рукой.

Люди осмотрелись, освоили место, преодолели тревогу и начали заниматься каждый своим и вместе все общим делом.

За обедом, дуя в ложку, Лысов говорил:

— Надо быть, под монгольского царя повел нас Кондратий... Я сразу так и подумал...

— Не иначе, — заметил беспалый старик.

Андрюшка ошпарился бульоном и напал на говоривших:

— Брякаете, как осиновые боталы... На кой это Артюхов поведет нас под царя, когда мы своего сбросили... Головой надо думать... Сдохнуть так за свою землю.

— А есть в Монголии царь-то? — спросила у споривших Матрена.

— Кто же его знает, — смутился Лысов.

Его выручил беспалый. Деловито отхлебнув из ложки, он сказал:

— Раз есть земля, стало быть, и хозяин какой-нибудь имеется.

— А мы против таких хозяев бьемся, — негодовал Андрюшка. — Эх, народец! Ему что большевики, что царь. Хозяина надо.

— Ну, разошелся! — Матрена поднялась и проворно зашагала в штаб. Лысов посмотрел ей вслед, дружелюбно кивнул головой:

— Здорова, волк ее ешь, бабочка. В грудях и в голове есть. Не враз сковырнешь такую... У мужиков ум разбежался, а она под огнем вывезла последнего раненого.

— Деловая, — подтвердил Андрюшка. — Кабы не она, так мы бы с тобой сидели где-нибудь в Заливаевке.

— Об этом и говорю. — Лысов пошел к реке умываться.

Матрена вернулась в сумерках усталая и молчаливая. Велела созвать весь штат и, вытирая передником вспотевшее лицо, сказала:

— Дают нам коней. Спешили кавалерию... С этого часа должны стать к каждым носилкам по четыре человека и по два коня... И никаких отлучек. Все медикаменты завьючить, чтобы мигом их положить в седла. С телег снять веревки. В дороге все пригодится. Андрей и Лысов даются мне как бы в помощники. Вот и все. Сам Кондратий приказ дал.

— Значит, снимаемся, — заключил Нагнибеда.

— Когда надо будет — скажется.

Все поняли, что долго здесь не засидятся. Началась работа. Матрена сама подбирала лошадей и коногонов. К каждым носилкам прикрепляла старшего, давала наказы.

А когда тяжело раненные были уложены на приготовленные носилки и кругом запылали костры, она отозвала Ветрова в сторону.

— Ночью стронемся... Только никому ничего... Кондратию донос: впереди подкарауливает нас милиция. Штаб послал разыскивать другую дорогу. Госпиталь пойдет сзади. Охрану нам дают... Десять человек из эскадрона Хмелева.

Андрюшка чесал затылок и морщился. Он что-то соображал. Матрена поняла его и сдвинула густые брови:

— И не думай... В строй не отпущу... Теперь везде строй... Я про тебя все рассказала в штабе.

Около костров сидели люди. Покойна была в этот вечер тайга. Пьяным хмелем насыщался воздух. Ворчливо разговаривали родники. В такую пору кажется, что бродят в хребтах, насыщенных запахом прели и смолы, неведомые, крылатые и неуловимые, как ветер, призраки.

В такой именно час Матрену разыскал Нагнибеда и тревожно передал:

— У нас, кажется, будет покойник.

— Как! Кто?

— Артур... Помните, глаза выжгло.

Матрена недоумевающе оглянула фельдшера. На одном бедре у него висела сумка, на другом котелок. Фельдшер был готов к походу. Хорошо это или худо — она не могла оценить. Только и могла сказать:

— От госпиталя не отлучаться.

Фельдшер понял это как намек на его поведение в Нахвальской больнице и отошел пристыженный. Он принес Матрене дурную весть в недобрый час. Хотел переговорить с заведующей о себе и не осмелился: нужно было идти к больному.

Носилки лежали на земле в два ряда. Между ними пылали костры. Слесарь Артур, парень лет шестнадцати, потерял глаза в оружейной мастерской. При разрядке разорвалась бомба. Двое товарищей Артура погибли тут же. Матрена вспомнила, что за их телами приезжали родственники, чтобы увезти на свои кладбища.

В больнице Артур держал себя странно. Он то буйствовал, требуя от врача операции и лекарств, то сутками лежал на койке и плакал.

В тревожные дни он просил у сестер какой-нибудь отравы. Матрена быстро прошла между кострами и чуть не сбила стоявшего на коленях доктора.

— Что с ним?

— Чем-то отравился...

Артур лежал вниз лицом. Парня трясло, как в сильном приступе лихорадки. Над ним с чашкой молока стояла Марта.

— Отваживались? — спросила Матрена.

— Пробовали молоком, но не пьет.

— А чем он отравился?

— Трудно сказать.

По тому, как у доктора дрожали пальцы, Матрена поняла, что он волнуется.

— Но где же он мог взять отравы? Неужели... — она испугалась собственной догадки...

— Думаете Нагнибеда? — тихо досказал доктор. — Нет, не допускаю... Каким-нибудь народным средством... Знаете, ядовитые растения... Кто-нибудь подсунул.

Марта еще раз попыталась влить молоко в рот больного. Его повернули вверх лицом. Но Артур лежал с крепко стиснутыми зубами, и молоко пролилось мимо.

— Дайте нож! — сказала Матрена.

Нож отыскался. С усилием больному разжали зубы и вылили в рот молоко. Когда доктор и Марта отошли, Матрена положила горячую руку на грудь Артура. Парень, почувствовав это, глухо вздохнул. Судороги стали уменьшаться.

Матрена сидела около него и думала о Яковлеве, о брате, о всех погибших за эти дни. Рядом в траве что-то зашевелилось. Матрена ударила свободной рукой по тому месту и удивилась своему безразличию. Раньше она не переносила даже вида мышей и с замиранием сердца думала о гадюках, которых никогда не видала.

Артур стал дышать спокойнее. Но всё еще гулко и неровно у него колотилось сердце. «Выживет или умрет?» — пыталась отгадать Матрена, снимая с груди больного руку.

Неподалеку женским голосом разрыдался пехотинец Носков. После извлечения пули у него начался гнойный плеврит. Когда Матрена подошла к носилкам, больной держал одной рукой за волосы сестру Дашу — совсем еще девочку — другой колотил ее по спине кулаком. Нагнибеда и два санитара не могли остановить обезумевшего человека. Наконец сестру высвободили. Раненый упал навзничь и беспомощно завсхлипывал. Около него плакала Даша, поправляя волосы. В этот вечер Матрену вызывали еще к трем больным. Уговорив последнего, она отошла в кусты, где паслись лошади, и обессилевшая упала на молодую пахнувшую медом траву.

11

Около костров смолкли разговоры. Лошади и коровы сбились в кучу, опасаясь зверья. Лишенный посторонних звуков шум реки стал явственнее. Было слышно, как вскипали на перекатах волны. Каждая из них имела свой разбег и голос.

Матрена долго слушала этот шум. Сначала она лежала на спине, закинув под затылок руки. Но в таком положении мешал свет от неба и костров. Перевернулась на живот и сразу погрузилась в мягкую и такую нужную в этот час темноту. Звуки исчезали, из тела уходила тяжесть. Попыталась отогнать сон, встать, и не могла шевельнуться.

Матрена вытянула ноги и проблески яви померкли. Сон сделал чудо. Все, чем жила Матрена в эти дни, отлетело. И вот около нее запели молодые голоса. Запели близкое, знакомое. Матрена увидела себя с распущенными волосами перед старинным испорченным зеркалом, в кругу подруг. В избе, в кути полно женщин-соседок. Где-то вздыхает мать, торопится готовить свадебный стол.

Девушки повертывают Матрену, любуются ее нарядом. Матрену собирают к венцу. Больше всех старается подруга Дорка.

— Красавица... Прямо картинка, — говорят Матрене.

В зеркале она видит себя с красными щеками, с выписанными бровями, в белом широком платье. На черноволосой голове венок из бумажных цветов, на пальце серебряное кольцо.

— Да неужели это я? — восклицает Матрена. — Когда же я так выросла?

Но любоваться собой некогда. Матрену усадили за стол с курниками, с украшенными цветной бумагой гусями. И вот опять Дорка запела:

Не гони ты меня, тятенька, со двора,
Не брани ты меня, матушка, за дружка.

У Матрены вот-вот прорвутся рыдания. Но слез нет. А рядом шепчут:

— Мотенька, спой... Последний разок...

И опять звенит Доркин хватающий за сердце голос:

За лесом, за рощей —
В зеленом саду.
За речкой, за быстрой —
На том берегу...

«Не то, не то! — тоскливо протестует сердце Матрены. — Надо веселее. Не на похоронах вы поете». Но она невеста и обязана подчиняться исконным свадебным обрядам. А Дорка, надрывая душу у подруг, заводит:

Там одна могила
Заросла травой,
А в ней лежит девица —
Друг души моей.

Звон колокольчиков под окнами вспугивает девушек. Выскочив из-за стола, они поют веселую. Матрене кажется, что у нее не помещается в груди сердце. «Что ждет ее завтра? Гладки ли будут ее дороги в новой жизни?»

Причуды сновидений непостижимы. Матрена слышала много голосов. И все они говорили, что молодые будут жить богато, потому что на дворе шел снег. Молодых после венца осыпали овсом и пшеницей. Крупные зерна запутывались в волосах, попадали за ворот и неприятно скользили по голому телу.

Но тут сну было угодно выбросить из бытия Матрены много безрадостных дней. И вот уже она измятая, изломанная жизнью, прижимая к сердцу озябшего сына, подгоняемая смертельным страхом, падает у чужих ворот и слышит незабываемое: «Мама, жарко!»

Это были последние слова ребенка. Матрена затрепетала и соскочила. Сердце колотилось больно и гулко, а запекшиеся губы все еще шептали: «Митенька, Митя».

Грань между сном и явью порвалась, как тонкая завеса. Пугливо огляделась. В двух шагах стояла лошадь с отвислой белой губой и опущенными ушами. По мутным ее глазам ползали гладкие пленки век. И от этого глаза то открывались, то закрывались.

— Ты спишь или нет? — сказала Матрена, гладя лошадиную морду. Она была мокрая, слизкая, и от нее пахло зеленью. «Нет, не спит, и я не сплю» — с ужасом подумала и отшатнулась.

Только теперь она увидела, что проспала очень долго. Около госпиталя уже шумели люди. По лесу ловили лошадей. Начиналось туманное непогожее утро.

12

Андрюшка встретился на тропке около реки. Он нес воду. Увидав Матрену, парень поставил ведра и покачал головой:

— Где же ты была? Ни поспит, ни поест человек, как следует... Ужин тебе был приготовлен... Что же, сама пропасть захотела?

— А как Артур? — только и могла спросить она.

— Какой тебе Артур!

Ветров пнул опрокинувшееся ведро и широко открыл глаза, будто хотел убедиться, в порядке ли у Матрены голова. Затем подвинулся и еще громче сказал:

— Выступаем! Приказ от Артюхова. — И сунул ей мокрую бумажку. — Вот... Без тебя все лениво шевелятся.

По движению впереди было видно, что авангард еще не снялся и госпиталь еще не опоздал.

Около первого костра Нагнибеда, совсем готовый в путь, поправлял на спине сумку. Четыре мужика пристраивали первые носилки. Две лошади, опустив головы, стояли гуськом. Парни подняли носилки вместе с раненым. Они удобно поместились между задом одной лошади и грудью другой. Лысов взглянул на Матрену и махнул рукой:

— Трогай, благословясь.

Концы носилок, как оглобли, торчали около лошадиных боков. В непривычной упряжке кони оглядывались, храпели. Веревки, которыми были привязаны концы носилок и которые были перекинуты через спины лошадей, резали кожу на позвоночниках. Коней повели два мужчины, две сестры пошли рядом с носилками. Новый способ передвижения требовал осторожности. Если передняя лошадь останавливалась, задняя толкала на нее носилки. Останавливалась задняя — у передней сползала со спины веревка.

— Стой! стой! — закричал Лысов, видя, что одна из лошадей подгибается от боли. — Седло надо.

Но седла не оказалось. Под веревки подложили какое-то тряпье. Лысов отдал свою новую однорядку:

— Своя бы шкура уцелела, а барахло наживем.

— Наживе-ем, — поддержал кто-то.

Кони дергали, носилки от этого болтались из стороны в сторону, затем пошли ровнее. Лысов посмотрел и успокоился.

— Сшагаются... Пошел, пошел, милые! Ай да мы с Андрюхой! — и опять взглянул на Матрену, показывая этим, какую чудную вещь они придумали. Общая опасность сблизила Куприяна с этими людьми, заразила прекраснейшим человеческим чувством — потрудиться для общего, для правды, за которую бились на фронте его сыновья. Сбылось невероятное, чему два дня назад едва ли поверил бы и сам Лысов. Он уже был другой человек.

Когда за первыми последовали вторые и третьи носилки, к Матрене подошла Марта и пересохшим голосом сказала:

— Артур живет... Ему легче...

— Легче? — Матрена с недоумением посмотрела в ту сторону, где Нагнибеда помогал укладывать принесенного из зимовья Яковлева. Макар повернул к ней желтое исхудавшее лицо и улыбнулся. В глазах у него Матрена увидела возвращающуюся жизнь.

— Чудеса! — пожал плечами доктор.

— Почему? — не поняла Матрена.

— Потому что рана у него очень опасная.

Злобина хотела подробнее расспросить, но на другом конце лагеря закричали мужчины и женщины. Выше их голов вздыбила рослая серая лошадь, затем рванулась и начала бить задними ногами. Из носилок серым клубком вылетел больной и ударился о землю.

Матрена растолкала столпившихся людей и остановилась перед бездыханным человеком. Это был ординарец штаба Казанцев. Он заболел воспалением легких перед отступлением и всю дорогу находился в бредовом состоянии.

Куприян Лысов снял картуз и покачал головой:

— Управился парень! Худая примета нам на дорогу.

В стороне кричали коноводы. Они не могли сладить с перепуганной лошадью. Серый бил передними и задними ногами, стараясь освободиться от болтавшихся сзади носилок. Андрюшка держал лошадь и кричал:

— Застрелить, волчье мясо! Бейте по башке, одумается!

Доктор освидетельствовал труп и сказал:

— Ну... могилу надо приготовить.

— Сбросить в речку, — предложил Лысов.

— Да и землю копать нечем, — подсказал кто-то. — Давайте-ка, ребятки!

Среди наступившей тишины всхлипнул женский голос. Тело подняли и сбросили; оно мгновенно исчезло в клубах пены.

— Из деревни Горбуновой, — объясняла пожилая женщина Матрене. — Мать у него осталась семидесяти годков. Не дождется теперь. Ох, наказание за грехи!

Мимо собравшихся торопливо проводили коней. Люди не хотели отстать от главных сил отряда.

Матрена пошла за носилками Яковлева. Сзади нее шагал вооруженный двумя винтовками Андрюшка, а за ним — десять кавалеристов с карабинами. Лошадей у них, по приказу Матрены, взяли под кухню и провизию.

13

Вгорячах люди долго не замечали накрапывающего дождя. Но вскоре нависшие над дорогой ветки начали брызгаться. Над рекой вспухал молочно-белый туман, под ним не стало видно быстрых волн Булдыри. Потревоженная непогодью тайга тихо зашумела.

Отступающий отряд растянулся на десятки километров. Впереди лежали белогорья. В ясный день вершины их хорошо видны от Нахвальской больницы. Но сегодня тучи и туманы заслонили все окружающее. Впереди, если дорога лежала по прямой линии, можно было видеть предметы лишь на полсотни шагов, а в стороны и смотреть было бесполезно — все равно ничего не увидишь.

Отряд двигался узкой тропой между сплошных темных стен кедров и пихты. На изгибе иногда вывернется куст или пень, и он непременно напомнит зверя, прячущегося от дождя.

Начались сплошные хребты. Если голова отряда поднималась, то хвост оставался еще в глубокой низине, опускалась голова — поднимался хвост. И люди, как ни торопились, не могли следовать друг за другом на одинаковом расстоянии.

— И куда так гонят! — слышалось усталое и сердитое.

— Сбесились, что ли, там!

— Где же Артюхов... главный-то?

В это время авангард, разыскивая прямую дорогу, попал в тесное ущелье.

Командующий проводил над пропастью коня и всячески ухитрялся не полететь вниз, где свирепо ревели волны Булдыри, сжатые скалами. В этот момент Кондратий боялся лишь одного, как бы горячий, не в меру усердный Соловко не наступил на ногу или не толкнул мордой в бок. Одно неосторожное движение могло погубить обоих. Обиднее такого конца не придумаешь. Артюхов воюет четыре года, и на теле его не было еще ни одной царапины. А в каких переделках не побывал!

— Нет, ты меня не свалишь, — говорил он, — не сожрешь. — Но мысль тревожит исподтишка. — Не храбрись, не такие орлы с не-

ба падают. Вот скользнет твоя долговязая нога — и пропал. Молодую жену заберет какой-нибудь казак, побалуется, надсмеется и пустит по белу свету полным ведром горе хлебать. А страшно там — внизу. Пожалуй, не найдешь человека.

У Кондратия скрипят зубы. Крепче впивается рука в жесткую гриву лошади. Понимая опасность не хуже хозяина, Соловко вытягивается и дрожит, как телеграфный провод под ветром. У лошади шевелятся только уши да наливаются кровью глаза. Кондратий чувствует, как напруживается под рукой конское тело, как каменеют мускулы. У него прибавляется уверенности в своих силах.

Но с тропинки обрывается камень и долго стучит по защечинам обрыва. Стук этот тяжело отдается в сердце. Кондратию кажется, что между его жизнью и смертью протянута тонкая веревочка. Чуть неосторожный рывок, и она лопнет, — хорошо, если не гнилая.

Мысли чередуются, как вон те невидимые волны, грохочущие под скалой. Наплывает воспоминание о покинутой семье, схватит внутри клещом. Но значительнее и острее вторая мысль. С ней по существу связана вся теперешняя жизнь Кондратия: Куда он поведет отряд?

И Артюхов чувствует потрясение во всем своем существе. Мозг отравляюще заливает обида. И неудивительно. Давно ли о громких делах его отряда писалось в газетах. За голову Артюхова и Яковлева белое правительство объявляло высокие награды. Отряд строил планы наступления на губернский город. И вот все пошло прахом.

Затем опять обрывки воспоминаний о семье и хозяйстве, правда, немудрящем. Перед глазами, как живые, встают сельские картины. Вот глянула двумя окнами новая изба. Из хлева высунула голову белолобая корова. А у колоды, булькая мокрыми губами, стоят игреняя кобыла и чалый жеребенок. Анисья несет пойло хрюкающей под крыльцом свинье. На щеках у жены несмываемый румянец кружочками, а подбородок белый. Кондратий видит, как маленькие круглые руки опрокидывают ведро и Анисья выпрямляется. Сдвинув светлые брови, она стоит, подперев рукою бок, и, улыбаясь одними губами, смотрит, как управляется с пойлом свинья, как тычут пятачками рыльц под живот ей несмышленые ососки. Грудь молодой хозяйки вздымается ровно и радостно. А светло-карие глаза говорят: «С моими ли силами тоскливо смотреть на белый свет».

Анисья щупает рукой живот и, сладко вздыхая, поворачивается к мужу. Кондратий знает, что она заговорит о ребенке, будущем кормильце, поплачется на свое бесплодие и уйдет к печи унылая, заливая тоску песней.

Артюхов чувствует, что рука на гриве слабеет, напряженнее дрожит тело Соловка. Лошадь похрапывает, будто этим хочет вывести хозяина из раздумья. В ногах у Кондратия убывает твердость: того и гляди подвернется левая, пораженная ревматизмом, и капут.

Но тропинка вильнула дальше от обрыва. Впереди между хребтов темная падь. На уровне с глазами Кондратия, как головки конопли, торчат вершины кедров. Разгульно и бескрайне раскинулось темно-бурое полотно тайги. От радости Артюхов споткнулся. Рванувшись изо всех сил, свободной рукой ухватился за кедровый сук. Резкий толчок чуть не опрокинул в пропасть Соловка.

А когда обрыв ушел вправо на несколько шагов, лошадь нежно заржала. Кондратий оглянулся и изругался, как ругаются люди, неожиданно обманувшие смерть. В голосе его звучали две ноты: еще неостывшего страха и победной гордости. Увидев на гиблой тропе Бородина и Кондакова, он закричал:

— За коней! За коней держитесь! Да задних там остановите... Не пройдут... Нипочем не пройдут!

Кондратий привязал Соловка. Проворно вытащил из мешка веревку и по кустарникам, по скале вышел на вершину хребта. Он кинул Бородину веревку сверху и сказал:

— Держи, Миша, да ни о чем не думай. Задумаешь — пропал.

Отпустив вперед лошадь, Бородин при помощи веревки прошел опасное место довольно быстро. Он улыбнулся всегда удивленными глазами и сказал, повторяя слова Кондратия:

— Задних держите... Поувечатся к лешаку... Надо искать другую дорогу.

Когда Михайло выбрался на безопасное место, Артюхов передал ему веревку:

— Ну, а теперь ты выводи народ.

Кондратий спустился вниз к лошади, сел на валежину и начал крошить ножом коренья листового табаку. Переход при помощи веревок значительно ускорял движение авангарда. Вскоре над пропастью провел эскадрон Алеха Хмелев. Но и это не удовлетворяло Артюхова. Когда собрались вместе командиры, он, хмуря брови, сказал:

— Пять человек поедут назад. Надо обогнуть вот эти хребты и где-нибудь по падям провести госпиталь. Боюсь, как бы Матрена не села.

— А остальные как? — спросил Бородин, набивая коренушку.

— Хмелев погонит вперед, что есть мочи. Прямо до приисков. Там есть мука и мясо. На все наложить печати. — Кондратий оглянулся кругом: — Алеха, где ты?

— Здесь, — отозвался начальник кавалерии.

— Весь или наполовину? — пошутил командующий.

— Весь, — козырнул парень.

— Ну так вот, слыхал распоряжение?.. Пойдешь вперед... Да не подгадь там... Вроде выпивки и прочего ни-ни.. К рабочим поближе. Донесения шли чаще. За самоуправство расстреляю. Понял?

Хмелев широко улыбался и подмигивал адъютанту Кондакову. Он знал, что Кондратий стращает шутя.

— Ну, а если гнус под клином подвернется? — начал было он. Но Артюхов вздернул кверху брови, и у кавалериста погасла наивная улыбка.

Эскадрон быстро снялся. К штабу подходили измаявшиеся пехотинцы. Люди, прошедшие над пропастью, были возбуждены, у каждого сверкали глаза. Избежав опасности, бойцы преувеличенно рассказывали о приключениях.

Михайло Бородин первый догадался подкрепиться. Из солдатской сумки он вытащил хлеб и сказал Кондакову:

— Хоть сто верст иди, хозяин не пригласит в гости, — при этом он хитро кивнул на Артюхова. — Давай, Игнаха.

Через полчаса двинулся штаб. Узкая тропина, давно заросшая мохом, спускалась вниз, как веревка в колодец. Чтобы не покатиться, нужно было держаться за деревья. Передние сорвали с земли мох, поэтому задним приходилось обходить стороной скользкие кругляки. Так над пропастями, с горы на гору, шла разведка, за ней штаб во главе авангарда.

В низине, где скрестились три горных речонки, тропина оказалась заваленной деревьями (здесь недавно прошел бурелом). Кавалеристы объехали стороной. Артюхов покачал головой:

— Ну и бешеный, — сказал он Бородину.— Так и знай ободрал коням бока. Хмель, — он есть хмель.

— Беспременно. — Михайло посмотрел на небо удивленными глазами и мокрой ладонью провел по лицу. — Это что же, парень, дождь-то, видно, разойдется. Завязнет совсем Матрена со своими.

Кондратий покусал ус, подумал и распорядился:

— С пилами и топорами надо туда... Вроде саперов... Понял?

— Как не понимать... Пойду налаживать людей.

Бородин шевельнул плечами, и Артюхов почувствовал, что за ворот ему закатилась дождевая капля. Он повел лошадь через мелкие кустарники и удачно миновал задом. Неподалеку просвечивала еланка. Неширокая еланка оказалась около ручья и с травой. Вокруг нее стояли древние мохнатые ели.

Артюхов расседлал лошадь и отпустил ее пастись без треноги. Знал, что в тайге животное держится вблизи человека — не убежит. Он выбрал ель и сложил к стволу вещи. Под деревом на две сажени в диаметре было совсем сухо.

Когда саперы ушли навстречу госпиталю, к Артюхову вернулся Бородин. Под елью уже дымил костер.

— Привал, значит, — проговорил Михайло, снимая бродни.

— Надо... Пусть задние подтянутся... И сухари перепортить можно. Льет, распроязви его... Эй, Игнаха!

Адъютант Кондаков едва добрался до места. Лошадь он отдал зашибшему ногу бойцу и не хотел признаться, что ему тяжело идти с объемистыми сумками, в неудобных сапогах и шинели.

— Эк, отстряпался,— укорчиво покачал головой Кондратий. — Не дюжой ты, парень. На-ка пожуй да поговорим.

— Само собой, — ответил Кондаков, заваливая за щеку сухарь.

Подходила пехота с завернутыми в тряпье вещами. Бойцы выбирали сухие места под елями и пихтами, добывали живительный огонь.

14

Отряд догоняли беженцы, не успевшие покинуть деревень раньше отступления партизан, выходили из охотничьих избушек скрывавшиеся еще с прошлой весны красногвардейцы. Посидев в тайге, люди боялись одиночества и, махнув на все рукой, приставали к отряду. Дезертиры вливались в свои части, раскаивались. У них отбирали оружие и заставляли нести службу по кухне, по уходу за скотом и прочее.

Рядом с Матреной шла молодая бледнолицая женщина с голубыми печальными глазами и, плача, рассказывала:

— Мы с Васильем, мужем-то моим, все держались тишком да в стороне. Какое, дескать, нам дело до людей. И сама посуди, толь-

ко с ерманской пришел мужик. А тут на тебе, свою войну затеяли, — женщина поджала губы и всхлипнула. Матрена поддержала ее под руку и холодно утешила:

— Береги силу... Наплакаться еще успеешь, если охоча до этого дела.

— Матушка ты моя! Так вот камень давит, давит в грудях. Ну, когда это наши отступили, мы залезли в подполье. Думали отсидимся. А они, штоб им... подожгли деревню. Потом и до нашей избы добрались. Василий как ни просил, нет... Штыком в спину его... Ох, господи-и! Зачем так делается на свете!..

Андрюшка злобно сплюнул:

— Кровожадность... известно, — объяснил он. — Которые отстали — всех покрошат. Сидеть там не надо было.

Сзади рассмеялся толстяк кавалерист в солдатской истрепанной папахе. Кладовщик оглянулся и смело посмотрел в его широкое испачканное грязью лицо.

— Чего ржешь?

— Над твоей храбростью, — скалил зубы кавалерист.

— Над своей похохочи...

Андрюшка увидел, что на задней лошади набочился вьюк и подбежал к ней. Кавалерист обломил хлестнувшую ему по глазам ветку, вслед кладовщику крикнул:

— Винтовки-то бросишь где-нибудь!

Матрена строго оглянулась:

— Если ты еще раз скажешь что-нибудь, то пеняй на себя. — Парень улыбался. Ему хотелось возразить, но не посмел — как-никак Злобина здесь была начальство, а ему не хотелось идти в авангарде, где всяческих случайностей больше.

Ветров поправил вьюк и шел сбоку лошади, широко размахивая руками. Матрена слышала, как он сопел и под нос себе ругался. Голубоглазая беженка, видимо, совсем не понимала своих земляков. «Как можно смеяться, ругаться и заниматься чем-нибудь, когда кругом носится на огненных крыльях смерть!» — очевидно, думала она.

Дождь сыпал часто и мелко. На небе никакого просвета. Вяло, безжизненно повисли ветви деревьев. С трудом вытягивая ноги из грязи, шли с носилками лошади, а за ними едва поспевали насквозь промокшие люди. Сестры, санитары, доктор и Нагнибеда — все шли около носилок. Часто переменялись коноводы. Всякий неумелый поворот лошади грозил катастрофой. В яминах, на взгорках — ежеминутно неполадки: то веревка порвется, то больной ударится спиной о кочку или пень, застонет, сжав зубы. Пары с носилками ежеминутно останавливаются, чтобы подладиться, сменить людей. Задние обгоняют передних. Под тяжестью изнемогают люди и лошади.

Кони сносили копыта. Некоторых лошадей дорезали, и каждый сопровождающий набирал мяса для предстоящего обеда. Впереди группа людей из особого батальона разыскивала место для пристанища. Матрена выделила ее еще с первой стоянки.

В шуме, шлепанье, в криках пропадают стоны раненых. Но удивительно, что и эти полуобреченные люди стонут реже, меньше жалуются на неудобства, как это было в больнице. Обстоятельства заставили мириться со всеми невзгодами.

Только везде поспевающий Лысов или Марта, крикнут:

— Доктора-а!

— Матрену-у!

В этот день умерли еще трое. Но Матрена удивилась, что у нее не нашлось слез. Какими-то путями она внутренне убедила себя, что нужно беречь силы для остальных двухсот больных, что впереди еще будет худшее и оно потребует, может быть, всей жизни. Оторвавшись от привычного места, она начинала понимать, как широк мир и как много в нем дела и места человеку. Незаметно Матрена обретала спокойствие и уверенность.

Значительным казалось ей уже одно то, что отряд в какой-то части сохранился и сумел организовать этот переход через тайгу.

Когда останавливались, Злобина, да и все остальные чувствовали себя хуже и быстро успокаивались, как только начиналось движение вперед, навертывалась непредвиденная работа. Матрена перекладывала, перевязывала раненых, сшивала половики для оборудования носилок, заливала иодом или оленьим рогом обитые спины лошадей.

— Тебя как зовут-то? — обратилась она к голубоглазой беженке.

— Авдотьей... Может, знаешь, из деревни Погодиной... Да ведь ты у нас бывала на сходке.

— Ну-ну, — Матрена задумалась, стараясь что-то припомнить.

Мимо прошли кавалеристы. Парень в солдатской шапке, усмехаясь сказал:

— По своим делам сговариваются.

Но слова до Матрены не дошли. Она взяла за руку Авдотью:

— Ничего, переживем... За нас вся земная сила...

Так они шли не одну-две версты. Матрена слушала, вздыхала и расспрашивала. И сама сознавала, что нет, не угасло в ней, не перебродило то, что называется силой и моло-

достью. Внутри у нее будто кричали два голоса:

«Отжила! — Нет, жить, жить!»

Матрену позвали к Яковлеву. Она посмотрела на измокшую Авдотью и спросила:

— С нами надумала?

— Куда же теперь? Затем пристала...

— Так иди к носилкам и припарись с кем-нибудь.

15

Сырая пихта горела лениво. Дрова кипели, пыхтели. От них отщелкивались угли. Ветра не было, и едучий дым запутывался в бороды, вызывал слезы и чихоту. Кончилось совещание штаба. Командиры ушли к своим частям.

Артюхов дочитал записку, водя по ней пальцем, и передал адъютанту пожелтевшую бумажку, выдранную, судя по славянским буквам, из церковных книг.

— Пришей к делам, а хочешь искури, — небрежно сказал он.

Михайло Бородин подсушивал портянки, с любопытством наблюдая, как из них испарялась сырость.

— От Алехи? — спросил он ординарца, путавшего лошадь.

— От него.

— Чего пишет нового?—Бородин не взглянул на Кондратия, но командующий понял, что вопрос относится к нему. Потянул с углей кусок зажарившегося мяса и ответил:

— Читал и ни черта не расчухал. Пишет, сукин сын, как китаец, — затем сдул с мяса золу и добавил: — Прииск захватил, а радости мало. Запас вывезен, кажется, а больше не разобрал.

— А на границе как?

— Как бабушка такала... Засады... Чего же другого ждать.

Бородин высушил портянки и начал обуваться. Ему хотелось поговорить о скорейшей переброске госпиталя. Но Кондратий хмурился. Его злили и удивленные глаза помощника, и козлиная, не по летам отрощенная, рыжая бородка адъютанта, и боль в левой натруженной ноге.

— Ты обрежь эту кудельку мазаную, — сказал он Кондакову. — Смотреть тошно... Будь бы рыло подходявое для бороды, а то...

Адъютант лукаво улыбался. Раздражение начальника не обижало его. Он знал Артюхова достаточно и понимал его настроение с первого взгляда.

— Чем же мое рыло хуже людских?— Кондаков поднялся: видимо, счел за нужное избавить Кондратия от своего присутствия — и направился к соседнему костру. Проводив его глазами, Артюхов привалился спиной к стволу дерева и далеко отбросил недоеденный кусок. Бородину не терпелось, и чтобы начать разговор, он пожаловался на дождь.

— Льет и льет, братец ты мой. Правильно, для урожая тут настоящая благодать, но каково нам? — и неожиданно высказал сокровенное: — Эх, пашенички нынче не пришлось посеять... Две десятины троеных паров остались. Теперь на них жабрей лупит, поди... Ни зерна не бросил...

У Кондратия хрипнуло в горле. «Не треплись, без тебя муторно», — хотелось сказать, но смолчал, предавшись воспоминаниям. Артюхов после первого спаса посеял рожь на трех небольших полосах. Она быстро разгнездилась. Он просил пастуха загнать на озимь коров, чтобы обредить ее. Кондратий боялся, что рожь подопреет, любовался ею, пока не покрыл поле снег. «Где это все теперь? Кому достанется жать рожь?

По спине Артюхова прошел озноб. Он глухо закашлялся. А когда поднял голову, предупредил Михайлу:

— Ты бы лучше об нашем деле думал. С домашностью простись. Нечего зря барабанить. Скажи лучше: выйдем из этой ямы или нет?

У Бородина зачесалась поясница, растерянно забегали удивленные глаза:

— Тебе виднее... Надо бы выйти...

— Хм... надо бы... Это без тебя знают... А если не вылезем? Если надавят оттуда и отсюда, тогда как? А?

— Тогда, значит...

— Что «значит»? Договаривай.

Кондратий вскочил с налитыми кровью глазами. Таким Бородин его видел редко и немного оробел.

— Сдохнем, думаешь?

— Зачем, всякое бывает... Другой раз совсем туго приходится, а получается на выгоду.

Не поняв, о чем хотел сказать Михайло, Артюхов снял защитную гимнастерку, выхлопал ее и повесил на сук.

— Игнаха! — позвал он так, что у Бородина гулом наполнились уши. Неподалеку кормившийся Соловко поднял голову и с недоумением посмотрел на хозяина. Лошади, видимо, представилось неприятное — поход, стрельба и бескормица.

Кондаков шел, заплетаясь ногами в траве. Но Кондратию казалось, что адъютант стоит на месте.

— Чего ты, как недокормленный, — сердито заметил он.

— Задохся,— сказал Кондаков. — Видишь, сердце бьется.

— Ты с одышкой, видать, и рожден. — Артюхов протянул к костру босые ноги с посинелыми пальцами и показал место около себя. — Садись, разговаривать будем.

Адъютант повиновался. Но медлительность его опять не понравилась Кондратию, искавшему предлог для раздражения.

— Ох, деревянный ты человек. Плохо тебя делали.

Бородин усмехнулся. Натянул сапоги и приготовился слушать. Он догадывался, что Артюхов придумывает что-то неожиданное.

— Ну, вот, — начал Кондратий. — Как ты есть грамотей, то должен объяснить: напишут про нас какую-нибудь там историю или нет?

Озадаченный Кондаков хлопал глазами и теребил бородку. У Бородина сползла с губ улыбка.

— Не знаю, Кондратий Самойлович, вряд ли... В тайге мы находимся... Кабы в городе, там другое дело.

Кондаков хитро посматривал своими проницательными глазами. Не трудно было видеть, что чудачества Артюхова для него не новинка.

— В городе, — передразнил Кондратий. — А ты сам чего не пишешь? — Он уставился глазами на парня и, казалось, не хотел отводить их.

— Да ведь как, Кондратий Самойлович, — притворно певучим голосом оправдывался Игнаха.— Сводки я записывал аккуратно. Но ты сам велел сжечь книги. Ну, я и...

— И!.. Оглобля! — осердился Артюхов. — Вам только скажи... Садись и записывай снова... Историю пиши... Все, как мы таскались здесь целый год... Кровью запиши.

— Не сумею, — отказывался Игнаха. — Сам знаешь грамотешку мою. Березовая.

— Вот так и пиши... Никто нас не побьет... Глотку вырву, если кто заикнется об этом. Не побьют нас! — Он уничтожающе посмотрел на помощников, будто они в чем-нибудь возражали, и поднялся, задевая головой за ветки. Дождевые капли полетели на Бородина.

— Будь ты неладный! — встревожился тот. — Только высушился.

— Высохнешь, не жареный.

Кондратий подошел к соседнему костру и спросил:

— Почему сегодня гармошки не играют?

— Руки не гнутся, — ответил парень с вздернутым носом.

— Да и приказов не было, — заметил второй, прожевывая черемшу.

— Приказы дает штаб. Все пустить на полный ход... Умирать тут нечего. — Кондратий постоял, похмурился и продолжал: — Дорогой я слыхал веселые разговорчики. Коекто звонил, что штаб собирается убегать... А попросту скажем: цикория ломается у людей. Никто убегать не будет и нечего тут панику наводить. Никто нас не уничтожит... Бьют только трусов.

Партизаны заулыбались, но так, чтобы не было заметно. Парень с вздернутым носом полез в мешок за гармошкой, а Кондратий отошел к следующей группе и начал осматривать винтовки.

16

Артюхов вернулся поздно и, разбудив адъютанта, сказал:

— Игнаха, пиши приказ о выступлении. А ты, Михайло, айда назад. Надо Матрену вытаскивать. Режет она нас.

Досада Кондратия остыла. Сделав все распоряжения, он подал Кондакову кисет и пожаловался:

— Разжигают, черти, разговорами. Думают, мне одному больше всех надо. Да если на то пошло, то я первый сдохну, лишь бы людей от беды отвести. Не понимают, что не мы одни на земле маемся. А Москва за кого идет?.. Рабочие?.. То-то и оно. Втолковать всем надо. А я один в поле не воин... Помощь мне нужна от сознательных... От вас.

Игнаха начал писать распоряжение, а Кондратий наказывал Бородину:

— Подтяни там шлею... Чтобы народ строгость понял. Но Мотьшу-то крылять нечего, сама в сознании. Беженцев в образ приведи. Всех заставь работать.

Когда Бородин уехал, Артюхов заново продиктовал адъютанту весь текст приказа и, обняв Кондакова за плечи, признался:

— Скребет у меня, Игнаха, в серелке... Обидно... Хотел губернию взять. Железнодорожники ждали нас. Восстание хотели... А вышел кисель ячменный. Но ничего. Справимся. Дух не надо ронять. Помнишь, как мы первые дни мотались? С тремя дробовиками пошли, а сейчас пулеметы имеем и у каждого винтовка.

Игнаха, конечно, не помнил начала восстания. В это время он был взят новобранцем в колчаковскую армию. Убежал от белых, когда слава о громких делах нахвальского партизанского отряда дошла до казармы. Кондаков сговорил целый взвод и перешел с ним к партизанам. С этого времени Кондратий облюбовал парня и сделал своим адъютантом. Но

сегодня он забыл о первой встрече с Кондаковым.

Игнатий кое-что читал, а у Артюхова была большая потребность в знаниях. Это их сблизило еще больше. Занимательные рассказы и читки доставляли Кондратию в часы досуга большое удовольствие.

Угостив адъютанта чаем, он спросил:

— А ту книжку не сжег? Про Богдана?..

— Нет, с собой, — усмехнулся Кондаков.

— То-то... Ну-ка почитай там дальше.

Игнатий вытащил из сумки томик Сенкевича «Огнем и мечом», добытый какими-то неведомыми путями у одной сельской учительницы. Кондратий старательно подправил костер. Когда Игнаха отыскал нужную страницу, Артюхов подпер ладонями подбородок и сделал серьезное озабоченное лицо. Он смотрел в темноту немигающими широкими глазами. Кругом лениво горели костры, а вокруг них то громко, то тихо переливались песни под гармошки.

Когда Игнаха дочитал главу о поединке Богуна с паном Володыевским, Кондратий остановил его и переспросил:

— Эта кляча победила Богуна?

— Так пишут.

— Врут! Быть не может... Закрой книжку. — Кондратий встал и презрительно посмотрел на томик, исчезнувший в сумке Игнахи.

— Ты скажи: побьют они Богдана или нет?

— Не знаю... Кажется, побьют...

— А ну, загляни в хвост.

Игнаха долго искал нужную страницу. Артюхов нетерпеливо подживлял костер, волновался и тянул из чубука трубки так, что там ворчало и свистело. Адъютант поднял глаза, лицо его было опечалено.

— Ну? — глянул на него Кондратий.

— Да... Расшибли Богдана.

Артюхов протянул руку.

— Дай сюда. — Он бросил книжку в огонь и пояснил: — Вранье нагольно. Не может быть... Богдан хоть за худую, но за волю шел. Вот и мажут его грязью... Как нас же... Отнеси приказ... Едем.

17

После ухода партизан белые — смешанные войска — целые сутки не решались входить в Нахвальное, несмотря на то, что в селе оставались только два старика и несколько заблудившихся собак. Легенда о неприступности центра партизан укоренилась не только у русских, но и у чехов.

Когда белые ворвались в больницу, в ней оказался только один крестьянин, умирающий от чахотки. В пустых палатах гудело от стука шагов, от голосов. Капитан Огурцов с черными бакенбардами выстрелил в умирающего из нагана и отвернулся. Стоявший рядом с ним чешский поручик вытер платком губы, и оба вышли на крыльцо, на котором недавно еще стояла Матрена.

В низине по разрушенному селу бродили солдаты. Их было так много, что офицеры не могли рассмотреть полусгоревшие постройки.

— Где же крепость? — недоумевал чех.

Капитан неестественно рассмеялся.

— Крепости мы выдумываем, поручик... Выдумываем потому, что Артюхова не могли взять... Вот в чем секрет.

— Ой, ой! — качал головой чех.

Белые войска надеялись увидеть большое торговое село, обнесенное каменной стеной, как писалось в газетах. Ни того, ни другого не оказалось. Капитан Огурцов злился:

— Сволочи... Бандиты... А вы знаете, — обратился он к чеху, — девять месяцев он крутил нас по этим горам... Жизни не рады были. Публика на Уральский фронт с удовольствием уезжала отсюда.

— Кто крутил? — не понял чех (он рассматривал в бинокль село).

— Конечно, Артюхов. Помните, в одной деревне домишко его жгли... На реку еще вывозили бревна?

Чешский поручик плохо помнил этот случай, он поправил усы и облизал сухие губы. Впереди за селом темнели леса, горы. За ними небосклон, и на самой грани его выходила тучка, похожая на голову сома. Поручик указал пальцем:

— Там банду не найдешь?

— А мы искать не будем, — сердито ответил капитан. — Очень нужно забираться в берлогу... Курите, поручик.

Капитан открыл портсигар и, глядя на прибывающих в село солдат, долго не мог захватить огрубевшими пальцами папиросу. Денщик в это время принес стол и бумагу. Офицеры сели писать рапорт верховному командованию. Капитан Огурцов крупными буквами вывел титул и задумался. Его большие темные глаза смотрели в одну точку. Чех в записной книжке набрасывал этюды нахвалинского пейзажа, отмахивая дым, мешавший рассматривать горы.

— А знаете, этот Артюхов служил в моей роте унтером, — неожиданно начал капитан Огурцов.

— В ваш? — удивился чех и опять поправил усы.

— Да... В Карпатах вместе были. — Капитан отодвинул бумагу и взял вторую папиросу. Громкий разговор около сгоревшей кухни

на секунду отвлек его внимание. Окружив неизвестно откуда-то появившегося старика, солдаты расспрашивали его. Капитан послал туда денщика и взялся за карандаш.

— Ну и что Артюхов? — напомнил заинтересованный поручик.

— Ничего особенного. Балда, как и все вот эти солдаты... Едва грамотны. Впрочем, дрался и тогда безупречно. Отказать ему нельзя. Одно время замещал командира роты. И вот смотрите, — капитан Огурцов встал и прошелся, уткнув в грудь бороду. — Чего доброго героем здешних мест останется. Целый год посылали на него отряды, и ни один отряд не возвращался. Среди рабочих в городах только и разговоров было о нем. В газетах, в военных сводках на каждом шагу его имя фигурирует. Вот судьба! А я, капитан Огурцов, где буду? Кто обо мне напишет? Никто, доложу я вам. Разве в приказе упомянут иногда,— офицер крепче выбивал шаг, двигался быстрее. Большие его глаза были устремлены в пол. — Да-с. Напишут, что такая-то бригада под командой, допустим, генерала Ошуркова, тогда-то ликвидировала банду Артюхова. А о моем батальоне, о командире его разве упомянут? Конечно же нет. Да если еще разобьют нас на Урале. Черт побери! За что проиграна жизнь!

— А вы думаете, разобьют?— прищурился чешский поручик.

— Чем черт не шутит... Жмут оттуда... Сами видите. Если бы не ваша помощь, то Артюховы разные сидели бы теперь на линии железной дороги. Факт.

Чех захлопнул книжку и улыбнулся в усы.

— Они крестьяне? — указал он на разгромленное село.

— Аллах их разберет. Конечно, у Артюхова поголовное мужичье и рабочие... Но в общем все — сволочь. Мы сами их обучили воевать. Вот что досадно.

— И вы думаете, они не вернутся сюда?

— Шут его знает. Судя по всему, Артюхов отступил в полном порядке.

Как же будете рапорт писать?

Капитан Огурцов надменно рассмеялся и погладил бороду. К крыльцу денщик подвел плешивого перепуганного старика. Но капитан уже начал писать и не удосуживался взглянуть на пленника. Он писал без отрыва, будто давно заученное, и когда кончил, самодовольно откинулся на стуле.

— Вот слушайте. Коротко и сердито.

И он так же одним духом прочитал:

— «Мощным ударом доблестных чехословацких и русских правительственных войск мятежное село Нахвальное взято 15 июня сего года. Банды Артюхова рассеяны и уничтожены. Главари мятежного движения зарезаны самими обманутыми партизанами. В Нахвальской переселенческой больнице красные бросили три сотни трупов. Выяснилось, что Артюхов перед бегством отдал распоряжение об уничтожении раненых. Зверства красных не поддаются описанию. При отступлении они сожгли больше сорока сел Нахвальской и других волостей».

Капитан Огурцов не до конца дочитал рапорт. Он закончил свое послание описанием выдающихся заслуг третьего батальона, которым командовал сам. Но это было неудобно читать чеху, который знал, что третий батальон шел во второй цепи и в село пришел без боя.

Поручик тер пальцами виски. Он старался понять не то, что написано, а почему так написано. Какой смысл, думал он, обманывать начальство, вводить его в заблуждение. Но это объяснил улыбавшийся капитан Огурцов.

— Надо поднимать престиж, — сказал он, не подозревая того, что командир партизан Артюхов, уводя их в тайгу, приказал записать адъютанту Игнахе Кондакову, что отступление прошло в полном порядке, что партизанами в последних боях все же захвачено семь пулеметов без единой ленты патронов.

Так каждый по-своему описывал события. Одновременно Кондратий Артюхов и капитан Огурцов заботились о славе и своих заслугах перед обществом, но только славу и заслуги они расценивали и понимали по-разному.

Капитан опять начал ходить. И говорил чеху:

— Конечно, в действительности, как изволите знать, все не так у нас получилось. Артюхов еще может здесь зашуметь. Но престиж прежде всего. Ведь и с Уральского фронта так же рапортуют. Престиж, милый мой... Пусть комедия, но так велит штаб... Там ведь много комедиантов.

Капитанский взгляд нечаянно упал на трясущегося старика. И начальство обозлилось. Этот старик помешал Огурцову закончить мысль.

— Откуда ты вылупился? — спросил он строго.

Старик смотрел в землю.

— Нищий я, ваше превосходительство... Помирушник... По этим деревнюшкам кормился, а теперь все погорело... Умирать пришел ради Христа... Так-то... вот...

— Пшел вон! — затопал капитан Огурцов.

Чех недоумевающе взглянул на соратника, и в глазах его погасла беспечная развязность. Поручику показалось, что капитан Огурцов в

АНГАРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ОРГАН ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

№ 4 (45)
ОКТЯБРЬ ДЕКАБРЬ
1959

СОДЕРЖАНИЕ

Солодов и Драбаданов плохи. Не выживут. Этот переход попортил все.

Доктор молчал. Было похоже, что ему все равно, какие беды впереди стрясутся с ним и с другими. Теперь бы лечь, где-нибудь, прямо без постели, не раздеваясь, и согреться, спрятаться от шума дождя, от стонов. А каким блаженством было бы послушать треск углей в железной печке, гул в трубе. А на улице пусть свирепствует непогода, кружат снежные вихри, наметывают сугробы.

Такими мыслями был занят уставший мозг этого терпеливого человека. Неподвижные глаза Семенова были направлены на проворно работавшие руки Андрюшки и будто говорили: «Какой смысл во всей этой суетне? Зачем?»

Доктор все же подошел к огню и лег спиной к теплу. Матрена не могла успокоиться, пока не разожгли костров около каждых носилок. Но огонь нужно было поддерживать ежеминутно, оберегать от дождя. И работники госпиталя вынуждены были назначить очереди для отдыха.

Среди больных появилась малярия. От ангины, от воспаления легких и от разболевшихся ран чуть не половина госпиталя металась в жару.

Когда Матрена подошла к костру, у доктора качнулась голова и повалилась к земле. Марта накрыла его каким-то тряпьем, сокрушенно вздохнула:

— Если она свалится, тогда всех нас бросай.

Наступила непроглядная дождливая ночь. Набухшая сыростью тайга почти не пропускала звуков. И в этой жути Матрена еще раз вспомнила предложение Нагнибеды: «а если отравить?»

Матрена дрожала, будто из нее внезапно взяли все тепло, обескровили. Она села около доктора и стала смотреть в огонь. Какая-то мысль все время тревожила ее. Что-то не было доделано. Это важное нужно бы сообщить кому-то. Но оно вылетело из памяти. Матрена сжимала ладонями отупевшую голову. Ныл мозжечок, стучало в висках. Она не слышала, как с веток падали капли. Хоть бы короткий, живительный сон помог стряхнуть эту тяжесть.

Доктор лежал, подогнув ноги, все еще спиной к огню и преодолевая дрожь. Матрена положила руку на его голову. Она была горяча. Хотела разбудить и пожалела. В эту именно минуту Матрена вспомнила о «важном» деле, то есть о разговоре с доктором о Яковлеве. Она оглянулась на шорох шагов. Подошел Ветров.

— А я тебя ищу, — охрипшим голосом начал он. — Надо варить больным завтрак. Смотри, светать начинает. Но у нас ни муки, ни крупы. Одна голая конина.

— Соли тоже нет, — следя за ходом какой-то посторонней мысли, проговорила Матрена, зная, что соли не было еще в Нахвальном.

Ветров погрел над костром руки, посидел, опустив мохнатую голову. Матрена подвинулась к нему и поделилась своим:

— Макару-то надо операцию делать... Ногу отнимать. Вчера доктор сказал, что заражение начинается. Советовался, а у меня все из ума валится. Забыла поговорить с Михайлой Бородиным. А ну, как несчастье какое. Что скажет штаб?..

Андрюшка смотрел в упавшую за костром темноту и дремал, едва ли понимая сказанное.

— Что же ты молчишь? — добивалась Матрена.

— Слов не подберу, — почесал в голове кладовщик. — Тебе госпиталь препоручен, ну и действуй. Если доктор говорит, то, стало быть, надо...

Матрена задумалась. Хотелось сказать многое, вместе обсудить. Не погубит ли она начальника штаба, если даст согласие на операцию? Выдержит ли Яковлев, сильно ослабевший за последние сутки? Наконец, разумно ли без приспособлений оперировать? Правда, в Заливаевской больнице десятки сложных операций прошли благополучно. Но ведь тогда все было на месте. Кто знает, какие думки держат теперь медицинские работники? Возьмутся ли делать операцию?

— Ведь вот Казаровского и Носкова вылечили же, — начала она больше для самоуспокоения, чем для убеждения Андрюшки. — А ну, если умрет от заражения крови?

— Надо резать, — безразлично ответил Ветров.

— Поговорю еще с Мартой и доктором.— Матрена поднялась и добавила: — Видишь ли, Михайло не велел замешкиваться... Провдем здесь время, а из-за нас передние задерживаются.

Андрюшка промолчал, и от этого у Матрены захолодело сердце. Ей одной предстояло решить такой важный вопрос.

20

А впереди стучали топоры, звуки их в ненастье были мягки и недалеко слышны. Но и они вносили некоторое оживление в ряды движущихся по узкой просеке людей.

Впереди пехоты, ведя в поводу лошадь,

шагал командир Артюхов. Ворот его защитной гимнастерки был расстегнут на все пуговицы. От дождя и пота солдатская фуражка потеряла фасон и лежала на затылке старым разбухшим грибом.

— Далеко отстанет, — говорил он Бородину, — с приисков надо послать свежих коней... Только неизвестно, что там оставили нам господа... Этот шалопай Хмелев никогда толком донесения не сделает. Прогнать бы, да кем такого черта заменишь...

— Не заменишь, — соглашался Бородин, едва поспевая держаться рядом с командиром. Михайло был в том состоянии духа, когда человеку не нужно думать, когда за него все передумано и есть уверенность, что дело пойдет гладко, без его вмешательства. Так он начал чувствовать себя после покинутой стоянки, когда с приисков двое бежавших рабочих сообщили, что из приграничной полосы несколько дней подряд уезжают семьи военнослужащих и что свежие войска белых с низовий Енисея не прибывали.

На полузаброшенных приисках Артюхова ждали. Часть рабочих во избежание ареста скрылась, в тайгу. Предвиделось пополнение партизанских рядов.

Кондратий пустил лошадь сзади себя и, сорвав с наклонившейся сосенки ветку, сказал:

— Если их, этих чехов, здесь нет, то пробьемся свободно. Только бы успеть вовремя... А там развернем дело. Монголы, слышь, не в ладу с колчаковцами... Сдадим Матренину телегу им под охрану и начнем громить беляков налетами... В газетах вычитал, что Красная Армия на Иртыш движется. Смотри, как бы мы к зиме-то в свои места не попали...

— Очень свободно, — поддакивал Бородин. — Соли бы заграбастать где-нибудь... Еда в нутро не лезет...

— Соли добудем... У монголов ее в озерах руками, говорят, добывают... — Кондратий глянул вперед и остановился. Соловко ткнул его мордой в спину, затем нагнул голову и опасливо сорвал клок придорожной травы. Впереди, около расчищавших дорогу партизан, остановился верховой.

— Смотри, кажется, нарочный от Алешки, — указал Кондратий.

— Он и есть... Васька Казарский... Вишь, морда широкая.

Казарский подъехал к Артюхову и развязно заговорил:

— Там ждут тебя... Собрание было... все рабочие присоединяются...

— А те где? — Под этими «те» Артюхов подразумевал белых пограничников.

— Неизвестно... Алеха Хмелев сам уехал в разведку, а тебе, — кавалерист вытащил из кармана шинели блестящий браунинг и подал его командующему, — тебе подарок велел передать.

— Чего-нибудь наколбасил? — двинул бровями Артюхов. — Говори, что?

— Да ничего особенного... С охраной ихней столкнулись... Ну и...

— Поклали? — договорил Кондратий и опять осмотрел револьвер.

— Человек пятнадцать всего, — признался Казарский. — В бой полезли... Но трусы несусветные... Мы их почти на ура взяли... Все винтовки и два ящика патронов отшибли...

Артюхов видел, что парень хочет запутать какую-то главную мысль, что говорит все не то, и погрозил пальцем:

— Смотрите... Разузнаю — не просите спасу.

— Да ничего и не было... Ну, вот спирт рабочим роздали... Так это не Алехина вина... Сами требовали... Когда мы зашли, там уже на одном прииске началась попойка.

— И вы не могли остановить?..

Кондратий взял под уздцы Соловка и свободной рукой махнул отставшему Кондакову. Когда адъютант подошел, Артюхов сказал:

— Придется говорить с рабочими... Ты подготовься, чтобы, значит, ловчее. Агитировать их нечего, но надо чтобы знали, кто мы и за что бьемся. Ждем, мол, Красную Армию из Москвы и тому подобное... У тебя может не плохо получиться.

У адъютанта расправлялись мелкие морщинки на измятом лице. Видно было, что поручением он доволен, но не преминул сказать:

— Они ждут тебя, Кондратий Самойлович... Это надо так понимать... Про твою армию писали в газетах... Наверное, все читали... Обязательно должны вызвать тебя...

— Ну, не канючь, — с притворной строгостью глянул Артюхов. — Мне и так придется говорить... Знаю... А ты делай, что приказано... В книжечку запиши, так-то важнее выйдет. Будут знать, что у нас все, как у настоящей армии.

Кондратий оглянулся на ехавшего сзади Казарского и остановился, чтобы обождать его.

— Дай коню вздохнуть, — сказал он, проводя рукой по мокрой шее. — Видишь, сноровки не хватает... Эх, вояки... Заморишь, а потом на березовом прутике в атаку... Будто не из деревни. Никакого понятия у людей нет.

Кавалерист быстро соскочил и пошел сзади. Он чувствовал, что Кондратий пожурил

только для того, чтобы этим положить начало более существенному разговору. Артюхов достал из кобуры револьвер и, полюбовавшись им, спросил:

— У начальника отняли?

На широком лице Казарского расплылась улыбка (после ранения осколком в голову у него немного стало перекашивать рот).

— Офицера Хмелев прижал... Сын, сказывали, приискателя. Алеха сапоги и обмундировку его использовал. Раздетый был парень... — Казарский этими словами старался заранее снискать извинение своему командиру.

Артюхов давно добивался, чтобы все трофеи сдавались в военно-хозяйственный отдел, и не терпел самочинства. За самовольное присвоение вещей он перед отступлением настоял выгнать из отряда одного командира роты. И сегодня велел Игнатию записать на память случай с револьвером.

— Как там рабочие, все остались на месте? — расспрашивал Казарского.

— Будто все... С одного прииска только силой увезли.

— А как они говорят о нас?.. Слыхали что-нибудь?

— Как же... Знают, что ты командуешь, и только разговоров, чтобы посмотреть... Там тебя таким героем считают, и не выскажешь...

Кондратий сделал строгое лицо, но не мог скрыть улыбки. Его светлые немного выпуклые глаза как будто говорили: «Знаю, знаю, что ты прикрашиваешь, но меня не проведешь». Он повернулся к Бородину:

— Как там народ? Надо бы подтянуть... Чтобы повеселее ребята шагали. Пусть песенники подберутся... Дух надо держать...

Дождь переставал. И только с деревьев все еще окатывало людей.

Вскоре открылась зеленая поляна, кое-где усеянная редкими кривыми соснами. Начиналась территория первого прииска. На опушке леса собирались люди. Кондратий открыл рот. Что-то хотел сказать, но не мог. Вдруг почувствовал волнение. Там были свои. «Как они живут под властью врага? Что думают?» Целый год никто из партизан не встречался с рабочими.

Сзади запели. Удивленный этим, позабыв о приказании, отданном Бородину, Артюхов оглянулся и широко заулыбался. Партизаны шли бодрее. Некоторые пытались даже держать военную выправку. Обтирали руками грязь с лиц, обмывали их водой с веток. Другие подтягивали пояса, заправляли за голенища высунувшиеся онучи.

— Сядь на коня, — сказал Артюхов адъютанту.

— А зачем?

— Для виду... Чтобы сразу узнали штаб.

В словах Кондратия прозвучала торжественная нотка. Перед рабочими не ощущал робости и не боялся предстоящего выступления, но сегодня волновался от радости. Не мастер был говорить, хотя всегда воображал себя оратором.

Командующий только тогда вспомнил, что у него в полках есть знамена, когда увидел красный флаг, высоко взметнувшийся над головами встречающих. Он удилами поднял голову Соловка и закричал:

— Игнаха, почему у нас нет?

— Из памяти вышибло, — ответил адъютант.

— То-то... У вас все вышибает... Человеки! Обо всем думай сам...

Но Кондаков понимал, что Кондратию вообще о чем-то надо было говорить, чтобы набраться смелости. Сам бы он, конечно, тоже не догадался поднять знамена. До этого ли было! Кроме того, никто не ожидал, что полуразбитый, потерявший боевое значение отряд будут встречать, да еще с почестями.

— Вишь ты, не боятся, — продолжал Кондратий дрожащим голосом. — Видно людей... значит, за нас... От белых разбежались бы... Это что же! — Артюхов по привычке сделал козырьком над глазами ладонь и засмеялся. — Да ведь они с ружьями! Это Алешка организовал. Вот красная рожа!

Впереди встречающих стояли десятка три вооруженных горняков. Рослый шахтер с черными вздыбленными волосами держал красное знамя. Его оголенные до локтей загорелые руки казались просмоленными. И тут же в офицерском френче, галифе и фуражке держал на караул клинок коренастый и краснолицый командир кавалерии. Он улыбался во всю широкую физиономию и что-то говорил выстроившемуся эскадрону.

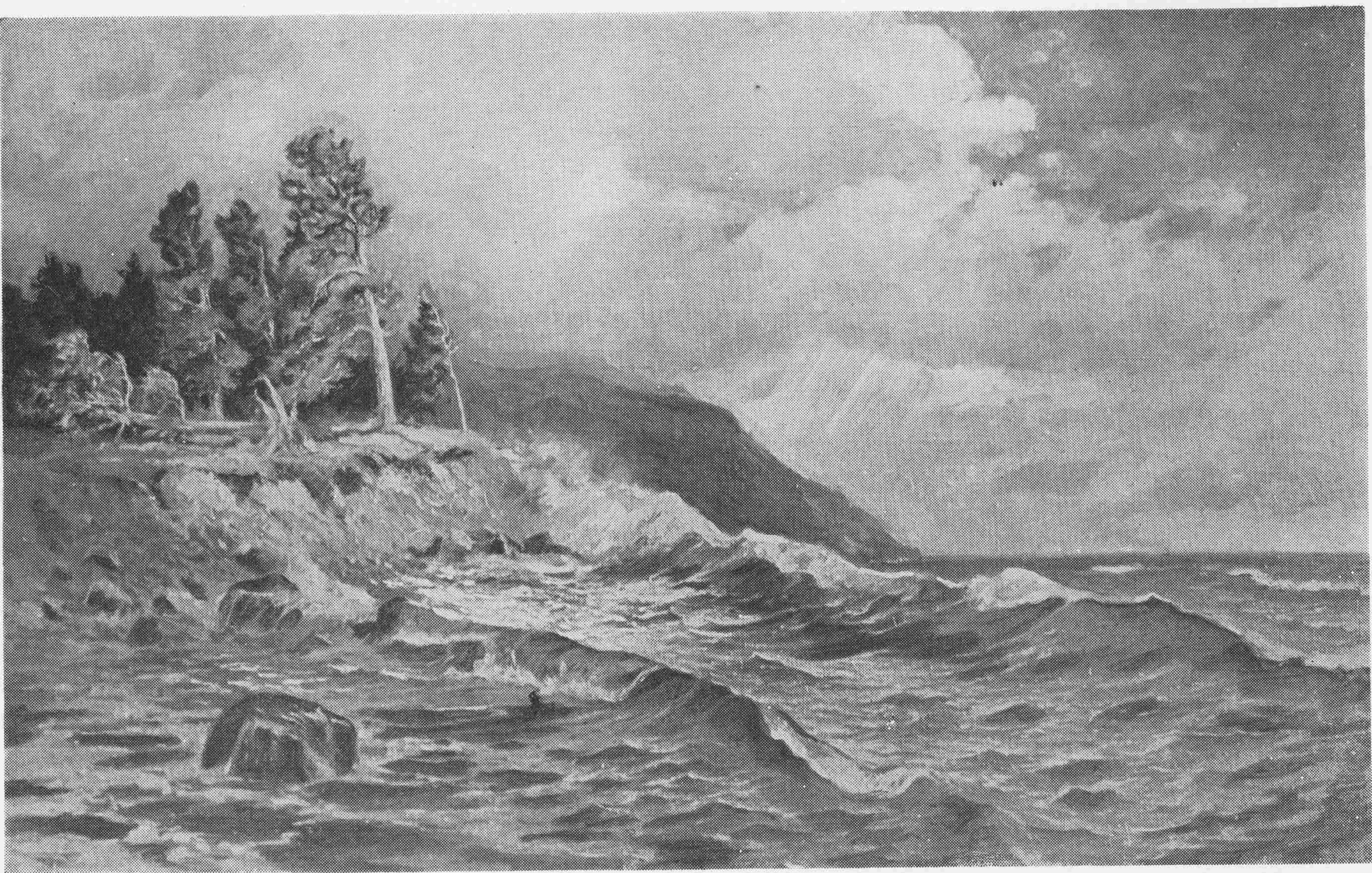
— Смотри, сволочь-то что делает! — указал Кондратий.

— А что? — не понял адъютант.

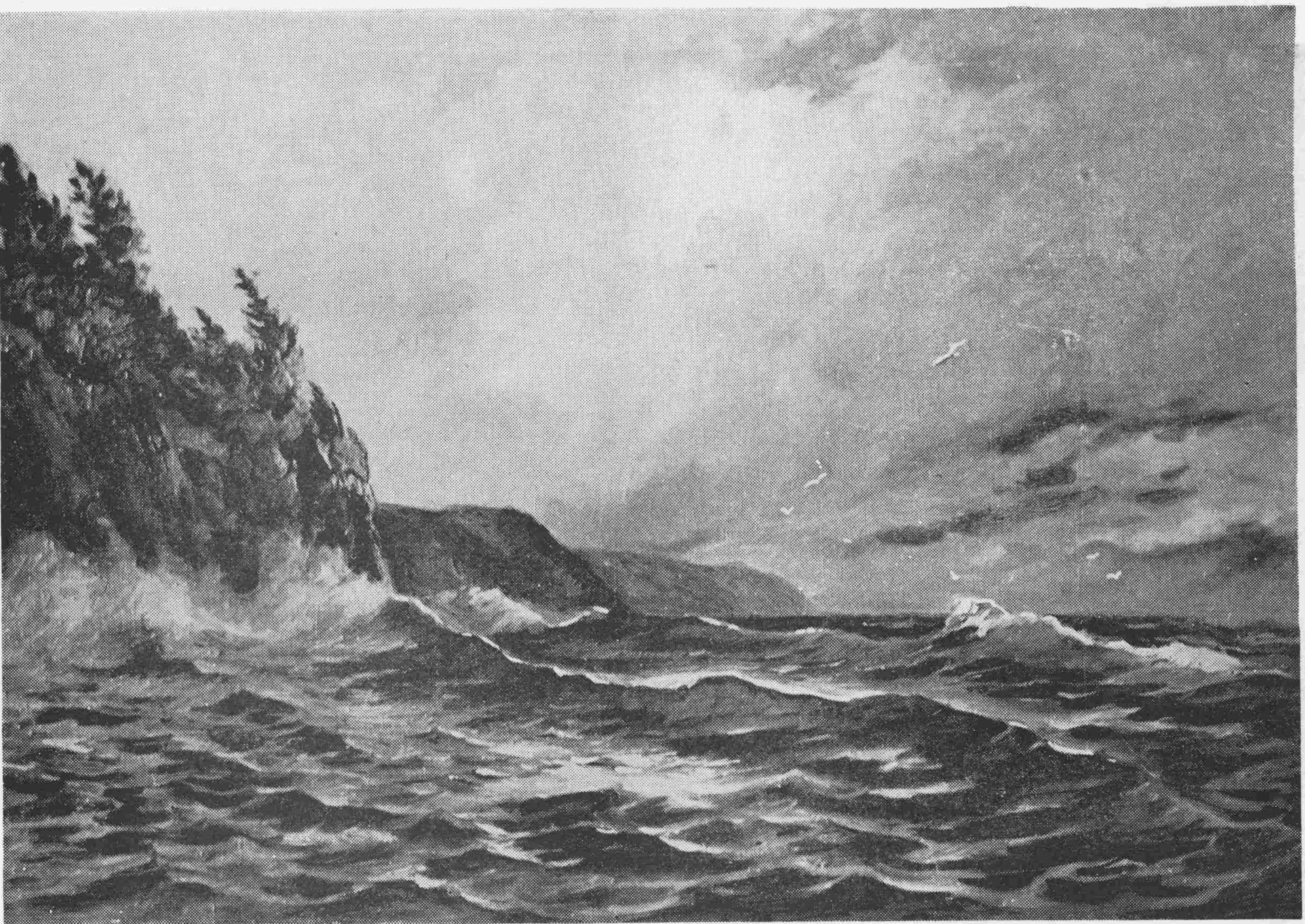
— Ослеп... Алешку не видишь?

И только теперь Игнаха увидел офицерский мундир на приподнятых широких плечах Хмелева.

Крики приветствия, заглушая звенящую песню, грозно и радостно встревожили молчаливые дебри. Кондратий невольно потянул за узду, снял фуражку. По его морщинистому лбу пробежала тень, а глаза светились и улыбались, не знали, на каком из сотен этих лиц остановиться. И вот эта небольшая груп-



Б. И. Лебединский. **ПРИШЕЛ БАРГУЗИН**. Масло.



Б. И. Лебединский. **БАЙКАЛ ПРОЯСНЯЕТСЯ**. Масло.

па людей в сибирской тайге напомнила Артюхову взятие Зимнего дворца. В этом деле Кондратию довелось участвовать лично, и все детали, все мелкие подробности тех дней он сохранил в памяти бережливее, чем события империалистической войны.

Артюхов остановил взгляд на шахтере, державшем красное знамя. Тот в это же мгновение тряхнул волосатой головой и мощным баритоном выкрикнул:

— Да здравствует командир партизан!

«Вон как! — подумал Кондратий, — нет, это они уж слишком». Но почувствовал, как теплая кровь ударила в сердце, в виски, и сразу покраснел. Неужели правда, что он командир? И Кондратию припомнились незабываемые победы над польскими легионерами, сербами, итальянцами. О русских белогвардейских отрядах, уничтоженных партизанами, не хотелось и думать. «Значит, правда, — думал Кондратий. — Значит, есть за что чествовать... Знают, знают о делах его отряда... Не пропадет дело партизан».

Державший знамя шахтер еще долго провозглашал здравицу: рабочему классу, партии большевиков, революционному крестьянству и советской власти. Дружные крики горняков и подходивших партизан разливались мощной волной все шире и глубже. Все больше скапливались встречающие. И вдруг, чего никак не ожидал Кондратий, маленькая старушка с лицом, на котором приметнее всего торчал длинный нос, пошла к нему с караваем хлеба.

Кругом все умолкло. Старушка шла неторопливо, вперевалку, как ходят люди, у которых болит спина, и все смотрела в бородатое лицо Кондратия слипающимися от слез глазами.

Соловко сначала косил на нее желтоватым глазом, затем стал принюхиваться и потянулся мокрыми губами к хлебу. Кондратий уронил фуражку. А когда брал хлеб, не понимал, отчего закружилась голова и тряслись, как у больного, руки. Он не знал, куда девать каравай, и смешно повертывал голову то в одну, то в другую сторону. Зато знал, что делать с хлебом, Соловко. Загнув шею, лошадь сладко вдыхала запах каравая, пускала зеленую слюну и коротко ржала.

Кондратия выручил Игнаха. Дернув его за голенища сапога, адъютант напомнил:

— Речь тебе держать надо... Речь...

— Знаю! — Кондратий, сдвинув брови, смотрел в продолговатое, тощее лицо адъютанта. В этом взгляде был упрек. Он будто говорил: «Да разве мое это дело? Таким, как ты, надо в подобных случаях выручать. А мое дело другое... Вот скомандовать, кинуться вперед, увлекая за собой этих ребят, — тут уж я не сробею и не буду никого просить».

Кондратий почувствовал, что слишком долго заставил ждать горняков и передал хлеб Игнахе. Соловко, будто поняв желание хозяина, рванул повода и подошел ближе к первой группе людей. К этому времени из тайги вышли на луг почти все партизанские части, не хватало только госпиталя.

Артюхов поднял руку и низко поклонился горнякам.

— Спасибо, товарищи, — сказал он негромким дрожащим голосом. — Спасибо от всего отряда. Я что! — голос Кондратия сорвался с низкой ноты. — Вот если бы не вы, рабочие, и не эти ребята, — он указал на выстраивающихся партизан, — вот если бы не вы, то меня бы и в помине не знали. Одно слово: люди. Сдохни я, — найдется другой... Вот что... Так я говорю?

По рядам горняков громко откликнулось:

— А-а-а-а!

— Товарищи, — продолжал Кондратий уже окрепшим голосом, — говорить много не умею. Чего тут болтать. Линия у нас одна. У кого есть винтовки и совесть, тот должен пойти с нами. Учить вас в этом нечего, раз вы пролетариат. Ходим мы не по гладким дорогам, в этом вперед упреждаем. У кого не крепки руки — отходи в сторону. Нам нужны люди с кровью и с головой. Сами знаете партизанскую культурность. Все, как я. По звездам читаем, по бороздам пишем. И еще надо сказать, что у нас позади тащится госпиталь. Там двести человек на ладан дышут. Лучшие ребята, пошли с первого разу... Помогите, товарищи! — Кондратий опять поклонился и, смущенный криками, стал искать фуражку.

21

А в это время капитан Огурцов сидел в каюте первого класса, развалившись на обтянутом шевровой кожей диване, и мутными глазами смотрел на молодого казачьего офицера с взъерошенным чубом и смелыми глазами. Между ними на столике стояла бутылка коньяку, на тарелке ветчина, на другой — кетовая икра, приправленная зеленым луком. Тут же рассыпанный легкий табак и папиросные гильзы.

Казачий есаул составлял полную противоположность спутнику. Немного захмелевший и подвижный, он находился в том состоянии духа, когда впереди не предвидится никаких бед и огорчений, а позади еще не померкли испытанные радости. Есаул Мошкин был произведен в этот чин в колчаковские времена за

свержение уездного Совета и за подавление только что начинавшегося восстания крестьян в одной из волостей. Пафос победителя с тех пор сросся с его осанкой, покойной и величественной, какие бывают у почтенных генералов, с плавным, однотонным, немного низким голосом. Впрочем, есаул — это не трудно было почувствовать с первого знакомства — нарочито басил, желая казаться старше своих двадцати семи лет. В его холодном взгляде проскальзывало самодовольство, какая-то хвастливая черточка, сознание своего превосходства вот над этим седеющим капитаном Огурцовым, не сумевшим даже в империалистическую войну «заколотить» полковника.

Пароход «Россия» двигался медленно. Сжатый высокими скалами Енисей быстро катил пенистые волны, местами раздваивал фарватер, сбивая с толку капитана. Пароход был перегружен войсками и боеприпасами. Пехота, под начальством генерала Попова, соединенная из разных отдыхающих в тылу частей, ехала на подводах и пароходом, как говорилось в приказе, добивать банды Артюхова. В составе их были новобранцы, выловленные по лесам и заимкам, рота цензовиков-гимназистов, плохо обученная, и мобилизованные унтер-офицеры. Левым берегом Енисея шли, опередив пароход, форсированным маршем енисейские казаки.

На нижней палубе и в трюмах пели и дебоширили пьяные солдаты. Прислушиваясь к этому шуму, капитан Огурцов говорил:

— Мне этот Артюхов вот где сидит... Всю зиму, в дьявольские морозы, не давал ни одного дня покоя. Два раза обмораживался. Извольте видеть это пятно, — капитан показал на щеку, где кожа была темнее и собрана чуть заметными морщинами. — Это когда он расшиб итальянцев в деревне Подтелковой... Целую ночь пришлось пешком удирать до станции... А какие за это награды, спрошу я вас?.. Получил выговор в приказе, вот и все... Нет, мне решительно не везет... Думал в отставку, но какие тут к черту отставки... Может быть, и сдохнешь где-нибудь под колодиной, волки мясо сожрут.

Есаул курил, держа ногу на ноге, и холодными насмешливыми глазами время от времени смотрел в полнеющее, неприятное лицо капитана.

— Не портите себе здоровья, — баском заметил он, — Артюхову теперь конец... А на главный фронт, наверное, будут брошены чехи... Еще ничего не значит, что войска верховного правителя временно отошли от Урала. В военном деле не без этого... С ликвидацией внутренних фронтов успешнее пойдет дело на западе. Я в этом не сомневаюсь.

Огурцов медленно потянул из бокала коньяк и отрицательно покачал головой.

— Не верится что-то больше в успех нашего оружия. Посудите сами, на нас поднялась вся страна. И от этого временами становится страшно. Поверите ли, я часто смотрю на свой браунинг и думаю: не лучше ли сразу прекратить это подлое существование...

Капитан встал и коленкой чуть не столкнул стол. Есаул невесело рассмеялся:

— Тише, тише, капитан Огурцов, — он взглянул в приоткрытую дверь и громко захлопнул ее. — Знаете, — продолжал Мошкин, садясь на прежнее место, — вот такие настроения губят армию. Ну, солдатам простительно, а офицерству — позор. — Есаул подлил себе вина и поддел на кончик ножа икры. — Это у нас пройдет. А на Артюхове мы повысим свои акции... Уверен... Банда в ловушке.

Капитан сморщился и замахал руками.

— Не говорите, не говорите, есаул! Кругом ложь. Все построено на лжи. Я тоже верил, но... Нет, жутко. Посмотрите на наши верхи. Чины, награды, порки и расстрелы. А что для этого разнесчастного так называемого народа? Ничего. Конечно, никаких свобод давать ему не собирались, но зачем же кричать о них, о каком-то земском соборе. В военных сводках сплошное вранье. Чудно на свете. Знаете, если нас бьют, то мы непременно кричим ура. Если мы голодны — непременно надо кричать, что объедаемся. Ну и эта вот фабрикация великих людей. Сегодня гений, а завтра этот гений слетел и попал в дураки, в негодяи. Зачем все это? Политика, скажете? Так! Но тогда называйте вещи прямо жульничеством, вот.

— Философия у вас, капитан, — усмехнулся Мошкин. Он глубже завалился на диван и прищуренными глазами посмотрел на собеседника. Если бы капитан Огурцов был попрозорливее, он увидел бы, что этот молодой выскочка жестоко смеется над ним. Мошкин, конечно, понимал, что слова капитана частично относятся и к нему, но не считал нужным сердиться и оспаривать собеседника. Есаул считал, что Огурцов человек конченный и едва ли когда-нибудь получит полковника.

— Не политика у наших верхов, а сплошная подлость! — капитан прошелся до порога и плюнул в раковину умывальника. — Так было и так есть. Одних казнокрадов и мерзавцев сменяют, другие садятся на их место. А ты за их благополучие, за их славу изволь скитаться под пулями партизан. Да еще того гляди свои солдаты затылок штыком проткнут. Так

уже было не один раз. Помните поручика Белова? Справедливость где? Я служу двадцать лет, переношу все лишения, имею специальное военное образование — и вот подите. Все забыто. А чины и награды схватывают ловкие мальчики за одно грошевое дело. Ну, скажите, справедливо это?

— Ну, это вы того... Под большевистскую заплясали, — есаул запустил пальцы в густые вьющиеся волосы и поднялся. — С такими настроениями, говорю, вам не стоило ехать на подавление банды...

— Да разве я один сужу так? — капитан приложил к груди руки.— Помилуйте, все солдаты и значительная часть офицеров не верят в победу. Только штабные... Надоело всем... Вот, слышите?

Внизу, на палубе и в трюмах, загремели пьяные голоса. Один за другим щелкнули два выстрела.

— Кто им дал водки? — закричал побледневший есаул.

— Сами из города захватили, — жестко ответил капитан. — Разве у нас есть дисциплина?.. Нет, дорогой, порядка больше у Артюхова... Вот увидите. А ну-ка я узнаю, в чем там...

Огурцов вышел из каюты, припадая на левую ногу. Мошкин слышал, как в коленях у него щелкало. Глядя на измятый мундир капитана, на облезлую кожу комбинированных галифе, есаул подавил брезгливое чувство. Капитан с его разбитой походкой и неопрятностью напоминал заезженную клячу. Это был тип заурядного офицера, потерявшего веру в то, что когда-то будет лучше.

Мошкин надменно смотрел в окно. Пароход миновал скалы и проходил мимо деревни, в которой есаул когда-то учительствовал. Он по сводкам контрразведки знал, что часть мужиков из деревни ушла в отряд Артюхова. Мошкину поручено было проверить это и конфисковать их имущество. Как ни старался он убедить себя, что в военном деле, особенно с красными, церемониться не следует, но какое-то неприятное чувство тревожило есаула. Какникак он когда-то был народным учителем, сторонником учредительного собрания. А теперь вот с сотней казаков ехал подавлять мужиков. Почему так случилось? Кто он теперь? Во имя чего действует и куда идет?

— Лучше не думать, — вслух сказал он.— Да, лучше не философствовать.

Но слова капитана Огурцова звенели в ушах. Есаулу вспомнился разговор в городе с генералом Поповым. Тот сказал: «А на западе у нас того... Красные наглеют, батенька. Но бог милостив».

— Смилуется, — усмехнулся Мошкин, застегивая френч английского сукна. Кроме того, генерал намекнул, что в случае чего не худо иметь в виду Монголию. Есаул понимал этот намек. Попов хотел сказать, что если белая армия будет разгромлена, они могут беспрепятственно скрыться в Монголию. Но Мошкина это не устраивало. Ему не хотелось думать, что это случится, что карьера его закончится есаульским чином. Но главное было еще не в этом. Мошкин не мог себе представить, что бы он стал делать без войны, без громких банкетов, не удивляя людей своими «подвигами».

На правом берегу за группой зеленеющих тополей виднелась пристань. Здесь нужно было выходить. Вернулся Огурцов. У него было бледное лицо и взъерошенные бакенбарды.

— Св-волочи! Негодяи!— задыхался он.

— Что там? — обеспокоился есаул.

— Драка с матросами. Вся команда на пароходе подозрительная. Представьте, новобранцы вместе с матросами напали на унтерофицера Яшкина и сбросили его в реку. Каково?

— Расстрелять! — топнул Мошкин. Но, видя выражение безнадежности на лице капитана, остыл и начал пристегивать портупею.

Пароход повернул к пристани.

22

Небо начало очищаться от туч. Это случилось через сутки после той ночи, когда Матрена в одиночку решала делать или не делать Яковлеву операцию.

Лысов поднял голову. Его белесая, скатавшаяся борода легла на груди веером.

— Вёдро будет, ребята, — ободряюще сказал он. — Слава богу.

— Жди от своего бога, — буркнул Андрюшка, выкраивая поршни из сырой кожи.

— А ты помолчал бы, немоляга. Кажный про себя знает. Без бога-то мы вряд ли вылезли бы отсюда.

Подошла Марта и села на обрубок рядом с Ветровым. Мясистое лицо сестры, как всегда, было сердито. Холодно, не мигая, смотрели глаза. Они не шли к этому грубоватому лицу примерно так же, как хорошие пуговицы к платью из дешевенькой материи.

— Штаб не ждут нас, — сказала она, ни на кого не глядя. Андрюшка в это время уколол шилом палец и обозлился:

— Чего ты гудишь под руку. Все будем распоряжаться. Не знает Артюхов, что делать без вас?

Марта и теперь не взглянула на него. По всему было видно, что ни в какие споры она

вступать сегодня не желала. Ее, как и Лысова с Ветровым, пригласила сюда Матрена. Из этой четверки и доктора в таежном походе составился совет госпиталя. В него Матрена ввела еще двоих выздоравливающих. Лысов был на особом счету. Два сына в отряде и старуха с девочкой около носилок давали ему право на доверие и уважение. Без Куприяна временами Матрена не знала, что делать. В нужные моменты он, как опытный таежник, находил выход из затруднений, неустанно поспевал на помощь там, где в ней нуждались. По дороге он забил для госпиталя своих двух коров, которых хотел сохранить до благоприятных времен.

Матрена пришла, забрызганная росой, с непокрытыми мокрыми волосами.

— Что же огонек не разживете? — сказала она.

— И так жарко, — зевнул Ветров, — теплынь вона какая.

— Веселее с огнем, и посушиться надо.

Лысов поднялся, выгнул болевшую спину и полез в кусты.

А когда между густых деревьев потянуло дымом, пахнущим смолой, Матрена начала:

— Надумала я... Что будет, то и будь. Пусть голову тогда снимают. Глядеть на Макара не могу. И доктор напирает.

Все помолчали, как это бывает перед решением трудного вопроса. Андрюшка примеривал новые поршни, показывая этим, что он занят и предоставляет судить о деле другим. Лысов набивал сосновой корой трубку, а Марта не двигалась, и казалось, что ее здесь совсем нет.

В эту ночь крепко спали больные и прислуга. В тайге потеплело настолько, что многие лежали без верхних рубах. Брусничник и мох густо покрывали сопку, на которой расположился госпиталь.

На еланке, недалеко от становища, паслись остатки коней. Одна из лошадей болела, и стон ее был похож на отдаленный звук сирены. Брезжил рассвет.

— Стало быть, доктора толкуют... — начал Лысов, перехватывая чубук губами.

— Докучают мне... Оба... Говорят, опасно терпеть дальше. Доктор говорит, что может пристать, как ее, гангрена какая-то. Мол, больше суток не выдержит Макар. Кровь начнет портиться.

— Гляди, им виднее.

— Да я уже пошла на то.

Матрена быстро оглянула собеседников. От огня лица их были розово-зелеными. Она говорила отчасти не то, о чем думала. Она ждала советов, надеялась, что приедет кто-нибудь из штаба и поможет. Но, конечно же, из штаба никого послать не могли, тем более когда устанавливалась погода.

— У него, говорят, семья есть, — сказал Андрюшка, сам не помышляя, в какой это связи находится с переживаниями Матрены.

— У отца его семь человек, — ответила Марта. — Я был у них дома.

Ветров невесело усмехнулся:

— Коверкат, черт ее знат как. «Я был». Эх!

Марта промолчала. Она и тут не считала нужным ссориться. Отношение к Андрюшке изменилось, и люди увидели, что они были не правы, создав о нем плохое мнение.

Матрена не заметила, как над вершинами деревьев появилось солнце. От земли поднимался туман. На еланке не стало видно лошадей. Раненые еще спали. Около носилок Яковлева стояли доктор и Нагнибеда. Шатаясь и зацепляя ногами за кусты брусничника, Матрена подошла к больному.

— Ну, как? — она взглянула на посиневшее лицо Макара и поежилась, как от внезапной боли. У Яковлева возбужденно горели глаза и золотистыми нитями торчала небритая борода. «Не жилец», — подумала она.

Доктор повернулся к ней и тихо сказал:

— Процесс обостряется... Боюсь, что мы опоздаем.

Это прозвучало для Матрены, как раскаты грома. Она с трудом поняла жалобу Нагнибеды, когда фельдшер сказал, что все случается оттого, что такие дела решают люди, ничего общего не имеющие с медициной, а отвечать должны другие.

Матрена, не глядя на него, решительно проговорила:

— Режьте.

23

Больного уложили под двумя кедрами, стоявшими по соседству. Лысов и сестры руками выдрали из земли мешавший брусничник. Матрена и Ветров из простыни сделали шалаш, над которым тотчас же запищали таежные комары.

Около костра Семенов и фельдшер готовились к необычной операции. По осунувшемуся лицу доктора Матрена пыталась угадать ее исход. Но на нем, кроме смертельной усталости, ничего нельзя было прочитать. Затем она поливала из баллона на трясущиеся руки доктора сулемовый раствор и соображала только одно, как тяжело и нелепо хирургу приниматься за операцию с подобными приспособлениями. Матрена уже обдумывала,

как ей защищать Семенова в случае катастрофы, когда он сказал:

— Товарищ Злобина, вы будете держать больного под наркозом. — И Матрена поняла, что доктор опасается за операцию, что ему нужны ответственные свидетели. Иначе какой бы смысл поручать это. Но сама она в поступках врача не видела ничего неестественного. Иначе и быть не могло. Разве он не предупреждал?

— Ладно, — на все соглашалась Матрена.

Нагнибеда прокипятил в котле инструменты.

— Готово, Павел Семенович.

У Матрены сильнее застучало сердце, будто его сдвинула с места невидимая пружина. «Через полчаса его может не быть», — она взглянула в лицо Макара и закрыла глаза.

Доктор оглянул собравшихся и с поднятыми руками направился к больному.

— Ну-с, — сказал он.

Фельдшер подтолкнул Матрену.

— Давайте наркоз... Чего же вы!

— А как? — недоумевала она.

— Так. Ведь вы присутствовали всегда при операциях. Эх!

Нагнибеда, очевидно, хотел сказать этим «эх», что командовать и на собраниях говорить все мастера, а вот когда дело дошло до пустяковых знаний, то и руки опустились.

— Берите эту тряпку и флакон, — учил он. — Будете капать вот сюда.

Следить за пульсом доктор назначил учительницу Дашу, сестру Бородина. Но ответственность все же лежала на фельдшере. Часов ни у кого не оказалось.

Яковлев смотрел на все невидящими остекленелыми глазами. Матрена содрогнулась, увидев его сине-багровую ногу, от колена к ступне она уже начала чернеть. Ниже коленной чашечки, где лежал бинт и где чуть виднелась затянутая опухолью ранка, отставала сожженная йодом омертвевшая кожа.

Матрена поместилась у изголовья Макара и начала наблюдать за приготовлениями. Все внимание ее было сосредоточено на больном и докторе. Она забыла окружающее, то, что впереди движется отряд, а рядом еще десятки больных ждут операций.

Доктор опустил палец повыше колена изуродованной ноги и сказал:

— По-моему, надо так.

— Так, так, — поспешно ответил Нагнибеда.

У доктора на лбу легла угрюмая складка. И теперь все знали, что возражать ему невозможно. В такие минуты он бывал непроницаем и требователен. На висках у Семенова выступил пот. Еще сильнее дрожали руки, и на них все смотрели с затаенным чувством.

Кавалеристы, все время подтрунивающие над Андрюшкой, ушли в кусты. Ветров посмотрел на ребят с презрением. И когда он подошел к хромой лошади, которую собирался забить на мясо, кавалеристы стыдливо отвернулись. Бойцы поняли, какую трудную задачу выполняют люди, обслуживающие госпиталь, люди, которых в шутку называли тыловыми крысами.

Доктор потел сильнее. Он взял из рук Нагнибеды операционный нож и взглядом попросил отойти всех посторонних. В это время больной глухо застонал под наркозом.

Доктор сделал ножом разрез кожи и, вздрогнув сам, бросил неопределенный взгляд на Матрену, у которой сжимались до боли зубы — будто не по ноге больного, а по ее телу скользнуло острие ножа. Она подумала, что теперь бы лучше удалиться в кусты, как вон те кавалеристы, и переждать, пока кончится. Но об этом нечего было и помышлять. Матрена хотела быть здесь до последнего часа, каким бы он ни был для больного.

Откуда-то из-за деревьев долетели голоса:

— Режут, а хоронить все равно придется.

— Не миновать.

— Ему все равно один конец. А вот где наши головы лягут?

Матрена хотела закричать на болтунов, зажать уши, но ни того, ни другого сделать не могла.

У доктора тряслась лысеющая голова. А на щеке давно сидел раздувшийся от крови комар. Его нужно бы раздавить, и ни у кого ни хватало догадки, а может быть, и смелости. Все выпуклее, оживленнее становились холодные глаза доктора. Он отрывисто говорил:

— Стоп... Вена!.. Пульс как?

Матрена смотрела то на Дашу, то на сверкающий нож и по знаку фельдшера капала из флакона хлороформ на марлевую тряпичку. На щеке доктора осталось после лопнувшего комара кровавое пятно, оно расширялось — смешанная с потом кровь бледнела, растворялась.

У Матрены начали терпнуть ноги, тяжелела голова и туманило перед глазами, когда фельдшер сказал:

— Артерия!

У доктора остановилась рука, и нож ослепительно сверкнул на солнце.

— Нитку!

Нагнибеда начал искать нитку. Он чуть не схватился за голову, но взгляд доктора вовремя остановил его — фельдшер опустил руки.

— Но где же нитка? — с отчаянием стонал он. — Кто тут рылся? Безобразие! Глазеют, как на обезьяну.

Матрена увидела в разрезе раны кровь и по-своему догадалась, что произошло что-то неладное. Это же поняли и окружающие. На постелях зашевелились раненые. Не особенно слабые начали подниматься. Сестры бросились успокаивать их. И опять слышались отрывки разговоров:

— Умирает?

— Да нет еще, дышит.

— Кончился, говорят.

Пока сестры отыскивали нитку и фельдшер перевязывал артерию, у Матрены успела скатиться непрошеная слеза. Доктор поморщился, затем приложился ухом к груди больного и неопределенно шевельнул бровями. Слова его отрезвили Матрену:

— Впрыснуть камфору.

Яковлев тихо и глухо, как будто на рот ему набросили подушку, промычал и зашевелился. Доктор начал пилить кость.

Операция пошла быстрее. Только когда натягивали кожу на оставшуюся повыше колена култышку, больной слабо дрогнул и забормотал что-то невнятное. Это движение передалось Матрене физически. Она опять ощутила на своем теле лезвие ножа и отошла, закрыв глаза.

Отнятую ногу Яковлева куда-то унесли. Доктор и Нагнибеда начали мыть руки. Сестра Даша стояла над Макаром со шприцем и не знала, что делать ей дальше. Уже вымытыми руками доктор еще раз впрыснул больному камфору и, сняв совсем мокрую рубаху, сел спиной к дереву.

— Нет ли закурить? — попросил он, неизвестно к кому обращаясь.

Доктор курил долго, ни на кого не глядя. Матрене хотелось спросить у него, удачна ли операция, но не посмела.

Кавалеристы в это время пронесли вареную конину, и люди, к удивлению Матрены, загремели посудой и потянулись на еланку, откуда слышался голос Андрюшки Ветрова. Доктору принесла мясо Даша. Он посмотрел на него, отбросил окурок и начал есть.

— Вы отойдите от больного, может быть, уснет, — сказал Матрене Нагнибеда, тоже принимаясь за завтрак.

Злобина огорченно смотрела на своих соратников. Ей думалось, что о Макаре все уже забыли, но смутно понимала, что во всем происходящем есть свой смысл и свои законы, что и ей придется делать то же самое, что и эти люди.

Ветров позвал ее к своему сделанному из корья шалашику и подал кусок мяса.

— Ешь, а то свалишься, — настойчиво сказал он.

И Матрена повиновалась. С кружкой молока подошел Лысов. Тепло заговорил:

— Промочи, Андреевна. Досталось тебе, ой, ой! Через силу глотай. От еды все отлягет.

Матрена прилегла в тени и скоро заснула. Она уже не слышала, как Андрюшка говорил Лысову:

— Изморилась... Какая-то двужильная... За всех хворает.

— Как еще дюжит, удивление одно, — вторил Куприян.

— Да если бы у нас народ был, — жаловался Ветров. — Кони повязли, а эти кавалеристы уползли в сторонку. А разве кто пожалеет, если ноги протянет?

— Такую пожалеют, — не соглашался Лысов. — Другого не пожалеют. Где же всех жалеть. Сколько нонче народу повалилось.

Матрену разбудил доктор. Стоял он с поникшей головой и припухшими глазами. Она одернула юбку и вскочила:

— Умер?

— Нет.

Матрена села на пень и заплакала. К ней ощупью подлез Артур. Мальчик гладил ее волосы, руки. Артуру хотелось приласкаться самому.

Через час госпиталь снялся. Дорога все еще была грязная, но траву и лес высушило и чудно освежило июньское солнце. Бодрее шагали отдохнувшие кони, свежее выглядели лица раненых.

Неподалеку от покинутой стоянки госпиталь встретил отряд во главе с Бородиным. Михайло отыскал Матрену и слез с лошади.

— Садись-ка, девка, верхом, — предложил он.

— Доктору отдай лошадь, — запротестовала Матрена.

— Ему дадим другую... Знаем... Лезь-ка.

Матрена всунула ногу в стремя и чуть не повалилась назад.

Михайло поддержал ее и с сожалением сказал:

— Эк тебя укачало.

— Трогай! — загремели сзади голоса.

24

В день прихода на прииски Кондратий Артюхов узнал, что продовольствия на складах очень мало. Живой скот хозяева выгнали под охраной стражников. Отряд милиции Хмелев разбил только наполовину. Остальная часть

убежала в пограничное большое село Караган.

Пока устраивались митинги и формировался отряд из рабочих, Кондратий ходил в сладком угаре. Почести, оказанные отряду и лично ему, слегка кружили голову. Кондратий не предполагал, что его так хорошо знают даже здесь, в глухой тайге. Кондаков старательно откапывал белогвардейские газеты, в которых были напечатаны разные небылицы о действиях нахвальских партизан, и набивал ими сумки.

Больше года Артюхов не брал в рот вина, а на свидании крепко хватил спирту и в беседе с рабочими хвастался:

— Колчака я расшиб бы один... Чехи помешали. Вот подкоплю на границе силу и ударю на губернию.

— Обязательно ударим, — подтверждал Кондаков, хитро улыбаясь.

— И расшибу...

— Расшибем.

Кондратий ужинал у шахтера Синицына, который встречал отряд со знаменем. Синицын оказался красногвардейцем, бежавшим на прииск от преследований контрразведки. Кондратий сразу определил, что из него будет хороший командир, и поставил шахтера на рабочую роту. Может быть, пополнение отряда свежими силами и было причиной того, что Артюхов выпил лишний стакан.

Когда он пришел в квартиру, отведенную под штаб, то не сразу рассмотрел в углу белую пышно взбитую постель.

— Игнаха, что это такое? — удивился он.

— Почет, — скрывая улыбку, объяснил адъютант. — Хозяйка тебе делает честь. — Глаза Кондакова говорили: «Вот увидишь, что еще для тебя приготовлено здесь»...

Он вышел во двор, откуда слышались разговоры. К Артюхову в эту минуту, как будто ожидая ее, вошла белокурая румяная женщина с тарелкой, на которой дымился ужин. Хозяйке, по определению Артюхова, не было еще и тридцати лет. Одета по-городскому, но и это не скрывало сходства ее с Анисьей. Она поставила тарелку на стол и не по телосложению высоким голосом пригласила:

— Милости просим, Кондратий Самойлович.

Артюхов открыл рот.

— Как вы меня распознали? — улыбка удовольствия поплыла по выбритому и потому отсвечивающему синевой лицу Артюхова.

— Еще бы... Молва-то про вас какая, беда.

Несмотря на то, что Кондратий порядочно охмелел, он все же заметил, что она очень проста. Ну, настоящая белая гусыня!

— Молва... Стало быть, слава была... Это нам не повредит... Как вас звать-то?

— Марья Банифатовна. Разве не заметили?.. Я машинисткой в управлении работала. Вчера вы заходили к нам, разговаривали со мной.

— Запамятовал. — Кондратий еще внимательнее осмотрел объемистую фигуру машинистки и про себя удивился, что такая дородная женщина сидит в конторе. Сколько бы она принесла пользы на полях! А вслух сказал:

— Нам в штаб надо бы машинистку... Совсем с машинкой можно забрать.

Мария Банифатовна села широко, спокойно. У нее ожили бездумные, куда-то вдаль стремящиеся глаза.

— Я затем и пришла, Кондратий Самойлович. Дела мне теперь здесь нет, а в Карагане родственников имею. Ужасно к тому же надоела тайга...

Из дальнейших разговоров Артюхов узнал, что Мария Банифатовна машинистка и секретарь. Показалась она ему женщиной самой подходящей, главное, не гордой и к тому же вдовой. И когда она хотела уходить, немного волнуясь, предложил:

— Погости, Марья Банифатовна... Мое дело тоже... без жены.

Она тихо протяжно рассмеялась.

— Ну, что вы вообразили... Я не из таких...

— Мы без воображения, — смелее сказал Кондратий... — Дело должно быть добровольное. Открытое...

...Утром Кондратий широкими шагами ходил по комнате, громко сморкался и выбрасывал обглоданные кости в окно. Когда к нему вошли Кондаков и разряженный в офицерский мундир Хмелев, Артюхов погрозил им кулаком. Ребята дружно рассмеялись. Кондратий нахмурился, и они замолчали.

— Когда придет Матрена? — спросил командующий.

— Кто ее знает... Свежих коней послали... На днях должна быть.

— Зарежет она нас... Сколько верст отсюда до Карагана?

Этот вопрос был обращен к Хмелеву. Командир кавалерии обтер о черные усики чубук металлической монгольской трубки и беззаботно ответил:

— Двести, говорят... Кто их тут разберет... Надо ехать скорее.

Артюхов топнул так, что подпрыгнули стол и кровать.

— Как же мне болтали — пятьдесят!

В сущности Кондратию никто не говорил этого. Он сам составил представление о рас-

стоянии до монгольской границы, когда еще отступали из пределов Нахвального, так оно и упрочилось в памяти.

— Все говорят, что двести... Ты сон, наверное, видел сегодня...

Артюхов как будто только теперь обратил внимание на мундир и трубку Хмелева и подошел к нему с потемневшим лицом.

— Если ты будешь заниматься этими делами, — начал он, выхватив из зубов кавалериста трубку, — то пошел к черту! Ишь, вырядился, ваше благородие! Помни, Алешка! В госпиталь к Матрене пойдешь.

Хмелев вызывающе глянул в смуглое лицо Кондратия, затем начал расстегивать мундир.

— Возьми, если надо, — обидчиво говорил он. — Я ничего не жалею. А только спроси у обоих эскадронов, как он мне достался. Нагишом буду воевать. Возьми, ежели позавидовал.

— Не придуривай, и так дурной! — остановил его Кондратий. — Я к будущему предупреждение делаю... Кому ты нужен таким форсистым? С кем мы дело имеем? С народом? То-то и есть!

Хмелев обиделся не на шутку и не хотел перейти на дружеский тон. Не первый Артюхов делал ему замечание — надоело.

— На других надо посмотреть, — продолжал он, — которые в тылу идут, тем никогда ничего не добыть. Что же, им отдавать, а самому без штанов ехать в авангарде? Пусть завоюют сами. Я не взял, чего мне не надо.

— Ну, ну... рассопелся, — у Кондратия по щекам прокатились желваки. Он уже раскаивался, что обидел парня, и думал о своей выпивке. О ней непременно узнают партизаны, и, если ничего не скажут, то втихомолку все же будут осуждать его, Артюхова. А узнают непременно. Что скажут раненые? Там лучшие бойцы идут по тайге без хлеба вот уже седьмые сутки... А кто повел их за собой?

Удрученный этой мыслью, Кондратий присмирел и позвал Кондакова.

— Построй все части отряда, — сказал он, — смотр будем делать.

— А мне в разведку? — спросил Хмелев все еще недовольным голосом.

— Обожди, Алеха, — Артюхов подошел к нему и тряхнул за плечо. — После смотра мне понадобишься. А говорю тебе свойски. Думаешь, мне тебя, черта бурого, не жалко? Из тебя выйдет в будущем полковод. А ты сейчас можешь зря свернуть голову, за пустые побрякушки.

Когда Кондратий остался один и начал одеваться, в дверях показалась дебелая прирумянившаяся Мария Банифатовна. Все так же холодно и бездумно смотрели вдаль ее светло-голубые глаза, будто ничего не случилось.

— Чайку не выкушаете? — спросила она, кокетливо виляя носком туфли. Эта манера не понравилась Артюхову. Она напоминала ему веселых женщин в местечках Польши и Восточной Пруссии, которые приходили к солдатам в казармы повеселиться.

— Нет, не хочу, — брезгливо ответил он, избегая смотреть на хозяйку. Но она пролезла в дверь и уперла руки в бока. «Смотри, какая я», — говорили ее губы, сжатые в улыбку.

— Сегодня отправляетесь? — слышал Артюхов за спиной высокий голос.

— А тебе какое до этого дело? — Кондратий повернулся с обозленным лицом. — Чего вынюхиваешь в штабе? С нами не поедешь. Не разрешается!

Схватив винтовку, он выбежал из квартиры. Мария Банифатовна послушала, как по крыльцу застучали сапоги, пошла на свою половину, очевидно, проклиная неверных мужчин и свое незадачное вдовье житье.

25

В лощине между двух склонов протекал гремучий ручей. Около него собрались партизаны. Здесь же паслись лошади. Выспавшиеся люди протирали глаза, лениво разминали натруженные спины, плечи, ноги.

Кондратий оглянул свое войско и прикусил губу: опытным глазом сразу определил убыль. Не было на смотру Стародубцевского полка. Этот полк действительно ушел в верховья Кана. Командир Стародубцев хорошо знал те места и решил не подчиниться партизанскому штабу. По сути дела Кондратий не мог сказать, хорошо или плохо он сделал. Но тот факт, что стародубовцы ослабили силы отряда, уже давал право Артюхову обвинять их. Полк не взял своих раненых, не поделился имеющимся у него запасом патронов. Кондратий дал себе слово, что при первой встрече он будет судить Стародубцева. Это обещание вспомнилось именно сейчас, когда перед ним неприглядно развернулись поредевшие полки.

Партизаны строились, подравнивались. Умолкали разговоры, глаза обратились к Кондратию. По улыбчивому взгляду правофлангового белоусого парня Артюхов догадался, что в отряде уже известно о его выпивке, и строго спросил:

— Чего тебя разбирает?

— Надоело плакать, товарищ командую-

щий, — бойко ответил белоусый, — надо и посмеяться.

— Смешливый какой!

Бойца выручил командир полка Потылицын. Он обтер губы и сказал:

— Выспались, наелись, вот и отлегчало.

Артюхов подумал, что ошибся в предположениях, что никто и не собирался осуждать его, и взял у партизана винтовку. Оружие было вычищено примерно. Парень гордо глянул в лицо командующего:

— Смотреться можно, — похвастался он.

— А сколько патронов имеешь?

— У меня по десять вкруговую, — объявил командир. — Вон у Дегтярева по тридцать наберется, но разве поделится такой человек?

— Заставим.

Кондратий хотел отойти, но его окликнул рыжий пожилой партизан. В длинной неопоясанной рубахе и рваной шапке он портил строй.

— Куда пойдем-то, Кондратий Самойлович? — спросил рыжий.

Артюхов остановился долгим насмешливым взглядом на говорившем.

— Вот вздумаю, тогда доложу тебе, Проня.

Кругом послышался сдержанный смех. Рыжего это не смутило, а Кондратия не обозлило. Утренняя хандра уже прошла, и Артюхову хотелось запросто поговорить с партизанами, как это бывало до отступления.

— Я не к тому спрашиваю, чтобы в чужое дело соваться, — продолжал боец, — а вот погляди, — он поднял вывалившуюся из бродня ногу. — Видишь, какая обутка. На родительской коже шлепаю.

— Из голяшки сделал бы чирки и не плакал, — усмехался Кондратий.

Но все видели, как у командующего утянулись бритые щеки и наморщился лоб. Рыжий партизан вспомнил, что не у него одного развалилась обувь и, виновато посмотрев на бродни, сказал:

— Оно можно и из голяшек подчеботарить. Погляжу еще.

— Погляди, Проня, — одобрил Артюхов и отошел.

При виде одежды и вооружения партизан можно было отчаяться, но и командиры и рядовые бойцы мало замечали этот недостаток. Отдых и радушный прием на приисках дал возможность людям оглядеться и понять, что не все еще для них потеряно и что опасность они преувеличили сами во время поспешного отступления. Миновали те дни, когда почти у каждого из бойцов военные заботы переплетались с заботами о покинутой семье, о хозяйстве. Острота этих переживаний уменьшалась. Перед Кондратием стояли испытанные бойцы.

И все-таки, когда первый Заливаевский полк, состоящий исключительно из фронтовиков, пошел к месту стоянки, у Кондратия внезапно возникла щемящая душу мысль. Глядя на этих молодых здоровых людей, он подумал, что, может быть, через несколько дней со многими из них не придется увидеться. Такие размышления никогда не оставляли Артюхова, особенно в дни затишья. Эти свободные дни, оставляющие время для раздумья, причиняли Кондратию беспокойство, дурно настраивали его, выбивали из колеи. Но сегодня бойцы всем своим видом показывали, что путевые недовольства забыты, трудности и лишения позади и каждый из них готов хоть сейчас в бой.

Артюхов оглянулся, наверное зная, что адъютант находится около него, и сказал:

— Игнаха, передай Алешке, что с полдня выступаем.

— А госпиталь не будем ждать?

Кондратий вытащил из сумки газету, в которой было напечатано извещение об отправке карательного отряда в верховья Енисея, и ткнул в заметку пальцем:

— Генерал Попов не ждет... Видишь?

Командующий находился в том состоянии, когда работой необходимо было заглушить угнетающее чувство самоукора, какое бывает с похмелья. Это отлично понимал адъютант и старался подладиться под тон.

— На Соловке поедешь? — спросил он.

— Не на тебе же.

Кондратий глянул на подходившего маленького Потылицына и, по лицу угадав, о чем тот хочет спросить, предупредил:

— Поведешь полк следом за Матвеевым.

Командир полка сделал обиженное лицо и остановился. Матвеева, командира пластунского отряда, он недолюбливал, соперничал с ним, считая заслуги Заливаевского полка и свои гораздо значительнее.

— Почему за Матвеевым? Почему не впереди?

— Потому что сзади... Штаб, видно, меньше твоего думал, кого послать?

— Нет, я не об этом, — у Потылицына забегали маленькие черные глаза. — Мои ребята просятся. Как же это?.. До прииска тянулись в хвосте и отсюда тоже. Надо бы перемениться местами. Обидно ведь. Идем по обочинам. Сам знаешь, полк растерял людей, а когда будем пополняться?

Довод командира Кондратию показался основательным, и он ответил, нахлобучив фуражку:

— Не тужи, Данило... В дороге будет видно.

26

К вечеру прииск обезлюдел. На нем остались старики, женщины и дети. И когда через день сюда прибыл госпиталь, раненых свободно разместили в опустевших бараках. Часть рабочих по таежным тропам направилась за продуктами в ближайшие поселки, остальные ушли с отрядом. Несколько мешков муки, оставшейся на складах, были предоставлены госпиталю. Приисковые женщины ведрами разнесли ее по домам. В ночь затопились русские печи.

Запах печеного хлеба дразнил аппетит изголодавшихся людей. Андрюшка распределил первые выпеченные караваи среди больных и один принес в избу, где поместились Бородин и доктор с Нагнибедой. Все отломили по куску и переглянулись. Кого-то не хватало.

— Где же Матрена Андреевна? — первый догадался доктор.

Ветров сбегал за ней. Матрена вошла, позабыв запереть дверь. Глаза у нее блестели, еще больше заострился нос. Она сильно изменилась, движения были торопливы.

— Устроила Макара и Арнаутова в больнице, — говорила она, снимая халат — Марту оставила около них. Видно, выживет Макар-то. Не чаяла и не гадала. — У Матрены на сухих губах появилась светлая улыбка.— Говорил со мной долго. Все такой же чудак. Просит костыли. На фронт собирается.

— Ты поешь, а тогда расскажешь, — Ветров смотрел, как человек, имевший над Матреной какую-то власть. Она не протестовала. За короткое, но чрезвычайно трудное время они начали понимать друг друга с одного слова и усвоили тот тон, который дается совместными переживаниями, сотрудничеством на небывало тяжелом деле.

Это был первый вечер, когда Матрена и ее помощники могли оглянуться на пройденную дорогу и спокойно осознать, какую важную задачу они выполнили. Из двухсот больных госпиталь потерял в дороге только шестнадцать человек, которые считались безнадежными еще в нахвальской больнице. И люди были удивлены и рады тому, что они сделали.

К концу ужина зашел Лысов. Он привел седобородого человека с деревянным посохом и сумкой за плечами. Широкая розовая плешина незнакомца была покрыта светлыми росинками пота. Небольшие глаза остро смотрели из-под густых бровей. Он сел в темном углу и с любопытством начал прислушиваться к разговорам. По лицу и глазам старца нетрудно было догадаться, что он ждет момента, когда можно будет вмешаться в разговор.

Ветров выпил ковш холодной воды и обратился к Бородину:

— Ну, как, Михайло Петрович, отпускать-то меня будете?

— Куда? — удивился тот.

— Как куда? В строевую. Хочу в разведку.

Михайло начал выколачивать коренушку о ладонь, будто забивая гвоздь. Затем насмешливо посмотрел на кладовщика.

— У тебя все дома ночевали? — постучал он пальцем в лоб.

Ветров открыл рот и долго смотрел на Бородина, который, косолапя кривыми ногами, ходил по избе. На поясе у него, рядом с наганом, болтался неизменный охотничий нож, а в короткой седеющей бороде так и остались хвойные иглы.

Андрюшку взорвало. Он отошел к порогу и обидчиво заговорил:

— Подфигуривать нечего. Мальчики вам тут, что ли. На смех я дался. Из трусов не выхожу. Да провались вы! Сам дойду до Кондратия и приформируюсь к разведке.

— Кто тебя опять? — догадалась Матрена.

— Все те же. Герои ваши!

Ветров взял из угла винтовку, сплюнул на пол и вышел из избы. Он не сказал, что, когда ходил за хлебом, встретил кавалеристов и с одним из них подрался. Вслед за ним покинула избу Матрена.

— Андрей, обожди! — послышался за окнами ее голос.

Когда замолкли их шаги, незнакомый старик мягко и сокрушенно заговорил:

— Уразумения лишился человек... А никто не подумает, надо ли это богу... И чего люди делят? Кровью взялась земля... Скоро образуется одно болото.

Михайло, которого интересовали божественные дела, исподлобья взглянул на старца, желая определить, откуда он взялся и чего добивается — уж не шпион ли.

— Господу, говоришь? — он подошел к незнакомцу и сквозь пущенный табачный дым начал рассматривать его: — Кто ты за человек?

— Странствующий, — все так же мягко отвечал тот. — Вы странствуете по своим делам, я — по божьим... Дух господен в народе поднимаю. Зарок такой дал еще смолоду.

— Дух? — Михайло вспомнил Артюхова и с улыбкой присел около странника. — За кого

же ты дух поднимаешь? — Он не знал, что эти же слова с иронией произносил капитан Огурцов, когда рапортовал о занятии Нахвального.

— За того, без чьей воли ветер не дует,— продолжал старик. — Уразуметь его надо. Не вы, ни они не утвердитесь, если не будет воли господа, — странник указал пальцем в потолок. — И не будет правды и счастья на земле от людей. Придут они по власти и воле его.

Михайло усмехнулся и положил в карман коренушку.

— А есть этот «он»?

— Как не быть... — странник внимательно присмотрелся к собеседнику и пересел подальше от табачного дыма.

— Почему же он не за нашу правду? — добивался Бородин.

— Перед ним все равны. У него своя правда, а у людей своя, земная. Красные, белые — ему все равно. Суета мирская. Люди опомнятся, когда сердцем уразумеют его законы.

Бородин, не торопясь, подошел к страннику и взял его за ворот.

— Выкатывайся-ка отсюда, пока ребра на месте! — сказал он, приподнимая странного гостя. — Пошел, гнус! Все вы, попы, такие. Ни одна холера не скажет, что бог с бедными.

Улегшиеся спать доктор и Нагнибеда подняли головы. Лысов, молча слушавший божественные разговоры, поднялся с пола и удержал Михайлу, наладившегося спровадить старца в шею.

— Брось, брось, — уговаривал он. — Чего связался с полоумным.

Они покурили молча. И когда гнев Бородина остыл, Лысов тихо и раздумчиво вздохнул:

— Ничего не узнато... Кабы на том свете побывал да поглядел сам, а то темень кругом, хоть глаз выколи. Никто не знает, что и к чему. От бога-то доброго мужик не видывал, скажем. Так, сумление одно. Но кто его знает...

Доктор пошевелился и сердито отозвался:

— Никаких богов и чертей! Дайте уснуть.

Лысов порылся в бороде и еще тише проговорил:

— Как хочешь, так и толкуй. Думаешь — нет, а умрешь, и он окажется. Что тогда ответишь? Какое объяснение дашь?

Михайло махнул рукой и вышел. А утром стало известно, что старец не кто иной, как богатый начетчик из кержацкого Карагана. Ночью он сбежал таежными тропами в свои места.

27

Яковлев был еще слаб, но молодой организм успешно боролся за жизнь.

Отослав Марту, Матрена сама накормила больного крепким бульоном и села в изголовье. Макар посмотрел на нее мягкими светлыми глазами и посоветовал:

— Иди спать... На тебя страшно глядеть.

Из-под пропахшего смолой одеяла он высвободил белую худую руку и положил ее на горячую, посмуглевшую от солнца крепкую руку Матрены. Лицо его осветилось улыбкой человека, поборовшего смерть. Яковлев смотрел на Матрену таким взглядом, который говорил, что он никому сегодня не желает огорчений.

— Болит? — спросила она, слегка наклоняясь и обдавая дыханием его открытую грудь.

— Ничего... Оживаю... Спасибо тебе... всем.

Румянец залил лицо Матрены. В каком-то полузабвении она говорила:

— А мы-то набоялись... Думали, что и ты... Капитона-то, знаешь... из пулемета... Одна я осталась.

В горле у Матрены заклокотало, на черных ресницах блеснули слезы. В этот момент лицо ее было особенно нежным, мягким. Оно светилось, чего-то просило. Яковлев гладил ее руку.

— Ничего... Поживем, — ласково говорил он.

Вскоре больной уснул. Матрена пощупала его влажный лоб, свободно вздохнула и отошла к давно ожидавшему Артуру. Слепой мальчик обнял ее за шею.

— Пришла, — ласкался он. — Где теперь наши?

— Ушли вперед. Ты почему не спишь? — Прижимая к себе Артура, она смотрела на светлолобую голову Макара, на его открытую грудь и думала, что он никогда не узнает того, что так нежно носит она в сердце. И пусть. Ей ничего не надо, только бы спасти его, всех вот этих ценных, но беспомощных людей.

Незаметно Матрена оказалась во власти других размышлений. Она уже думала о том, какой у нее будет иная жизнь, ребенок, свой чистенький угол. Предстоящие лишения и работа не страшили ее. Пусть Макар останется безногим — что нужды. Сил для того, чтобы прокормить семью, у нее хватит. Да и жизнь к тому времени изменится. Не покинут их, так много пострадавших.

— Мотя, а скоро наши придут из России? — спросил Артур.

— Скоро, скоро. Ты бы уснул.

— Не могу, — пожаловался Артур. — Ты не забыла, какие у ячменя колосья?

— Нет, ячмень еще не скоро поспеет...

— А я забыл и не увижу больше...

Мальчик припал к плечу Матрены и тихо заплакал:

— Нет, нет! Меня не вылечат и те... из России... Я больше не увижу, как цветет мак... И лицо мамы не увижу...

Матрена долго утешала парня. Все случившееся с ней в жизни теперь казалось ничтожным по сравнению с горем Артура и ему подобных, искалеченных войной.

28

Войска генерала Попова заняли Қараган до выхода партизан. Қапитану Огурцову с тремя батальонами солдат и караганской дружиной приказано было задержать Артюхова в тайге, при переправе через реку Уюк.

Против переправы громоздилась высокая отвесная скала. Вершина ее была покрыта мелким сосняком и кривоствольным березняком.

Генерал Попов был географ и эти края, как он сам думал, знал превосходно. Огурцову он дал проводников. Дружинники, все бывалые охотники, привели отряд на указанное место. Солдаты расположились на верху скалы, за камнями. Отсюда видно было уходящую вглубь просеку и дорогу на прииски с выбитыми ступенями.

Вверх и вниз по течению реки ущелье стискивалось высокими лесистыми горами. Глубокие пади стекали к реке со всех сторон, как весенние промоины.

Қапитан Огурцов посмотрел сверху на бегущие волны Уюка и почувствовал головокружение. Внизу зияла кипящая черная яма. Қапитан ухватился за ветку березы и отшагнул. Лесистые горы с того берега поплыли на него. В полузабытьи, следя за этой прекрасной, но страшной панорамой, Огурцов на мгновенье подумал о катастрофе мироздания. У него болела голова и не было никаких желаний. Страшное чувство обреченности угнетало капитана. Да... ему в жизни не повезло. Почему именно он должен быть игрушкой, орудием в руках штабных франтов — пьяниц и развратников? Почему именно ему выпала на долю эта собачья, скитальческая жизнь? Почему его сверстники тепло устроились при штабах, в интендантствах и прочее?

Ответ был один: капитан Огурцов в силу странной судьбы был предназначен создавать славу, богатство и чины ловким дельцам — баловням времени.

— Не ушибитесь, этта опасно, — сказал краснолицый дружинник с разветвленной бородой. — Этта и звания не останется, ежели ухнете...

Огурцов пугливо взглянул на него и переспросил:

— Не останется? А?

— Нет... А местечко разлюбезное. Ежели с умом воевать, всех можно повыщелкать... Товаришков-то...

— Можно? — опять переспросил капитан.

— Говорю: ежели с умом... Местов-то здешних и Артюхов не знает. А кобелина добрый, сказывают... Да мы его сегодня примем в гости...

Дружиннику хотелось разговориться, расспросить подробно об отряде Артюхова, узнать новости из далеких городов. Но Огурцов поднялся выше на скалу и навел на просеку бинокль.

— Не появляются, — сказал он самому себе и пошел в палатку. — Қокорев, сделай закуску, — окликнул он денщика, расседлывавшего лошадь.

Голову капитана туманила похмельная муть. С ним, как он полагал, и здесь поступили несправедливо. Надо бы вместо него послать есаула Мошкина, знающего здешние места, эту гиблую дорогу, человека, еще не изнуренного в драке с партизанами, но кабинетный генерал Попов решил по-своему.

Впрочем, и сам Огурцов не мог привести доказательств против плана главнокомандующего. Смешно же было послать казаков в тайгу, а пехоту оставить в степях. Внутренне сознавал, что его, капитана Огурцова, гложет обида и зависть к новоиспеченному есаулу. Отправляясь на пароходе, капитан предполагал, что бой с Артюховым будет дан в степи, в приграничной полосе. А случилось поиному. Теперь капитану Огурцову с вверенными ему войсками предстояло грудью встретить противника опять же в тайге. Несмотря на рассеянность, он понимал, что именно здесь, не имея выхода, партизаны должны будут драться отчаянно, насмерть. И, чего доброго, за его дела получит повышение и награды есаул Мошкин, который будет отсиживаться в Қарагане.

Қапитан влез в палатку и приказал подать коньяку.

29

Дебри пугали непроглядью. Серный запах испаряла нагретая тайга. Как ни были привычны к лесу лошади, но и они пугливо пере-

дергивали ушами, храпели в темноте, ближе прижимались к человеку.

Синицын поднял руку, хотя ее никто не видел, и шепнул:

— Стой!

Задние лошади натолкнулись на передних, сделали последнее движение, устанавливаясь поудобнее. Когда не стало слышно шорохов и стука и когда долетел глухой шум реки, Кондратий спросил у Синицына:

— Стало быть, здесь скала?

— Большая скала, на паром и рассчитывать нечего.

Кондратий оттолкнул морду Соловка и позвал:

— Алешка, подъезжай сюда.

Командир кавалерии обвел стороной коня и появился перед Артюховым.

— Здесь я.

— Где твой проводник?

К ним подошел человек и вкрадчивым голосом заговорщика сказал:

— Пойдем вот этим логом. В верховьях есть брод. А с той стороны скала отлога. Можно легко накрыть их.

— Сколько ходьбы? — расспрашивал Кондратий. И, увидев блеснувший огонек от спички, осердился: — Кто там курит?

— К свету должны прибыть, — говорил вкрадчивый голос. — Вот неизвестно, как вода в Уюке. Если дурит, то переправу придется ладить.

— Переплывем.

Артюхов отпустил подпругу. То же сделал Хмелев, а за ним и остальные. Люди умолкли, сосредоточились, стараясь расслышать разговор командиров. Кондратий подумал и отдал распоряжение:

— Хмелев с кавалерией и приисковые пойдут со мной. А ты, Игнаха, на свету со всей пехотой подступишь к парому. Начинать будете, когда услышите наши выстрелы. — Сказав это, Кондратий как будто усомнился в правильности своего плана и обратился к адъютанту и Хмелеву:

— Не промахнемся? Как по-вашему?

— Должно дельно выйти, — ответил за них Синицын.

Артюхов подтянул подпругу. То же сделали кавалеристы. Через четверть часа, когда к авангарду подтянулась пехота, Кондратий положил руку на костлявое плечо проводника и сказал:

— Поторапливайся, парень... Да не вздумай вилять...

— Не обижай!

Две сотни людей свернули на заросшую мохом траву и скрылись в темноте. Вскоре не стало слышно их поступи, шорохов и запаха конского пота.

30

Капитан Огурцов с вечера осмотрел позицию и убедился, что она неприступна, как природная крепость. Десятки пулеметов были грозно повернуты стволами на тот берег: на паром и просеку дороги. У солдат и дружинников — полные подсумки патронов. Около палатки капитана солидной горкой лежали ящики с пулеметными лентами.

Все было в порядке, кроме душевного состояния капитана. Он ничему и никому не верил — ни крепости, ни солдатам, ни себе. Он старался и не мог отогнать мысли о партизанах. Все эти люди, оборванные, нечесанные, в солдатских шинелях и в домотканных однорядках, для Огурцова теперь сливались в одном смуглом, с заострившимися скулами лице Кондратия Артюхова, фотографическую карточку которого он видел у генерала Попова.

Фотографию в штаб Попова передали из контрразведки на случай поимки и опознания Артюхова при разгроме партизан. А в этом губернские власти и штаб округа не сомневались. Главным основанием к тому послужил рапорт капитана Огурцова из Нахвального. Этому рапорту многие высшие чины поверили. Подтверждением ему служил факт ухода Артюхова из Нахвального.

Но не верил только сам Огурцов и приведенные сюда под его командой солдаты.

Отослав командиров рот, капитан закрылся в палатке и лег на подостланную кошму. Ему не хотелось думать о военных делах, опротивевших до омерзения.

Обессилев, он упал головой на кожаную подушку и закрыл глаза. Сон ли то был, полный бред или явь? Огурцов видел перед собой пылающие села, расстрелы мужиков и рабочих, которые все были похожи на Кондратия Артюхова. Но все это промелькнуло, как на экране. И вот уже капитан Огурцов ходил в генеральских эполетах по площади перед парадом. Окаменело стояли перед ним солдаты, держа «на караул». Оркестр играл «Коль славен...», и Огурцов крикнул:

— Парад, смирно!

Именно в это мгновение совсем близко загремели выстрелы. Капитан сначала принял их за салют. Раскатистый крик с тыла словно выбросил его из палатки. Когда Огурцов осмотрелся, наступающие партизаны уже окру-

жали захваченных врасплох солдат и дружинников. В полусумраке рассвета мелькнуло лицо с заостренными скулами, такое знакомое, бросающее в дрожь лицо. Оно стремительно приближалось к Огурцову. Капитан не выдержал. Он выстрелил, не целясь, и побежал к обрыву. Но сильная рука схватила его за ворот мундира, и чья-то глотка с выдыхом прохрипела:

— Стой!

Огурцов хотел подняться и не мог, не повиновались ноги. Он слышал крики на реке, где вброд переправлялась пехота партизан. Где-то щелкали выстрелы. Они были разрозненны и далеки. Если бы капитан Огурцов в состоянии был осмыслить случившееся, то он увидел бы, что часть его солдат лежала на скале и в реке убитыми, а другая — передавала партизанам пулеметы, винтовки и горные орудия.

Но Огурцов не видел и не понимал этого. На допросе, и когда на него были наведены дула винтовок, он не сказал ни слова. Шахтер Синицын оттащил труп его в расщелину и бросил между камней.

31

Пополненный людьми и оружием отряд быстро двинулся к степям. Узнав от перешедших солдат, что на пристани все еще стоит пароход с оружием и продовольствием, Кондратий решил захватить его. Он отказался даже от преследования дружинников, убежавших в низовья Уюка, рассчитывая, что они рано или поздно сдадутся сами. Теперь гораздо важнее было выбить из Карагана остатки отряда генерала Попова.

Авангард Артюхова вышел из леса перед вечером. Кондратий, потный и запыленный не меньше чем его Соловко, въехал на холм и поднес к глазам бинокль капитана Огурцова. Километрах в трех отсюда широкой лентой сверкал Енисей, а над ним, как брошенный сверху факел, заходило солнце.

Пароход «Россия» стоял на пристани. Через крыши домов виднелась его мачта. В долине, между селом и занятыми партизанами холмами, густо стояли курганы с огромными каменными плитами — надгробными памятниками, сооруженными, видимо, еще со времен Чингис-Хана. Около села разъезжали казаки и табунился на степных привольях скот караганских жителей.

— Дураки, — сказал Артюхов, опуская бинокль. — Дураки, хоть и генералы. Недаром большевики били и будут бить эту паскудность.

— Будут, — подтвердил Кондаков.

— Нешто я отдал бы эти холмы, — продолжал Кондратий, — самая ладная позиция для них.

Он оглянулся на подходивших горняков и махнул рукой, давая этим знать, чтобы люди остановились.

Хмелев, рассмотрев казаков простым глазом, попросил:

— Дозволь, Самойлович, срубиться.

Артюхов поднял бинокль и погрозил им:

— Я вот те срублюсь — по голове, умнее станет.

Он распорядился занимать холмы и выставить вперед пулеметы. Прикрываясь верхушкой возвышенности, цепи гуськом потянулись вправо и влево.

— Срежем сегодня, будь здоров, — похвастался Кондратий шахтеру Синицыну.— Пароход бы не угнали... вот чего побаиваюсь.

— Пароход не удержишь, — уверенно заметил Кондаков.

Артюхов косо глянул на помощника и провел рукой по мокрой бороде.

— Если панику будешь разводить, то уйдет.

Смущенный адъютант замолчал. Он великолепно знал, что сегодня Кондратию возражать небезопасно. Синицын снимал тесные, навертевшие ноги сапоги капитана Огурцова, с придыханием говорил:

— Возьмем, товарищи. Неправда. За землю беляки не удержались, за облака не удержатся.

С окраины вылетел клуб дыма. Снаряд, пущенный с берега, перелетел через цепи и разорвался далеко позади холмов.

— Хватил с пьяного-то глазу! — рассмеялся Артюхов. — Вот обожди, мы ударим.

Кондратий, не повертывая головы, спросил Хмелева, который подъехал к заросшему курганчику:

— Алеха, можешь пробраться на берег?.. Ниже пристани?

— Попробую... Винты пароходу обрезать?

— Ну, ну... Сам увидишь там...

Кавалерия спустилась в низину по прикрытому холмами плоскогорью. Над степью густо повисла темнота. От рослых трав пахло цветами и солончаком. По оставшейся сзади партизан тайге белые били уже из пяти орудий. Им начали отвечать два горных, отнятых у войск капитана Огурцова. Кондратий был доволен, он сел, широко разбросив ноги, на траву и спросил у Синицына:

— Ты вот человек бывалый. Не знаешь, есть какие награды в настоящей Красной Армии?

— Не слыхивал... Наверное, есть...

— Должны быть, — народ награду любит. Надо и нам выдумать что-нибудь. Слышишь, Игнаха?

— Слышу, — отозвался из темноты Кондаков. Он ударил ладонью по каменной плите и сказал: — Князь какой-нибудь лежит... Буржуй... Хорошо бы увезти такую плитку домой. На подмостки к крыльцу. Грязи не водилось бы.

— У дурака дурные и думки, — сказал Кондратий... — Эх, и бьют. Так на них все капиталисты снарядов не напасутся... Лупят в белый свет...

На пристани дал свисток пароход. Артюхов соскочил, как подброшенный пружиной, и закричал:

— Пулеметы вперед!

Шумно, в топоте, в звяке оружия скатились в темноту цепи. Впереди сверкали и тревожили воображение огни, вылетающие из орудий.

Кондратия видели только ближние, но все знали, что он где-то тут, в темноте, едет на своем Соловке. Тихо шелестела под ногами низкая солончаковая трава. Артюхов проскакал на правый фланг. Сегодня он решил взять противника страхом. Тишина в рядах партизан не нравилась командующему. И когда ниже пристани началась перестрелка из винтовок и пулеметов, он закричал:

— Алешка добрался! Вперед, ребята!

Кондратий выстрелил первый. Два десятка пулеметов застучали со стороны партизан.

Пароход подал второй свисток, но его уже не слыхали. Степь запылала огнем, загудела страшным гулом смерти. Пулеметчики старались не отставать от пехоты. Цепи не ложились. Грань страшного была перейдена. Люди бежали с криками, каждый боясь отстать от этого урагана, огня и гула. Враг не выдержал стремительного удара.

На площади, около церкви, под строгим конвоем строились четыре сотни пленных солдат. Партизаны, еще не остывшие от военного пыла, охапками сносили в кучу винтовки и складывали их, как дрова. Берданы отбрасывались в сторону, и люди вооружались японскими винтовками. В этой сутолоке слышались хозяйственные разговоры:

— Степан, вот ружьецо-то! Самый раз в тайгу ходить.

— Пуля маловата... На сохатого или медведя не пойдет.

— Пойдет... Конец можно распилить.

Неведомо для какой надобности пехотинцы нацепляли на пояса клинки. Из-за револьверов разгорались ожесточенные споры. Для разрешения их вызывались командиры частей.

Двое партизан засовывали между прясел забора казачьи пики и ломали их с хохотом и прибаутками.

В это время Артюхов стоял на обрывистом берегу Енисея и грозил кулаком чуть видневшемуся пароходу, на котором удрал генерал Попов со штабом.

— Догоним! — кричал он. — Никуда не уйдешь... До города буду гнаться!

Возившиеся около четырех орудий и пулеметов партизаны чувствовали, как тяжела рука их командира на врага.

— Что же вы, скоро? — спрашивал батарейцев шахтер Синицын. Он распарывал ножом узкие голенища сапог и смотрел на подернутый туманом Енисей.

— Замков к орудиям нет, — ответил рыжий партизан из Заливаевского полка.

Орудия и пулеметы, брошенные войсками генерала Попова, оказались испорченными. Кондратий кусал губы, торопил батарейцев. Но ничего не выходило, пока на берег не прибежал плешивый и юркий старичок. Это был сторож потребиловки, видевший, как прятали части от пушек.

— Вот здесь ищите, — сказал он, разрывая ногами песок.

Вскоре Кондратий нащупал один замок от орудия. В другом месте нашли и остальные. И когда батарейцы начали обстреливать чуть белеющий на горизонте пароход, Артюхов позвал Хмелева.

Командир кавалерии подскакал на свежем серояблочном коне есаула Мошкина и виновато заулыбался, видимо, ожидая нападок.

— Гони их, пока не посадишь на дно, — приказал Артюхов.

— Есть, — молодцевато ответил Хмелев.

Три эскадрона запылили по-над берегом вниз по течению реки. Впереди выделялась фигура рослого коня с сидящим на нем Алексеем Хмелевым. Кондратий хриплым голосом говорил Кондакову:

— Этот гренадер только перед девками рожу пялить мастер... Если не остановит пароход — смещу с кавалерии... Давно собираюсь.

Адъютант хитро посматривал в заросшую щетиной щеку командующего. Он знал, что Хмелева Кондратий никогда не сменит, никогда не пожелает расстаться с боевым бесстрашным командиром. И поэтому не возражал.

На противоположном берегу, на мелких длиннохвостых лошадках появились монголы. К водопоям потянулись косяки скота, брошенного богатыми дружинниками.

Через голубой разлив Енисея Кондратий посмотрел туда, и глаза его прояснились. Он хлопнул адъютанта по плечу.

— Зашумим теперь, Игнаха. Обязательно зашумим... Всех посадим на коней. К осени Красную Армию встретим на конях. Думаешь, нет?

Артюхов говорил задиристо, как будто ему возражали. И прервал разговор, когда к нему подвели трех пленных офицеров.

— Допроси, — приказал он Кондакову. — Да напиши Матрене и Бородину, чтобы скорее вылазили оттуда... Пойдем во весь дух.

Кондратий направился на церковную площадь, но вынужден был остановиться. От умолкшей батареи кто-то закричал:

— Алеха-то что выдумал! Глядите!

Артюхов разбросил в стороны руки:

— Ах, сукин сын! Потопит людей! Казню, варнака, саморучно!

На берегу прибавлялась толпа. Все с тревогой смотрели, как кавалеристы переправлялись на другую сторону. На воде виднелись только головы лошадей и согнутые фигуры всадников. Когда передние достигли середины реки, Кондратий остановился и выпрямился.

— А ведь переедет, подлец, — сказал он.

— Переедет, — ответил кто-то сзади.

— За пароход награду ему дам.

В этот же день Артюхов двинул все свои войска вниз по Енисею.

32

В штабе военного округа скоро получили известие о разгроме партизанами группы войск генерала Попова. Города, расположенные на побережье Енисея, встревожились. Владельцы заводов и магазинов начали эвакуироваться. В церквах служились молебны о даровании победы над «красными бандами».

Весть о победе на прииски привезли первые подводчики из Карагана. На военных тачанках и мужицких телегах они доставили продовольствие. В записке Артюхова говорилось, чтобы в Караган как можно скорее выслали доктора. Матрене было приказано дождаться отряда для сопровождения госпиталя. Но выздоравливающие не хотели слышать о том, что еще придется прожить в тайге несколько дней. Медицинский совет решил воспользоваться готовыми подводами. В этот же день с Семеновым уехал Бородин.

Матрена спешно собирала в дорогу госпиталь, но уже в другой обстановке, чем в Нахвальном, проходили сборы. Жены рабочих, ушедших в отряд, сносили одеяла, подушки, простыни и молоко в бутылках для тяжело больных. Сами застилали телеги свежей травой, чтобы было удобнее лежать. Эта забота и радость победы трогала Матрену. Она втихомолку поплакала, но чувствовала в себе достаточно сил, чтобы пуститься пешком на любое расстояние.

Услыхав о поражении армии генерала Попова, Яковлев сам поднялся на койке и попросил провести его по комнате, хоть на одной ноге. Он посвежел, улыбался, как ребенок, начинающий ходить, и, опираясь исхудавшими руками на плечо Матрены, сказал ей:

— Спасибо, Мотя... Оживаем... Кого, кого, а тебя до гроба не забуду.

Может быть, эти слова были сказаны и просто, но они осветили все в сердце Матрены. Она верила в их прямое значение, в то, о чем думала давно. Сбывались ее надежды на лучшую жизнь, и счастье ее было дорого, потому что оно было выстрадано.

Госпиталь снялся в середине дня. Широкая, хотя и тряская, дорога была залита солнцем. В лучах его рдели верхушки кедров и трава по бокам дороги.

Матрена сидела в задке телеги около ног Яковлева и смотрела в его белобровое с мелкими веснушками лицо. Он дремал от пьянящего таежного воздуха, от качки. Матрена никогда не видела у него такого кроткого, по-детски улыбающегося лица.

Впереди Андрей запевал что-то веселое, смеялась молоденькая учительница Даша. Где-то слышался голос Нагнибеды. Он говорил:

— Прямо чудеса получились... Я думал, мы все подохнем в тайге... Нет, это запишут в историю. Небывалое в медицине дело. У нас за дорогу выздоровели почти все раненые.

— Крепка мужичья кость, — отвечал ему голос Лысова. — Натура, значит... А Кондратий-то Самойлович здорово, а?

Лысов шел сзади подводы Яковлева. В поводу он вел прихрамывающую карюю кобылицу, брошенную милицией на приисках. Лысов говорил кавалеристам, едущим сзади его:

— Надо думать и о домашности... Вам, молодым, какая забота... А вот кончится война, что будут делать мои сынки? На голые зубы и это будет кусок. Приведу домой — и к коновалу. Кум у меня по конской части тямлет кое-что... Глядишь, жеребеночка-другого ожеребит... Известно, кобыла — конева мать.

— Не дойдет, — утверждал Нагнибеда.

— Дойдет, ежели с умом.

Матрена и Яковлев сквозь дремоту улыбались этому родному разговору. Им даже казалось, что в воздухе пахнет крепким потом Лысова и овечьим пригоном.

На вторые сутки госпиталь росным утром достиг переправы. Ямщики из Карагана, ехавшие впереди, сделали паром, который двигался при помощи лошадей. Под скалой, где погибли войска и слава капитана Огурцова, страшно бурлила вода. Она была светлая и холодная. На дне Уюка виднелись камни. Подъезд был неисправен, и телеги приходилось отпрягать. Вместе с ранеными их переносили на площадку парома и ставили по три в ряд (больше не помещалось).

Яковлев попросил повернуть телегу задом наперед и делал замечания, чтобы ускорить переправу. Десяток кавалеристов он послал на помощь санитарам и подводчикам.

Но все же дело подвигалось медленно. Андрюшка подошел к Матрене и спросил:

— Не сварить ли чаю?

— Не будем же мы здесь ночевать, — сказала она в раздумье, видимо, соображая, правильно ли она сделала. В стороне от дороги, усевшись под деревьями, закусывали беженцы и свободные сестры. Лысов отпустил на траву, густо росшую по расчищенному около парома берегу, свою хромую кауруху и разжег костер.

Около него сели несколько человек, начали жарить на углях свиное сало, доставленное на прииск подводчиками. Андрюшка зачерпнул воды и, улыбаясь, с задором посмотрел на бегущие волны. Затем расстегнул ворот тужурки.

— Эх, искупаемся, ребята. День-то какой!

Отойдя ниже по течению за ракитовый куст, он разделся и бросился в воду. Между тем рядом с костром Лысова появились новые костры. Беженцы и кавалеристы наладили таганы. Матрена велела зарезать корову и готовить обед. Сама она помогала заносить на паром телеги. Для ускорения переправы кавалеристы и подводчики вброд перегнали освободившихся лошадей. Над рекой слышался смех, разговоры. На той стороне выздоравливающие забрались на скалу и, усевшись в кружок, запели.

Оставались непереправленными две телеги. Ожидая с той стороны парома, Андрюшка надел свою шевровую тужурку, хромовые сапоги и взял винтовку. Солнце уже скрылось за скалой.

— Куда ты так захомутался? — удивился Лысов, подводя к телеге кобылу, которую собирался перевезти на пароме.

— Теперь грязи нет, и скоро будет прохладно, — улыбнулся кладовщик Матрене, подлаживающей изголовье Яковлеву. — Винтовку-то возьмешь?

Матрена собралась что-то ответить, но не успела. Все, кто находились вокруг нее, вздрогнули от внезапно грянувших со стороны прииска выстрелов. Пуля жвукнула над головой Матрены. Она пригнулась и в это мгновение увидела падающую с закатившимися глазами Марту. Немного сбоку сунулась на колени кобыла Лысова.

Первым закричал Андрюшка и, упав в траву, сдернул с плеча винтовку. Три кавалериста, оставшиеся на этой стороне, бросились к стволам деревьев. Только на мгновенье Матрена увидела перебежавших через просеку трех бородатых мужиков в длинных дабовых рубахах и войлочных шляпах. Началась перестрелка с обеих сторон. Помогая устанавливать телеги, Матрена видела черный затылок Андрюшки. При каждом выстреле он вздрагивал, как будто от чего-то отскакивала его голова. Матрена не хотела думать о смерти, ведь так хорош был этот день, так радостны события и так много воскресло в сердце надежд, что трудно было поверить в эти вот выстрелы, в то, что на той стороне вместо песен слышался панический, животный крик раненых, знакомый ей по нахвальской больнице.

Помогая отталкивать паром и одобряюще глядя на Яковлева, она думала: «Неужели здесь, неужели здесь гибель?» Вся жизнь людей, все их действия в этот миг Матрене показались неправдой, злой насмешкой. Она не прыгнула на паром, когда он отошел от берега, и блестевшими, полными недоумения глазами смотрела в удаляющееся, бледное лицо Яковлева. В сердце Матрены будто что-то оборвалось. Весь ужас того, что раненые, вызванные к жизни нечеловеческими лишениями кучки незаметных людей, погибнут так глупо, нечаянно. Первое, что вывело Матрену из оцепенения, — это окрик Андрюшки.

— Уплывай! — погрозил он кулаком и начал прицеливаться.

Перестрелка усиливалась. На той стороне стонали раненые, галдели женщины, плакали ребятишки. Матрена выскочила из воды и подбежала к подсоченной сосне, где стояла вторая винтовка Андрюшки.

Через просеку еще перебежало несколько бородачей. Матрена выстрелила. Один из перебегавших споткнулся и упал в кусты. Виделись только его бродни с желтоватыми, вышаркавшимися подошвами.

Андрюшка и трое кавалеристов стреляли редко. С другой стороны берега открыли стрельбу подоспевшие кавалеристы.

Потеряв несколько человек и поняв, что к госпиталю подоспело подкрепление, бородачи решили уничтожить находящихся на их бере-

гу. Чей-то чужой голос по-медвежьи рычал недалеко от Матрены. Этому голосу ответили другие со всех сторон. Матрена поняла, что их окружают. Она видела, как Андрюшка сбросил с себя тужурку и сапоги. Он перебежал ближе к Матрене, лег за высокорь и вытащил из ножен охотничий нож. «Неужели у него нет патронов?» — с испугом подумала Матрена. Но кладовщик, порезав на куски тужурку и сапоги, опять взялся за винтовку. Из кавалеристов стрелял только один, остальные двое лежали между пней неподвижно. С другого берега учащалась стрельба.

Голоса неведомых страшных людей были совсем близко, когда Андрюшка откинул пустой патронташ и крикнул Матрене:

— Убегай скорее!

Он ударил стволом винтовки о дерево и оставшееся в руках ложе закинул в реку.

— Вот вам винтовка! Вот одежда! — кричал он, разбрасывая клочья тужурки и патронташа.

— Вот вам что достанется!

Это были последние слова кладовщика. Андрюша упал навзничь от выстрела в упор. Человек с коричневой сгромной бородой, выкатывая серые глаза, пыхтя и запинаясь, бежал к Матрене.

— Во-о-о-о-т... баба! — заревел он, щелкая затвором.

В одно мгновение Матрена успела рассмотреть это красное лицо и толстую войлочную шляпу. Она, зажав винтовку, в которой не было ни одного патрона, бросилась в реку. Сзади грохнул выстрел, но странно, что Матрена раненная в спину, еще успела проводить глазами удаляющийся обоз, убегавшего с дробовиком в руках Лысова и еще кавалеристов в зеленых гимнастерках. Но она уже не видела, как навстречу госпиталю скакали конные партизаны.

Волна накрыла Матрену после того, как рыжий бородач, выстрелив ей в затылок, сам упал от пули. На поверхности реки на секунду выше всплыли волны, и опять быстрое течение выравнялось.

Караганские дружинники, предводительствуемые тамошним купцом Заниным, были уничтожены отрядом Казарского.

Прошло десять лет. В июне 1936 года по Саянскому тракту от прииска имени Красных партизан вышла легковая машина. По высокой насыпи она переехала лог, в котором Кондратий устраивал смотр своих военных сил перед походом на Караган, и скрылась в тайге.

За машиной кружилась встревоженная мошкара. По вершинам кедров и сосен тихо шелестел ветерок.

Полный светлобровый человек с мелкими веснушками на носу оглянулся на соседа — молодого черноусого инженера — и басистым голосом сказал:

— Теперь здесь не дорога, а карта... Вот когда мы проходили... — светлобровый качнулся от толчка и наклонился вперед. Соседу было слышно, как у него заскрипел протез.

— Интересно! — улыбнулся молодой инженер. Он обрадовался, что директор прииска, перед поездкой разбранивший его за неточную и бестолково составленную докладную записку о найденном новом месторождении, теперь заговорил совершенно спокойно, с оттенком грусти.

— Интересно, — продолжал он, — когда артюховский отряд проходил через прииск, мне в то время было двенадцать лет и я болел тифом. Ведь у меня брат погиб в этом отряде... Синицына не помните?

Полный человек разорвал пачку и подал инженеру папиросу. Когда они закурили, директор, поморщившись, заметил:

— О Синицыне слыхал... Он убит вместе с Артюховым под Красноярском в последнем бою с белыми... Но нашу армию напрасно называют отрядом. Это была настоящая армия. К концу кампании она имела тридцать тысяч бойцов, больше сотни пулеметов и десять пушек. У Кутузова на Дунае была такая армия в 1805 году.

Директор замолчал, глядя вслед улетающему глухарю. Огромная птица долго летела вдоль тракта и быстро свернула в сторону. Когда машина прошла мимо того места, где потерялся в вершинах деревьев глухарь, инженер, взявшийся было за ружье, положил его в угол кабины и попросил:

— Расскажите, товарищ Яковлев... Тут, когда я учился, ходили целые легенды о вашем переходе через саянскую тайгу и обратно.

— Обратно мы шли уже степью, по левому берегу Енисея.

— Герои у вас, говорят, были, — инженер потирал от нетерпения руки. — Я читал про Алексея Хмелева очерк, когда он через Енисей в самом опасном месте вплавь перевел три эскадрона и взял пароход.

Директор выбросил окурок, и на лбу у него от недовольства очертились две глубокие морщины. Инженер удивленно посмотрел на него и сделал поспешное заключение, что Хмелева Яковлев недолюбливал и поэтому ему неприятно упоминание об Алексее, который

командовал теперь дивизией Красной Армии где-то на восточной границе.

— Герои у нас были почище, — с расстановкой начал директор. — Совсем незаметные люди были настоящими героями. Ты знаешь, почему уюкская станция названа именем Матрены Злобиной?

Директор стал рассказывать. Молодой инженер Синицын все время смотрел в его бритую белую и немного рыхлую щеку. Шофер, чтобы послушать, уменьшил ход и снял фуражку. Ветер трепал его кудрявые русые волосы, выгоревшие на висках.

Впереди мелькнул новый желтый домик с зеленой вывеской, на которой нельзя было еще разобрать слов. Когда машина перешла мост через Уюк, Яковлев положил руку на плечо шофера. По виляющей тропке он, скрипя протезом, повел спутников на вершину скалы (с восточной стороны она была пологая). И когда они добрались до вершины, все разом остановились от удивления.

На том месте, где шестнадцать лет назад стояла палатка капитана Огурцова, теперь был выложен каменный холмик. Старик с широкой седой бородой обмазывал его белой глиной.

Посмотрев на пришельцев, он отряхнул глину с рук и недовольно крякнул, как человек, которому помешали заниматься делом.

— Лысов! — воскликнул директор — Ты как здесь?

Старик мигнул глазами, будто выжимая мешавшую слезу, и открыл беззубый рот. Медленно, как охотник к выслеживаемому зверьку, он стал подходить к Яковлеву и, узнав его, широко улыбнулся.

— Макар Федорович!.. Вот, братушка, не ждал.

Четверо сели около холмика, закурили и долго смотрели на бушующую реку.

— Чем теперь занимаешься? — спросил Яковлев, угощая Лысова папиросами.

Тот удивленно отцветшими глазами взглянул в расплывшееся лицо директора.

— Нешто не знаешь?.. Я начальник этой станции... Как же, с прошлого года... Сыновья после нашей драки-то уехали в город, ну, и остались там... Зовут, но куда мне старику... Вот Матрене Андреевне и Андрюхе память сделал... Как же... Надо... Да вот написать ладом не смогу. Надо бы покрасивше. Ребята-то красивые были.

Директор поднялся. Отдал Лысову папиросы и сказал:

— Ты выкладывай, а расписать я пошлю человека.

— Вот спасибо, спасибо! — почему-то заторопился Лысов. — Чайку не желаешь ли? Рыбы я доброй поймал. Тайменя.

— На обратном пути заедем.

Яковлев пожал руку старому соратнику и спустился на тракт. Машина тронулась. Лысов долго смотрел вслед уезжающим и улыбался. Он был рад, как человек, получивший неожиданную большую радость. Ветерок относил дым от папиросы, которую старый партизан держал между согнутых пальцев.

Книги имеют свою судьбу... Невольно мне вспомнилось это мудрое латинское изречение, когда впервые пришлось познакомиться с повестью П. Петрова «Памятная скала». Судьба ее поистине необычайна. Написанная в конце 1936 или даже в самом начале 1937 года, она не увидела света при жизни автора. Рукопись ее затерялась. В архиве писателя не сохранилось никаких упоминаний о повести. И только простая случайность помогла обнаружить через двадцать с лишним лет после его написания это бесследно исчезнувшее произведение.

Как-то весною этого года работники библиографического отдела Иркутской областной библиотеки, разбирая старые бумаги и книги в одном из заброшенных и полуразрушенных шкафов, неожиданно натолкнулись на несколько папок с машинописными рукописями советских сибирских писателей. Там были рассказы Н. Устиновича и две законченных и, по-видимому, подготовленных к печати книги, принадлежащие П. Петрову, — роман «Ветошь» и повесть «Памятная скала».

Будучи одним из организаторов и руководителей партизанского движения в Красноярском крае, ближайшим соратником прославленных командиров партизанской армии А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина, стоя во главе знаменитой Степно-Баджейской советской партизанской республики, где он был бессменным председателем объединенного Совета, П. Петров на всю жизнь сохранил немеркнущие воспоминания об огневых годах гражданской войны в Сибири, о героической борьбе сибирского крестьянства с колчаковщиной и как художник не раз стремился позднее запечатлеть виденное и пережитое в полнозвучных произведениях искусства. Из-под его пера вышла в 1927 году поэма «Партизаны». За ней последовали очерки «Перовские красные партизаны (начало движения)» и «Партизаны в Урянхайском крае (воспоминания участника)», повести «Саяны шумят», «Крутые перевалы», роман «Половодье», опубликованный в 1936 году, и, наконец, «Памятная скала», произведение, завершающее этот историко-революционный цикл в творчестве писателя.

Повесть «Памятная скала» воскрешает один из драматических эпизодов гражданской войны в Сибири. Она подкупает своей гуманистической направленностью, уважением и любовью к простому человеку, глубокой симпатией к народу, поднявшемуся на защиту завоеваний Октября.

По приемам письма, по сдержанной манере повествования Петров — реалист. Но сколько в этих приглушенных красках, в этой обыденности и будничности тяжелого партизанского отступления истинного героизма и благородства! Автор повести избегает подробной и тщательной разработки характеров. Читатель запомнит и образ крестьянки Матрены, тоскующей по простому человеческому счастью, и лихого вожака кавалеристов Алексея Хмелева, и Кондратия Артюхова, этого народного самородка, малограмотного и талантливого, не чуждого самовлюбленности и легкого бахвальства, но одаренного отзывчивым сердцем, умного и находчивого, безраздельно преданного революции. Не менее глубокое впечатление оставляют и картины, живописующие отступление партизанского госпиталя.

В духе лучших традиций большой русской советской литературы, вслед за «Железным потоком» А. Серафимовича и «Разгромом» А. Фадеева, осваивая опыт этих произведений, ставших классическими, писатель-сибиряк П. Петров правдиво и по-своему рассказал о том, как трагедия вынужденного отступления перерастает в конечное торжество революции, в полную физическую и моральную победу свободолюбивого русского народа над белогвардейщиной и иностранной интервенцией. Современный читатель, отмечая славное сорокалетие разгрома колчаковщины, с интересом и пользой для себя прочтет его повесть.

В. Трушкин.



Валерий Алексеев

НАД ГЛАВНОЙ МАГИСТРАЛЬЮ

Дремлют в мягких креслах пассажиры,
Мысль спешит вперед, как поводырь.
Под косым крылом ТУ-104
Школьной картой кажется Сибирь.

И, следя за движущейся далью,
Переводишь стрелки каждый час...
Мы летим над главной магистралью,
Уводящей в будущее нас.

А за нею, как в калейдоскопе:
Пади, златотканные поля,
Прииски и угольные копи —
Необыкновенная земля!

На которой все обыкновенно:
От колосьев ржи до ветряка...
Там хранит Иртыш
Самозабвенно
Звон стальной кольчуги
Ермака.

Там в чащобе песня раздается,
На цветах роса блестит, как ртуть,
Там крутой тропой землепроходца
Затерялся в небе млечный путь.

Первый луч прильнул к холодным стеклам,
За крутым изгибом полотна,
Словно в перевернутом бинокле,
Обь в иллюминаторе видна.

Стюардессы жарили котлеты,
Леденцами потчевали нас,
А внизу —
То деревень макеты,
То в зарницах доменных Кузбасс.

Зарываясь в волны грудью всею,
(Флот речной обидеть не хочу),
Шлепал теплоход по Енисею,
Как кораблик детский по ручью.

За Тайшетом
Время собираться.
Под крылом плывет косматый лес.
Вот он обрывается у Братска
Перемычкой строящейся ГЭС...

Через час я с теми буду вместе,
Кто развел здесь первые костры,
У кого ладони тверже жести,
А характер — круче Ангары.

г. Ангарск

Денис Цветков

ПРИИСК МАМА

Про тебя сказали нам,
Когда ветры дули:
Здесь не быть проталинам,
Видно, до июля,
Не видать подснежника
В голубом апреле,
Солнце — тоже неженка —
Светит еле-еле.
Кто же так назвал тебя?
Удивляюсь прямо.
Ты скорее мачеха,
Чем родная мама.
Может, изыскатель
В холоде,
В отчаянье,
Это слово теплое
Обронил нечаянно?
Улыбнулась Мама:
«Это все пустое!
У меня под снегом
Сердце золотое!»

БРАТСКОЕ МОРЕ

Пусть его еще нет,
Но, право,
Не беда!
Оно будет скоро!
А пока что — кусты и травы
Вместо моря
По косогорам,
Да, подмигивая, ромашки
Так и просятся: погадай!
Васильки,
Незабудки,
Кашки...
Если хочешь —
Плыви, ныряй!..
Мне их жалко губить до времени
Для тебя же —
На все готов.
Наберу не букет —
Беремя —
Самых лучших лесных цветов.
Вспоминала чтоб снова и снова,
До седин,
До заката лет,
Что когда-то со дна морского
Я достал
Для тебя букет!

Виктор Алданский

ЯКУТСКАЯ ЮРТА

Как быль о моем поколенье
Осталась она на лугу,
Я мимо нее без волненья
Сегодня пройти не могу.
Бывало, что в ней зимовали
Болезни и голод — нужда.
Мы в стужу стекло заменяли
Кусками озерного льда.
От снега его на рассвете
Не раз довелось очищать,
Но все же, как прочие дети,
Я счастье сумел увидать.
И пусть не жалеют ребята,
Что нынче пустует жилье,
В котором промчалось когда-то
нелегкое детство мое.
Я тоже, друзья, не жалею,
Что в нем не живу с давних пор,
Но сосен зеленых аллея
По-прежнему радует взор.
Распадки и сопки крутые,
Одетые чащей лесной,
Что в давние дни молодые
Повсюду исхожены мной.
Мне помнятся заводь речная,
В весеннем наряде луна
И эта вот юрта родная
С приветным теплом камелька!

Перевел с якутского Анатолий Мосунов

В. Четвергов

В ТАЙГЕ

Набухло небо, как брезент,
И потемнело сразу.
Сквозь дождь взрывчатку и цемент
Везут, буксуя МАЗы.
Среди продрогнувших осин
Цветут кусты боярки,
Изюбри нюхают бензин
И горький дым солярки.

Глотает желтая вода
Куски породы горной,
И, как вода, блестит слюда
На ленте транспортерной.
Гремят — в известке, как в снегу —
По рельсам вагонетки...
Идут в атаку на тайгу
Солдаты семилетки.

г. Ангарск.

СТОРОНА СИБИРСКАЯ

О. Гусев

ЦВЕТЫ И ЛИСТЬЯ СУРОВЫХ ПОБЕРЕЖИЙ

С тихой, задумчивой радостью думаете вы о цветах и листьях. Тогда вы вспоминаете что-то хрупкое и изящное, но в то же время страстно утверждающее счастье и красоту жизни.

Цветы и листья особенно дороги и необходимы там, где их мало, где даже лепестки черемухи в разгаре цветения рассказывают о дикости северной природы, о ее суровых и грозных проявлениях.

Цветы и листья делают жизнь богаче, теплее и проникновеннее. Они несут еще одну важную службу. Каждый самый застенчивый и незаметный придорожный цветок, любой крошечный и одинокий листик являются исключительной точности аппаратами, совмещающими в себе показания сложных приборов; бутоны цветов и почки листьев улавливают изменения климатического режима. Нерукотворные метеорологические станции, неисчислимым легионом рассеянные по лику земли! Эти свойства цветов и листьев помогают понять многое из того, что еще долгое время оставалось бы тайной для человека.

Таежные цветы суровых байкальских побережий скромны, как и другие радости короткого северного лета. Они не благоухают подобно цветам среднерусских заливных лугов, не поражают своей величиной и махровостью.

Как бы осознавая это, цветы ближе жмутся друг к другу и растут тесными семьями. Есть среди них и замечательные растения, безыскусственная простота которых граничит с величайшей изысканностью. Но все остальные «без жеста», «без слова» как бы говорят о себе словами поэта, такими простыми и умными: «Умей украсить место, где жить судьба велит».

* * *

Как всегда незаметно и вдруг нагрянула весна. Еще не протаяли крутые излучины стариц и прибрежные озерки, и по ночам попрежнему дышат жгучим холодом угрюмо потемневшие байкальские льды. Они набухли, насторожились, дрогнули, предчувствуя близкую гибель, но все еще стынут гигантской шестисоткилометровой равниной. Вчерашним утром тяжелый, влажный снег упал на только что воспрянувшую землю и снова закрыл ее белым. Снег пролежал весь день и начал таять. Ветры-пилигримы пришли с далекого севера, и безумный стон их не унимался ни на мгновенье. Когда ушли ветры, вернулась тишина. Она привела с собой белые крутые туманы, и берега растворились вдали.

В это суровое время сквозь снега и морозы поднялся и начал цвести наш первый подснежный цветок. Подснежник, ургуй, сон-трава, прострел или пульзатилля, — какое еще из туземных растений имеет такое множество названий? И это потому, что он первый, самый ранний и долгожданный цветок.

Странно и больно видеть, как в крупный синий колоколец с пучком ярко-белых еще девственных пестиков заметает колючий снег, а тонкие лепестки по утрам превращаются в прозрачные ледяные пластинки. Как будто теплой меховой шубкой, прострел оделся множеством волосков. Но еще люты и неумолимы утренники мая, и нежные растения часто гибнут, не достигнув возраста любви.

Спокойным синим цветом мерцает ургуй вдоль побережья озера-исполина, и уже летят на север первые утки шилохвости, и вскоре над вершинами почерневших лиственниц за-

хоркает тянущий вальдшнеп. Но уже 15 дней назад зацвел прострел под Иркутском и в первые дни мая обрадовал горожан большим количеством распустившихся бутонов.

Прострелы недолго ласкают взор, период цветения их эфемерен. Уже в канун июня на северном Байкале встречаются отцветшие, опавшие лепестки ургуев. В середине календарного лета уже не встретишь этих милых цветов.

* * *

За хребтом, в Баргузинской долине, давно уже полнятся прозрачной зеленью березовые лески, черемуха млеет и благоухает белыми шатрами, и вот-вот раскроются бутоны грациозных аквилегий. Идет июнь, и жизнь давно уже вступила в ту блаженную пору, которую называют крылатым словом лето. А здесь, на дальних северо-восточных берегах, зима еще многим напоминает о себе. Все бухты плотно забиты звенящим льдом, и в зоне открытых вод видны крупные ледяные поля. Лед окончательно растает в конце июня, и тогда в губе Давше зацветает черемуха. Но зацветет она не так, как совсем рядом в теплом Чивыркуйском заливе. Скромно и бедно на вершине угнетенной веточки пробелеет одинокое редкое соцветие, уронит два-три печальных лепесточка во влажные мхи и тихо, незаметно умрет.

В районе села Баргузина всего в 50 км восточнее и почти на той же широте она начинает цвести в первых числах мая. Сейчас на ней уже крупные зеленые ягоды.

Я проезжал в это время по сибирской реке, рождающей легендарные ветры, и наблюдал интереснейшую картину. 1 июня 1955 года в Баргузине зацвела черемуха. У деревни Адамово, на середине пути между Байкалом и Баргузином, она начала цвести 5—8 июня. Чем ближе к озеру, тем больше и больше ощущалось его ледяное дыхание. Кругом по Баргузинскому тракту царили цветы и листья, но здесь, на берегу Баргузинского залива, в 50 км от Баргузина, было еще безжизненно и по-зимнему пусто и голо. Лишь кое-где на березах начали медленно и несмело разворачиваться бледно-зеленые листья. В Чивыркуйском заливе черемуха цвела превосходно, но начала цвести она там только 15 июня. И наконец в дремучем царстве баргузинского соболя первая белая звездочка черемухи зажглась 30 июня — на 35 дней позднее, чем под Иркутском, и почти на полтора месяца позднее, чем под Москвой. И это несмотря на то, что губа Давше лежит на одной широте с Воронежем.

Эти чудесные откровения наглядно и понятно рассказывают о резких различиях климата на таких, казалось бы, небольших участках земли, как Баргузин—Чивыркуй—Давше. В то время как Баргузин по фенодатам весны немного отстает от Москвы, Давше приближается чуть ли не к Арктике. В этом сказывается могучее влияние Байкала на климат и жизнь побережий.

Одним из очаровательных явлений прибайкальской тайги можно назвать цветение багульника — даурского рододендрона.

Помню, был чудный безветренный майский день. Откуда-то с юга гигантским веером расходились по небу длинные перистые облака, прозрачные и невесомые, как легкий дымок. Утром я не заметил ни одного цветка рододендрона, но когда я возвратился после теплого солнечного полдня, меня поразило огромное количество полопавшихся почек. Зацвел даурский рододендрон! Через 5 дней, 26 мая, сосновые боры полуострова Святой Нос являли собой поразительное зрелище. Миллионы крупных розовых цветов создавали впечатление чрезвычайно густого сада, раскинувшегося под сенью тайги. Цветет он буйно, роскошно, откровенно! Ничего более красивого и своеобразного не встречал я в северных лесах.

Весной байкальские берега очень украшает цветение мучнистой примулы. Она зацветает на месяц раньше черемухи и вместе с болотной калужницей, ползучим лютиком, дернистой осокой и диким луком образует весенний фон так называемой валунной литорали. Примула цветет дружно, небольшими фиолетовыми цветами, собранными в соцветия. Ее цветы образуют местами сплошной весенний покров. Иногда попадаются снежно-белые цветы примулы, приятно разнообразящие одноцветный сиреневый фон.

Последний раз в последней декаде июня покрылись звенящей корочкой молчаливые бухты. Наконец-то вы можете забыть о зиме и до самого захода солнца лежать на берегу, не рискуя жестоко продрогнуть. Пройдитесь вдоль берега озера. Голые камни и пески вдруг ожили и превратились в богатую оранжерею. На многие десятки километров берега опоясываются розовой каймой. Это густыми, дружными пущами цветет еще одно чудо Сибири — байкальский кипрей. Красиво и гармонично вплетает в него свой нежно-голубой цвет дикий лен. Сочными синими цветами повернулись к солнцу аквилегии.

Эта прекрасная рама достойна великого озера, и только раз поняв ее красоту, вы на всю жизнь сохраните воспоминание о прекрасном.

* *
*

Быстро, очень быстро промчится байкальское лето. В теплом августе уже спускаются с гор первые краски осеннего увядания. Рано приходит осень на берега. Кипрей уже отцвел, но еще ярче и многокрасочнее цветут последним цветом его продолговатые листья. Сильными и сочными тонами золотится высокий вейник. Как много теплого, тихого сияния лучится в зарослях осеннего хвоща. Тут и там ярко-желтыми пригоршнями горят соцветия пижмы. Всеми оттенками осенних красок зажглись круглые листочки карликовых берез, возвещая о том, что на суровое побережье пришло новое время года.

И снег покрывает гольцы.

Но вдруг весна шлет берегам свое последнее прости, и снова цветут прострелы. На материковом побережье прострелы цветут только один раз, ранней весной. Тем более интересно и необыкновенно вторичное, осеннее цветение ургуя. 4 ноября 1949 года на Ушканьих островах вторично цвели флойодикарпы, анемоны и пульзатилли, в то время, когда на полуострове Святой Нос и на всем северо-восточном побережье Байкала лежали глубокие снега.

Осенью Байкал выполняет роль циклопической грелки. Вода его, нагретая за лето, еще не успевает остыть и обогревает берега. Тепловой режим воды и воздуха совершенно различен. Весной вода в Байкале нагревается значительно медленнее, чем воздух. Она обладает низкой теплопроводностью и требует длительного времени для нагревания. Но, медленно вобрав в себя летнее солнечное тепло, она и медленно, постепенно отдает его окружающим берегам, где осенью и зимой несравненно теплее, чем в отдаленных местах.

Особенно много тепла Байкал отдает небольшим островам, сторицей рассчитываясь с ними за то, что весной дольше, чем другие места, мучил их суровой зимой.

И вот уже на широких меховых лыжах вы пробираетесь сквозь тайгу, оставляя в пушистых сугробах голубоватый след. И как хорошо, когда среди глубоких снегов пахнет на вас дыханием лета. Вы поскользнулись на бревне, переходя по завалу горный ключик, и упали в снег. Падая, вы разворошили куст черной смородины. Какой приятный аромат! Благодатное мудрое лето тихо дремлет где-то под снегом, терпеливо дожидаясь своего положенного часа.

Когда долгой байкальской зимой вы начинаете грустить о роскошных ласках лета, вы идете в таежную глушь и ищете неосыпавшиеся листья. В большую вазу из куска березы, с увешанной лишайниками корой, вы ставите ветви с ярко-красными резными листьями рябины, темно-вишневыми черемухи, лимонно-желтыми василистника и бронзовыми листочками спиреи. Как славно чувствуете вы себя, глядя на них! Зимовье оживает, в нем делается уютнее и светлее.

Задумчивая, тихая радость опять возвращается к вам.

И когда на баргузинской земле еще самый разгар зимы и льды на реках с каждым днем становятся толще, эти реликвии ушедшего лета напоминают о том, что где-то впереди весна и что она непременно будет и снова восторжествует золотая пора лета, цветов и листьев.

КРИТИКА и библиография

В. Трушкин

ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ

(Об отражении подлинной истории колчаковщины в романе В. Зазубрина «Два мира»)

В 1921 году в Иркутске вышла книга, которой суждено было стать первым советским романом. На ее титульном листе стояло: В. Зазубрин «Два мира». Роман в 2 частях. Часть первая. Издательство Пуарма 5 и ВСВО. К четвертой годовщине Октябрьской революции.

Книга потрясла читателя жуткой, кошмарной и кровавой правдой о колчаковщине. А. В. Луначарский порекомендовал роман «как очень любопытную эпопею» В. И. Ленину.[1] Позднее А. М. Горький вспоминал: «В 21 году я видел эту книгу на столе В. И. Ленина.

— Очень страшная, жуткая книга; конечно, не роман, но хорошая, нужная книга».

В лаконичной ленинской оценке очень метко и точно указано на своеобразие произведения В. Зазубрина. Это действительно жуткая и страшная книга. Она не укладывается в наше традиционное представление о романе с последовательно развивающимся сюжетом, с главными, ведущими героями и т. д. Повествование в «Двух мирах» строится не на судьбе отдельных персонажей, а на изображении широкого разворота событий, в которых действуют огромные людские толпы. Роман насыщен обилием массовых сцен и эпизодов, которые внешне как будто и не связаны друг с другом. Настоящим героем книги становится народ, многотысячное сибирское крестьянство, вступившее в смертельную схватку с озверевшей контрреволюцией и иностранной интервенцией. «Революция, — признавался впоследствии писатель, — научила нас писать по-новому. Она научила нас оперировать массами, заставила писать по принципу «смещения планов».[1] В другой раз он заметит: «Стиль — это не только человек, но и эпоха».[2]

Несмываемый отпечаток эпохи лежит на этой суровой книге, написанной «по свежей памяти и по рассказам очевидцев в то время, когда автор и все его добровольные «корреспонденты» буквально еще не успели износить ботинок, в которых они месили липкую и теплую грязь полей сражения».[3] Эта волнующая эпопея, отразившая историю гражданской войны в Сибири, родилась из горячего потока самой жизни, властно ворвавшегося на страницы книги и забушевавшего там со всей сокрушительной силой. В основу повествования легли, в частности, события, разыгравшиеся в 1919 году на севере Канского уезда, в Тасеевской таежной партизанской республике. Зазубрин, находившийся в это время в Канске, воочию наблюдал последний акт трагедии — завершение разгрома колчаковщины. Одновременно он начал записывать рассказы парти-

---

[1] См. письмо А. В. Луначарского к автору «Двух миров» в кн Вл. Зазубрин. «Два мира». Изд. 4. Новосибирск, 1928, стр. 9.

[1] В. Зазубрин. Писатели и Октябрь в Сибири. «Сибирские огни», 1927, № 5, стр. 185.

[2] В. Зазубрин. Литературная пушнина. «Сибирские огни», 1927, № 1, стр. 212.

[3] Из предисловия В. Зазубрина к четвертому изданию романа.

зан тасеевского фронта о зверствах красильниковцев.

Оборона Тасеевки, террор красильниковцев, героический путь через тайгу, последующее победоносное наступление партизан — все это послужило материалом для многих ярких сцен и эпизодов романа. Писатель щедро украсил текст своей книги колоритными деталями и подробностями, выхваченными из реальной действительности.

Как известно, партизанское движение в бывшей Енисейской губернии было наиболее мощным и хорошо организованным по сравнению с другими районами Сибири. Главный очаг этого движения находился в Канском уезде, на территории которого возникли знаменитые Степно-Баджейская и Тасеевская партизанские республики.

Сохранившиеся исторические документы: приказы и донесения белогвардейских офицеров и генералов о положении в Канском уезде, партизанские воззвания, воспоминания непосредственных участников событий — наглядно свидетельствуют о том, насколько близко придерживался подлинных исторических фактов автор первого советского романа.

Есть в книге В. Зазубрина глава под названием «Молебен», в которой изображается чудовищная расправа полковника Орлова с мирными жителями деревни Медвежье. Село было занято без боя. Красильниковцы согнали на площадь народ: женщин, детей, стариков, и зверски расстреляли десятки людей, выхваченных тут же из толпы, а остальных исполосовали шомполами. «Мертвых было, — пишет автор, — сорок девять. Окровавленных шестьдесят. Но были выпороты все. Уничтожены, растоптаны». А вот еще сцена в самом начале романа: «К Орлову через каждые десять—пятнадцать минут приводили арестованных, заподозренных в большевизме. Полковник сильно охмелел. Разбираться долго ему не хотелось. После двух-трех вопросов он свирепо таращил пьяные глаза, рычал:

— Большевики, мерзавцы! Отправить их в Москву!

Арестованных выводили на двор и, быстро раздевая, рубили шашками. С одной из последних партий привели женщин...

— В Москву!

И дальше:

— Скрылев, кажется, рассвет близко?

— Так точно, господин полковник, уже светает.

— Гм-м! Зажигайте село.

Полковник сказал это спокойно, как будто дело шло о кучке старого хлама, а не о богатом Широком, о том самом Широком, в котором были две начальные школы, одна высшая начальная, библиотека в десять тысяч томов, Народный дом и лесопилка... Садясь на лошадь, Орлов приказал адъютанту:

— Корнет, передайте Скрылеву, чтобы тушить не давал. Всех, кто будет мешать поджогу или спасать свое имущество, расстреливать на месте».

«Два мира» — правдивый документ эпохи, перерастающий в обличительный и справедливый приговор колчаковщине. Хорошей иллюстрацией к роману являются показания самих белогвардейцев, которых в данном случае трудно заподозрить в сгущении красок. Скорее наоборот. Им выгоднее было бы замолчать или по крайней мере преуменьшить чудовищность преступлений колчаковщины. Так, управляющий Енисейской губернией Троицкий докладывал 25 сентября 1919 года министру внутренних дел: «После взятия Тасеево и Троицко-Заводского отрядом Розанова... военное командование, не учитывая того, что остались только лояльные жители, производило расстрелы и повешения... Дома сжигались подряд... Чины отряда Красильникова не стеснялись в мерах воздействия... Малейшее указание на законность, облечение требования в законную форму... вызывали меру наказания включительно до расстрела. Террор самый ужасный царит в этом районе». [1]

Еще более разительные примеры произвола и беззакония приводятся в «Докладе колчаковской особой комиссии». Здесь, в частности, сообщалось о том, как полковник Ромеров «из собранного им схода выбирал по десятому человеку, приказывая назвать... большевиков». И когда несчастные затруднялись с ответом или же говорили, что все большевики и сочувствующие им давно уже покинули деревню, то за такие ответы «первые по очереди крестьяне расстреливались, а 3, 4, 5, по очереди, обезумевшие и желая спасти себя, называли первого, случайно попавшегося им на глаза, и такие также расстреливались. Происходила кошмарная и несправедливая расправа». [2] В одном только Енисейске, маленьком таежном городишке, расположенном за сотни километров от линии железной дороги, где в то время насчитывалось семь с небольшим тысяч жителей, колчаковцами было расстреляно 700 человек, то есть, иными словами, уничтожался каждый десятый. «Правительственные войска, — рассказывает очеви-

---

[1] Тасеевский партизанский район в 1919 году. «Красный архив», 1937, № 6, стр. 119—120.

[2] Там же, стр. 121—122.

дец, — не щадили никого: ни женщин, ни детей, ни тем более мужчин».[1]

В Канском уезде особенно неистовствовали и лютовали банды атамана Красильникова, специально назначенного туда из Омска для подавления повстанцев. Вот каким рисует его один из современников: «Красильников— огромного роста мужчина, с внешностью тюремного Ивана, с широкой развевающейся бородой, вечно пьяный хулиган в генеральских погонах — был воплощением сибирской атаманщины.»[2] Фигура Красильникова была настолько одиозной, что от него пытались отмежеваться даже вожаки белого движения, эти ко всему привыкшие зубры. Показательна в этом отношении телеграмма командующего войсками Иркутского военного округа генерала Артемьева, посланная в ставку Колчака. «Атаман Красильников, — доносил он, — совершенно бездействует, занимается исключительно пьянством и безобразием, тем же занимаются его офицеры; солдаты производят самочинные обыски с целью грабежа, насилуют женщин. Все население жаждет большевиков. Положение критическое.»[3]

Если уж белогвардейские генералы и офицеры заговорили об излишней жестокости и произволе, то легко можно себе представить, что переживало в те годы сибирское крестьянство. « В «Известиях Тасеевского военно-революционного штаба» часто можно было встретить сообщения вроде следующего: «В Канарае изнасиловано несколько девушек, пятидесятилетняя старуха и беременная женщина, которая при насильниках и родила... Масса жителей расстреляна».[4]

Как художник В. Зазубрин всецело оставался верен действительности, развертывая в своем романе потрясающую картину истязаний и насилий, расстрелов и казней. «Белые,— писал он, — создали тысячи мучеников. Кровавый посев давал красные всходы». Глубокой правдой дышат страницы книги, изображающие нарастание народного гнева.

«— Бела власть! Широкое спалили! Дочку изнасиловали! Нас разорили! Попадью с ребенком зарубили! Жену прикололи. Все Медвежье перепороли! Девок всех опозорили! Ни старому, ни малому от них пощады нет! Бела власть! Бела власть! Грабеж! Убийство! Хуже старого режима! Где жить будем?! Жить как? Уничтожить! Уничтожить гадов! Шомполами порют. Вешают! Уничтожить всех до единого!.. Все пойдем!»

В этот единодушный порыв гнева, боли и ярости врывается голос старика Чубукова:

«— Мы все знаем, что с белыми гадами жить нельзя. Теперь все знаем. Неделю тому назад я не знал еще, я думал, коли я никого не трогаю, так и меня никто не тронет, ан вышло совсем не то. Дочь родную... — Старик затрясся, побледнел, — ... дочь родную на глазах у матери, у отца, у мужа изнасильничали. Все мы были дома. Слышали, видели, а сделать ничего не могли, потому их сила. Что мы двое с зятем можем? У зятя, окромя того, в ту же ночь сестренку Машу, четырнадцатилетнюю девочку, замучили звери. Теперь мы вот оба здесь и старуха с нами. Дочки-то нет: замучили изверги. Теперь я говорю, что и силен Колчак, а мир сильней его. Миром мы не одного такого уберем. Мир — сила. Мир все может».

В романе с большой жизненной достоверностью, в живых сценах и картинах воспроизведены все этапы нарастающего партизанского движения. «Каждая новая расправа красильниковцев, — говорит один из персонажей книги, — их новый налет на какую-нибудь деревню, село гонит оттуда в наши ряды десятки лучших людей». И здесь опять-таки писатель идет прежде всего от реальных фактов и событий. Сами колчаковцы не раз вынуждены были признать, что их политика усмирения непокорных приводила к новому, более грозному народному возмущению. В уже цитировавшемся докладе особой колчаковской комиссии содержалось, например, такое признание: «Самые жестокие карательные меры, производимые военными, не достигают цели и, наоборот, имеют как раз обратные результаты. Так, благодаря сжиганию деревень несомненно увеличиваются ряды красных оставшимися без крова и пищи крестьянами, идущими в их ряды».[1]

В другом белогвардейском документе, рисующем ту же бессмысленную жестокость и разбой армии, говорится о том, как «в голову измученного, изверившегося в порядке лояльного крестьянина вселяется дума, что только у красных ему спасение».[2]

Но говоря о жестокости красильниковцев и его заплечных дел мастерах, орудовавших в Канске и его окрестностях, не следует думать, что подобные кровавые вакханалии бы-

[1] Е. Е. Колосов. Сибирь при Колчаке. «Былое», 1923, стр. 138.
[2] Там же, стр. 142.
[3] Партизанское движение в Сибири. Приенисейский край. Т I, М. — Л., 1925, стр. 146.
[4] Там же, стр. 55.

[1] «Красный архив», 1937, № 6, стр. 121.
[2] Там же, стр. 120.

ли только местным и единичным явлением. Красильниковщина, о которой с такой потрясающей правдой рассказал читателю автор «Двух миров», — типичное порождение колчаковщины. Прямым наставником атамана Красильникова был его непосредственный начальник генерал Розанов, убийца по натуре и по призванию. «Генерал Розанов, — пишет один из современников, — был ленив и много пил; по внешности производил впечатление человека неряшливого, по характеру — необузданного и жестокого; у него было типично армейское лицо и тяжелая походка настоящего палача».[1] Это он, Розанов, ввел массовую систему заложничества и расстрелов на месте без суда. Партизан этот кровавый маньяк называл не иначе, как разбойниками. Вот несколько пунктов из его каннибальских приказов: «При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличии таковых имеются—расстреливать десятого.» Далее в приказе значилось: «Селения, население которых встретит правительственные войска с оружием, — сжигать; взрослое мужское население расстреливать поголовно».[2]

Более того: людоедские распоряжения Розанова копировали, по существу, указания самого адмирала Колчака, требовавшего от своих подчиненных решительно и быстро «покончить с енисейским восстанием, не останавливаясь перед самыми строгими, даже жестокими мерами в отношении не только восставших, но и населения, поддерживающего их». Своим генералам он рекомендовал брать за «пример японцев Амурской области, объявивших об уничтожении селений, скрывающих большевиков».[3]

Таким образом, здесь действовала сверху донизу одна страшная, бесчеловечная система — система террора и беззакония. Даже прямые союзники и защитники Колчака, вспоившие и вскормившие его кровавый режим, вынуждены были в конце концов отмежеваться от «деяний» этого новоиспеченного диктатора и его сподручных. Бывший дружок Верховного правителя хитрый и честолюбивый генерал Гайда 6 мая 1919 года отдал приказ, в котором, между прочим, значилось: «Официальные донесения и жалобы обиженных и пострадавших указывают, что самочинные расправы, порки, расстрелы и даже карательные

[1] Е. Е. Колосов. Сибирь при Колчаке, стр. 121.
[2] Там же, стр. 125.
[3] Партизанское движение в Сибири, стр. 113.

экспедиции, чинимые представителями власти, к сожалению, не прекращаются».[1]

Позиция генерала Гайды, этого опытного и прожженного политического лиса, почувствовавшего опасность и поспешившего как-то обелить себя, отгородившись от своего же ставленника, была в данном случае крайне симптоматичной. Показательно, что и второй крестный отец колчаковщины, глава союзных войск в Сибири французский генерал Жанен, тот самый генерал Жанен, который, не скрывая своих монархических симпатий, скорбел об участи Николая II, одобрительно отнесся к известной чехословацкой декларации, опубликованной в ноябре 1919 года, свидетельствовавшей о произволе колчаковцев. С сочувствием приводя этот меморандум, Жанен заносит в свой сибирский дневник и личные впечатления от «подвигов» распоясавшихся колчаковцев. В поле его зрения попал и пресловутый атаман Красильников, с которым французский генерал встретился в Канске. «Он, — пишет Жанен, — неоспоримо имеет великолепную голову солдафона. Его стадо грабит... В одной деревне большевик, изнасиловавший учительницу, был присужден к смертной казни, но когда пришли люди Красильникова, они безнаказанно грабили все дочиста. В Канске беззаботно расстреливали людей, все преступление которых заключалось только в нежелании отдать свои деньги».[2] В другой раз Жанен заносит в свой дневник: «Казаки Красильникова грабят все до женской одежды включительно, которую они продают на рынке. Выведенные из себя крестьяне обольшевизировались, несмотря на то, что единственной мыслью их было остаться в покое и не драться».[3]

В. Я. Зазубрин, сам переживший многое из того, о чем он вскоре поведает с такой потрясающей душу правдой в своем романе, прекрасно понимал политическую подоплеку колчаковщины. Кровавая волна репрессий и насилий, обрушившаяся на головы сибирского крестьянства, воспринималась и изображалась им не просто как что-то дикое и нелепое, кошмарное и случайное, а как неизбежное следствие общей политики Колчака, как результат последовательной, чудовищной в своей жестокости системы военной диктатуры. Не случайно его книгу открывает глава с символическим названием «Коготь». Перед

[1] Е. Е. Колосов. Сибирь при Колчаке, стр. 140.
[2] Генерал Жанен. Отрывки из моего сибирского дневника. «Сибирские огни», 1927, № 4, стр. 155.
[3] Там же.

читателем, быстро следуя одна за другой, проходят в этой главе сцены хладнокровного расстрела беженцев — стариков, женщин, детей — насилия над малолетними, зверских надругательств красильниковцев над сельской учительницей. Глава заканчивается характерным идейно-художественным штрихом: избитая, опозоренная и обесчещенная учительница, очнувшись, замечает на затоптанном и заплеванном полу воззвание адмирала Колчака к населению России, воззвание, в котором адмирал обещает народу помочь «осуществить великие идеи свободы», заявляя, что он, Колчак, не пойдет «ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности», обещая установить в стране «законность и правопорядок». Какой дьявольской насмешкой, каким кощунством звучат эти слова над памятью только что расстрелянных и истерзанных ни в чем не повинных людей! На этот слживый манифест «верховного правителя Сибири» упал зловещий отблеск пожарищ, насилий и издевательств, чудовищного кровопролития. Писатель нашел точный и верный фокус, позволивший ему раскрыть в истинном свете весь драматизм происходящего, которое является выразительным комментарием к этому манифесту.

Правдиво показана в романе В. Зазубрина и роль иностранной интервенции в годы гражданской войны в Сибири. Эпизоды романа, в которых действуют интервенты, срывают маску с тех, кто лицемерно твердит на протяжении сорока с лишним лет о «нейтралитете» и «невмешательстве» так называемых союзников во внутренние дела России. Уже в самом начале книги перед читателем развертывается такая картина: «на станции Тайшет офицеры остановились на перроне, удивленные неожиданным зрелищем: Между двух телеграфных столбов с перекладиной висели три трупа. Двое мужчин в нижнем белье и молодая девушка с длинными русыми косами, в коричневой юбочке. В Тайшете стояли чешский и румынский эшелоны. Комендант станции, молодой чех, крутя в руках щегольский стек, объяснял офицерам:

— Это трех большевик. Двух повешен за ломанью рельсы, а барышня-телеграфистка за то, что опоздал с передачей важной телеграмм».

Сцена, изображенная писателем, передает один из типичных драматических эпизодов, которыми подчас заканчивалась героическая борьба тайшетских партизан против колчаковцев и белочехов. Вот что, например, рассказывает о борьбе белочехов с тайшетскими партизанами один из очевидцев: «Чешская охрана преследовала повстанцев, и тех, кого захватывала, «линчевала» на месте. Разыгрывались сцены потрясающей жестокости; телеграфные столбы то тут, то там превращались в виселицы, и так на протяжении многих верст от станции до станции».[1]

Перед читателем «Двух миров» проходят чехи, поляки, румыны, итальянцы, сербы, французы, англичане и американцы. Он запомнит блудливого французского полковника, пытающегося изнасиловать «русскую дикарку», чванливых польских солдат и офицеров, что «держались вызывающе, чувствовали себя полновластными хозяевами». Иностранной военщиной кишмя кишела и столица сибирской контрреволюции — Омск. «Особенно много было, — пишет автор, — американцев и японцев, главным образом офицеров. Японцы в мундирах цвета хаки, фуражках с красным околышем и золотой звездой вместо кокарды держались с видом снисходительных победителей. Американцы по вечерам запруживали улицы и бесцеремонно приставали с любезностями положительно ко всем женщинам, проходящим без мужчин».

Естественно, что эта многоликая и многоязычная орава интервентов, слетевшихся, как стервятники, на многострадальную русскую землю, истерзанную гражданской войной, вызывала возмущение не только трудового крестьянства, но и отдельных сохранивших остатки совести белогвардейцев.

Насквозь прогнивший и продажный колчаковский режим держался только на штыках «союзников». Его открыто поддерживали англичане и французы, белочехи и японцы.

Английский генерал Нокс и его помощники подстрекали колчаковское офицерство, подогревая в них монархические настроения, толкая их на кровопролитную расправу с русским народом. Уже в те годы ни для кого не было секретом, что Колчак — марионетка в руках интервентов. «Союзники в это время, — пишет, например, Е. Колосов, человек очень далекий от большевиков, — совершенно определенно перешли на сторону Колчака, содействуя, чем только могли, его возвышению». Колосов же приводит и слова одного политического деятеля, заявившего: «Не смотрите односторонне на омские события. Переворот не был приготовлен только в Омске, главное решение было в Версале».[2]

Еще более характерное признание содержится в записках генерала Жанена. Обижен-

[1] Е. Е. Колосов. Сибирь при Колчаке, стр. 25.
[2] Там же, стр. 154.

ный высокомерием колчаковского министра Сукина, он как-то записал у себя в дневнике: «Эти люди (то есть Колчак и компания — В. Т.) забывают, по-видимому, что без чехов и меня они давно уже не существовали бы».[1]

Неудивительно поэтому то поистине массовое народное возмущение, которое взбудоражило в это время даже самые отдаленные уголки Сибири. «Количество «фронтов» в нашей губернии увеличивается с каждым днем», — писала колчаковская газета «Енисейский вестник». Приводя эти слова, один из корреспондентов «Красноярского рабочего» справедливо заметил, что «в создавшейся атмосфере ничего не стоило образовать новый «фронт»; и они вырастали, как грибы после дождя, особенно там, где побывали колчаковцы».[2]

Эта атмосфера возникновения внутренних «фронтов», зарождения боевой партизанской армии, сплоченной и монолитной, прекрасно воссоздана в романе «Два мира». «Не забывайте, господа, — говорит у Зазубрина один из инструкторов, поучая белогвардейских офицеров, — что теперь на фронте вы имеете дело не с бандой товарищей, а с хорошо организованной армией». Это утверждение полностью согласуется с донесениями колчаковцев, действовавших против партизан. «Нас посылали, — писал один из них, — против слабо вооруженных, не обученных военному делу банд, — пришлось же иметь дело с людьми, имеющими в достаточном количестве как ружья, так и пулеметы, сильных своею организованностью, у которых роль одиночного бойца сводится не к нулю, как у нас, а к гораздо большему».[3]

Многие главы романа, рисующие разворот партизанского движения и сложные перипетии борьбы, отразили историю возникновения и существования Тасеевской партизанской республики. Оправившись после первоначального разгрома, Тасеево превратилось в неприступный боевой лагерь, ставший во главе всего повстанческого района. Тасеево было самым крупным селением в северной части Канского уезда. В нем насчитывалось до 700 дворов. До революции это удаленное на 150 верст от Канска северное таежное село являлось местом политической ссылки. Неудивительно поэтому, что Тасеево в период колчаковщины стало оплотом восставших. В январе 1919 года генерал Афанасьев, присланный на усмирение повстанцев, с тревогой телеграфировал в Иркутск: «Восстание в Тасеевской волости севернее Канска разрастается, охватив многие селения. Отряды красных большой силы, хорошо организованы, вооружены, имеют много патронов, есть пулеметы».[1] В другом донесении сообщалось: «Тасеево укреплено, красные решили упорно обороняться».[2]

В. Зазубрин перенес на страницы своего романа и рассказ об организации обороны Тасеево и о характере и структуре преображенной партизанской армии. Описание обороны Таежной советской республики до деталей воспроизводит конкретно-историческую обстановку обороны Тасеево. «Село было обращено в укрепленный лагерь. Глубокие окопы двумя полосами охватывали его со всех сторон. Далеко впереди за ними, на широких полянах, на дорогах, сплошной лентой лежали кверху зубьями бороны, запорошенные снегом. Тонкой паутиной путалась колючая проволока. Бугры и покатости на подступах к позициям были утоптаны, залиты водой, заморожены. В темные прорезы смотрели толстые зеленые максимы, черные поджарые ребристые кольты. Из конца большого блиндажа, выходившего на медвеженский тракт, торчало широкое горло самодельной пушки — гордости первого таежного полка».

В этом описании все примечательно, вплоть до упоминания о самодельной пушке. Оно полностью совпадает с рассказами как самих тасеевцев, так и колчаковцев. Вот что доносил о тасеевских партизанах белогвардейский полковник Мартынов: «Таежники отличаются большой выдержкой в огне, подпускают до 20 шагов... Окопы устраивают из толстых бревен, засыпают снегом и поливают водой... Все дороги забаррикадированы засеками, а в проходах положены бороны зубьями кверху».[3]

В. Зазубрин не упускает ни одной значительной детали и подробности из жизни таежной партизанской республики. Он говорит и об оружейных мастерских и химической лаборатории, об избрании главнокомандующего и работе армейского Совета, контрольно-ревизионной комиссии и издании своей газеты — «Военных известий северного таежного фронта». Это легкая перефразировка газеты, выходившей в Тасеево под названием «Известия Тасеевского военно-революционного штаба».

---

[1] Генерал Жанен. Отрывки из моего сибирского дневника, стр. 150.
[2] Ф. Врублевский. Сибирская деревня и советская власть, «Красноярский рабочий», 1920, 20 июня, № 131.
[3] Партизанское движение в Сибири, стр. 49.

[1] Партизанское движение в Сибири, М. — Л., 1925, стр. 63.
[2] Там же, стр. 91.
[3] Там же, стр. 109.

Тасеевская партизанская эпопея легла в основу и самой, может быть, драматической главы романа «Пили! Пили!», рассказывающей об отступлении партизан в тайгу и о смертельной схватке с наседавшими колчаковцами. Партизанская армия с семьями, гуртом скота, обозом больных и раненых была прижата «к стене девственной, непроходимой тайги». Вот они все сгрудились на зеленой таежной поляне. И люди властно вгрызаются в тайгу, звон топоров и пил не смолкает ни днем, ни ночью. А сзади наседают обнаглевшие отряды красильниковцев, то и дело бросаются в атаку. Все думы и помыслы прикованы к одному — пробиться, пропилить дорогу в дремучей тайге. Все слилось в одном многократно повторенном порыве:

— Пили́, товарищи, пили́!

А сзади разгорается бой. Пули залетают в обоз, ранят животных и людей. Мычат коровы, храпят, ржут и бьются лошади. И люди пробили тайгу, ушли из мышеловки.

Художнику не надо было насиловать свое воображение, чтобы создать величественную в своем драматизме картину партизанского отступления. Материал и краски для нее давала живая действительность. Вот как описывает очевидец эти события: «В тайге... был устроен привал. Здесь когда-то переселенцы из таежных поселков расчистили большую поляну... Дальше дорог не было. Стеной стояла тайга. На поляне скопилось тысячи четыре людей, до 1500 подвод, скот.» И далее он пишет: «Тайга дикая, болотная. Все мужское население нашей экспедиции работало напряженно, прокладывая путь через таежные дебри, гатили проходы через болота, перебрасывали мосты через десятки ручьев и речек. Тяжелой страдой был этот путь. Люди шли, собирая все силы, чтобы не отстать, не попасться врагу». [1]

Да и ожесточенный таежный бой, о котором с таким драматизмом рассказал писатель, опять-таки не плод прихотливой фантазии, а правдивое воспроизведение реальных конкретных событий и обстоятельств. В тех же воспоминаниях читаем: «Бой начался в два часа. Дробный стук десятков пулеметов ворвался в тайгу вражьим громом. Белые шли в наступление, как на штурм крепости, сплошными цепями. Каратели рассчитывали, что мы, загнанные в тайгу, голодные, уставшие, не выдержим натиска. Но мы знали, врага надо отбить, нельзя не отбить — иначе погибель всем — женщинам, детям, старикам. Нас было 800—900 человек, белых — тысячи... Под ураганным пулеметным и оружейным огнем мы отбивали первую, вторую, третью атаки».

[1] Н. Емельянов. Таежная республика. В сб. «За власть Советов», Новосибирск, 1947, стр. 249—250.

Участвовали в этой неравной, но решающей схватке все, вплоть до детей, женщин и стариков. И белые были опрокинуты. Позднее, когда они, оправившись, окружили тайгу, то нашли лишь там одни оставленные повозки.

На страницы своей книги В. Зазубрин перенес немало и других реальных фактов из истории тасеевских партизан — рассказ о казни жены священника, обращение к партизанам канских правителей прекратить «братоубийственную войну» и др. Так, один из партизан сообщает: «Дикими зверствами обрушились каратели на тех, кто остался или вернулся в Тасеево. В первое же утро свыше 100 человек было убито, зарублено, расстреляно, среди них были женщины и дети, расстреляли и жену священника — учительницу». [1]

Своих реальных прототипов имел и образ священника Воскресенского, примкнувшего к партизанам после трагической гибели жены и ребенка от рук красильниковцев. В донесениях белогвардейских офицеров не раз встречаются сообщения подобного рода. Так, колчаковский контрразведчик Кадинец называл в числе главных организаторов партизанского движения в Канском уезде «священника села Перовского». [2] Другой белогвардейский офицер, указывая на то, что в самом Тасеево были, как он выражается, «очень умные и талантливые апологеты большевизма», называет среди них священника Орлова. «Обладатель артистического таланта, он заставлял слушателей рыдать и клясться быть всегда защитниками совдепа и, если надо, умереть за него. Его последователь, — продолжал этот колчаковец, — священник Вашкорин, действуя по стопам учителя, призывал записываться в Красную Армию и сам первый начертал свое имя». [3]

Но само собой разумеется, что далеко не все священники в годы гражданской войны были с народом. В романе В. Зазубрина, помимо Воскресенского, мелькает еще зловещая фигура попа Кипарисова, пала́ча и убийцы.

В одной из глав своей книги писатель изобразил реакцию партизан на «миролюбивое» обращение к ним почуявших свой близкий крах колчаковцев. Настроение возмущенной партизанской массы здесь передано художником необычайно живо и рельефно, со всей гаммой психологических нюансов и оттенков, захвативших толпу во время чтения обраще-

[1] Н. Емельянов. Таежная республика, стр. 249—250.

[2] Партизанское движение в Сибири, стр. 102.

[3] Там же, стр. 105.

ния. Это опять-таки художественно обработанный рассказ о том, как тасеевские партизаны категорически отвергли всякие «переговоры с колчаковскими разбойниками». В ответной «Ноте» партизан говорилось: «Все повстанцы отвечают вам решительно: «слишком поздно, поздно!» Повстанцы все, как один, говорят вместе с замученным крестьянством: «будьте прокляты!» [1]

Так подлинные события и исторические факты, попадая в поле зрения писателя помогали ему как художнику глубже осмыслить происходящее, побуждали к созданию сцен и картин, отмеченных исключительной выразительностью и силой, одухотворенных неприкрашенной правдой жизни. Но, разумеется, было бы неправильно отсюда делать вывод, что в произведении В. Зазубрина мы имеем дело с простым, чисто протокольным воспроизведением истории. Материал, почерпнутый из жизни, под пером писателя переплавлялся в соответствии с общим идейно-художественным замыслом в живую ткань романа, отливался в цельное художественное полотно.

В. Я. Зазубрин, создавая свой роман, сознательно стремился, по его словам, «использовать агитационную мощь художественного слова», чтобы дать читателю «просто и понятно написанную вещь о борьбе «двух миров». И с этой задачей автор справился. Живая история, став явлением искусства, сохранила и поныне всю свою действенную силу и непосредственность подлинной жизни. Роман доносит до нас в живых образах и картинах большую правду истории.

[1] Н. Емельянов. Таежная республика. стр. 268.

В. Гайдук

ПОЭТ ПРИХОДИТ К ЛЮДЯМ[1]

...И вот вы закончили читать эту тоненькую книжку стихов, первую книжку поэта. Перелистываете еще раз маленькие странички, перечитываете особенно понравившиеся строчки:

Спят,
Свернувшись,
Ручьи,
Бродят лоси
По хрупкой весне.
На висках у отцов
Оседаёт
Непрошенный снег.
Время, как водопад,
Устремляется
В прошлое,
Вниз.
Но зато без конца,
Без конца
Продолжается жизнь.

Случайно это стихотворение вы прочли с середины... Почему-то задумались. Захотели прочитать начало, конец... Немного смутила неожиданная метафора: «Спят, свернувшись, ручьи». Но вдруг метафора как бы ушла в какую-то особенную интонацию всего этого стихотворения. Вы стараетесь уловить эту интонацию и прислушиваетесь к ней, точно к звуку музыкального аккорда. И вот вы уже чувствуете биение этого поэтического пульса, и слышите в нем — раздумье поэта и... ваше, его и свои надежды, быструю поступь времени, в которое живете вместе с поэтом.

Наступают моря,
Отступают моря
Без конца.
Время
Чистою кровью
Проходит
Сквозь наши сердца.
Может быть, потому,
Напоив по крупицам сперва,
Мы находим в сердцах
Для людей
Золотые слова.

Добрые, хорошие слова сказал поэт людям, и самое большое из них «Спасибо!»

Одно из лучших стихотворений сборника Марка Сергеева так и называется «Спасибо вам, люди». Оно написано искренне и задушевно. В нем особенно ярко обнаруживаются лучшие черты дарования поэта. Это стихотворение очень трудно цитировать отдельными строчками — нарушается его весь глубокий поэтический строй. Но все-таки:

Простор!
И — да здравствует берег рыбачий,
И стройки,
И тропы к сибирским алмазам,
Которым я
Так иль иначе
Всей жизнью своей,
Всей судьбою обязан.

Каких же людей благодарит поэт? Их много. И среди них строители Иркутской ГЭС, покорители целины и Ангары, молодые сибирячки, у которых «не три, а тысячи дорог», отважные мореходцы Байкала, и, наконец, юные влюбленные, чей шепот нечаянно подслушал поэт. Их много, этих людей. С одними поэт встретился в Сибири и Тофаларии, с другими — в Москве и Ленинграде, с третьими — в своем родном городе, в шумных молодежных аудиториях. Это все те люди, которым поэт обязан тем, что может сказать вслед за своим героем:

Я с надеждой пришел
в беспокойный двадцатый век...

---

[1] Марк Сергеев. Спасибо вам, люди. Стихи. Иркутск, 1958.

Вот почему, когда поэт пишет о большом и важном, его голос сливается с голосами многих людей, знакомых и незнакомых, с голосами его друзей.

Неужели допустим,
Чтоб так, без ветрил, без руля,
без дыхания жизни
по волнам пространств
и времен,
как огромное кладбище,
молча летела Земля,
уничтожив себя,
как в последний свой час
скорпион!
Люди!
Именем ваших
Ни в чем не повинных детей,
Люди!
Именем тех,
что навеки от пули легли,
отведите преступную руку
грядущей войны,
что нацелилась в сердце,
в горящее сердце
Земли!

В этой замечательной «Балладе о Тиле Уленшпигеле» голос поэта поднялся до большого гуманизма, до высокой публицистической страстности.

Особенностью поэтического почерка Марка Сергеева, пожалуй, является то, что он стремится создать часто не конкретно-бытовой, а, так сказать, обобщенно лирический образ. Вспомним его лучшие стихи: «Продолжается жизнь», «Баллада о тополях», «Спасибо вам, люди», «Баллада о Тиле Уленшпигеле», «Кукушкины слезы», «Слова в стихе». Поэтическая сила всех этих стихотворений состоит в точно созданной интонации, верном лирическом настроении. Здесь порой неправильный в конкретно-бытовом понимании художественный троп верно выражает чувство, настроение. В этом отношении некоторые метафоры, эпитеты, сравнения поэта могут показаться совершенно условными (сравните, например, «Спят, свернувшись, ручьи»), но тем не менее они внутренне слиты с интонационно-образным строем всего стихотворения в целом и точно передают поэтическую мысль.

Сложнее обстоит дело в том случае, когда поэт хочет создать образ не через лирическое переживание, а бытовую картинку. Здесь он слабее, ему часто не хватает остроты наблюдения, конкретной точности в отборе деталей; в результате появляются не те слова, какие нужны, образ обедняется, и стихи, лишенные еще и авторской лирической окраски, звучат неубедительно.

...Должно быть,
он парень с открытой душой
И любящий жизнь
в напряженье, в труде,
На шутки и выдумки
мастер большой,
И первым
придет он на помощь
в беде.
Весь день он —
как мы же — в горниле труда...

Здесь поэт явно сбивается на декларацию. Недостает образной мысли и в таких стихотворениях, как «Вышли в море рыболовы», «Ночной лов».

В стихотворении «Огонь» отчетливо видно, как порой непродуманное обращение с метафорой, изощренное отношение к эпитету и сравнению разрушает художественный образ и искажает мысль поэта.

В первой части этого стихотворения автор дает довольно яркую и образную картинку золотой осени, представляющую развернутое художественное сравнение. А дальше:

И вот опять я у тебя в опале...
Любовь пришла внезапно. А потом
Ростки размолвки крепли с каждым днем,
Дожди разлук на сердце мне упали,
И стала капля каждая — огнем.

Как нетрудно заметить, в этом отрывке уже нет того серьезного чувства, какое хотел выразить поэт. Поэтическая мысль поблекла во всех этих «ростки размолвки», «дожди разлук», «...в опале» и т. п. Живое, искреннее чувство невольно подменилось альбомным.

Большинство стихов Марка Сергеева о любви согрето светлой авторской улыбкой, легким юмором (как, например, замечательное стихотворение «Чудо»). Некоторые из них имеют точного адресата — молодых робких влюбленных, впервые познавших волнующее чувство («Лирический случай», «Признание», «Первый снег», «Юность»).

Эти стихи значительно удачнее тех, в которых поэт как бы вдруг теряет свою улыбку, в глазах его почему-то гаснут озорные огоньки и выражение становится «серьезным». Но читатель чувствует, что эта серьезность неестественна. Вот почему и стихи о любви без этой милой авторской улыбки кажутся искусственными, натянутыми («К дорогам, по которым ходишь ты...», «Все это было так давно», «Огонь», «Бабье лето»). Конечно, если вам с шутливой улыбкой скажут:

Кто любит, тот спокойным быть не может,
Спокойствие в любви запрещено,

вы тоже в ответ можете улыбнуться. Но когда об этом говорится серьезно, образ разрушает-

ся, потому что эти слова слишком мелки для выражения большого и серьезного чувства.

Марк Сергеев находится на пути к поэтическому мастерству. Он достаточно владеет культурой стиха, умеет найти яркий эпитет, удачное сравнение.

Но эта стиховая культура поэта, его образное слово только тогда станут верным оружием, глубоко покоряющим сердца, когда художник окончательно освободится от ненужной искусственности, идущей всегда не от живого чувства, и когда он пополнит арсенал своих поэтических средств острым и непосредственным наблюдением сложных жизненных явлений, метких деталей, характерных черт.

Люди ждут от поэта нового, еще большего «Спасибо». Они верят, что поэт еще глубже и ярче покажет

И дружбу тяжелых рабочих ладоней,
И трудное счастье любви настоящей.

И если это будет сделано задушевно и искренне, люди поймут поэта. Они не скажут ему спасибо. Они просто прочтут и запомнят его стихи.

Л. Лисин

КНИГИ, ЗОВУЩИЕ К ПОДВИГАМ

В 1950 г. в Киеве, в издательстве «Радяньский письменник» вышла в свет повесть Н. Печерского «У самых гор» о жизни членов таджикского колхоза «Пахтакор». В Одесском областном издательстве в 1953 г. напечатан сборник рассказов «Родные места». Наконец, в 1957 и 1959 гг. вышли в свет две повести для детей школьного возраста: «Моя золотая радуга» и «У тебя все впереди, Валерка». Первая из них переиздана в 1958 г. в Москве под заглавием «Генка Пыжов — первый житель Братска». Обе книжки хорошо приняты не только нашим юным читателем.

Книги Н. Печерского свидетельствуют о том, что он пишет интересно про самое, казалось бы, обыкновенное. Сборник рассказов «Родные места» посвящен людям нашей Родины и простым людям Северной Кореи. Как в этом сборнике рассказов, так и в повестях чувствуется влияние традиции А. Гайдара. Следуя великому завету А. М. Горького, А. Гайдар учил писателей видеть в нашей жизни прежде всего хорошее, героическое, светлое, радостное и писать обо всем этом с горячей сердечной заинтересованностью. Гайдар всю жизнь боролся за «светлое царство социализма», и надо быть слепым, чтобы не заметить, что книги Печерского населены прежде всего образами мужественных советских людей, живущих в этом светлом мире и умножающих его мощь своим героическим трудом.

Такими новыми людьми являются, например, звеньевой Дорофеев и Прокопенко, капитан маленького пароходика на Днепре («На пароходе»). В их сердцах уже крепко проросли золотые семена дружбы к людям — труженикам всей земли. Глубоко патриотичен рассказ о двух Сидоруках — бойце и строителе. Один из них погиб смертью героя, но люди не верят в его гибель. Они считают, что второй Сидорук и есть тот самый герой каховской переправы, которого некоторые считают погибшим. Выражая в сущности идею рассказа, второй Сидорук говорит: «Да, великая сила — доверие людей...». Рассказ оканчивается прекрасным лирическим отступлением автора:

«— Мы навечно твои друзья, командир Сидорук, мы донесем твою славу в наш будущий день, и она будет всегда сиять ярким ослепляющим светом, как сияет все большое, что рождается и живет на нашей земле».

Теме социалистического соревнования, коммунистического роста духа советских людей колхозной деревни посвящен рассказ «Бригадиры». Сердца бригадиров Цымбала и Лободы — это сердца новых советских людей, горящих пламенем социалистического энтузиазма. Н. Печерский отметил, что колхозная деревня является не только школой воспитания нового человека, но и школой перевоспитания лодырей, тунеядцев, каким долгое время был, например Литяга («Литяга»). Можно сделать предположение, что изменятся к лучшему и столяр-краснодеревец Шаповалов и его жена, названные автором птицами перелетными («Птицы перелетные»). Для всех рассказов Н. Печерского характерна особенность та: он ищет в людях прежде всего те новые черты, которые воспитала в них Коммунистическая партия. Именно эти черты в русских солдатах дороги корейскому рыбаку Ли У Ену, которому посвящены в сборнике три рассказа. Ли У Ен благоговел перед великой страной Ленина, ибо именно ее люди принесли людям Северной Кореи свободу, счастье и радость.

То же самое можно сказать о грузчиках далекого южного порта, которые называли советских людей друзьями и братьями.

О великих переменах в жизни народов Средней Азии, переменах, которые не произошли бы без братской помощи русского народа, рассказывается в повести «У самых гор». Советские люди принесли счастье таджикам и в том числе молодым колхозникам Хакиму и Назокат. Они центральные герои повести. В повести показано, как разгорается в их сердцах истинная любовь и как много может сделать один хороший советский человек, если в его сердце горит пламенная любовь к людям. Показывая рост нового человека в условиях колхозной действительности, автор утверждает, что даже «в самом маленьком деле можно найти радость творчества, принести стране огромную пользу». Замечательная, подлинно творческая работа в колхозе Хакима и Назокат дает возможность автору прийти к выводу, что никому не удастся помешать советским людям построить светлое здание коммунизма.

Две сибирских повести Н. Печерского — хороший подарок юному читателю. В кратком предисловии к повести «Генка Пыжов — первый житель Братска» автор пишет: «Много нового узнает читатель вместе с Генкой о стремительной Ангаре, о знаменитом Байкале, о крепкой дружбе и сплоченности советских людей, покоряющих суровую природу Сибири». Познавательный элемент действительно занимает значительное место в повести. Здесь сообщается легенда о Байкале и о его единственной дочери Ангаре, дается краткое описание нового социалистического города Ангарска. Читатель узнает, что Байкал является самым глубоким озером в мире и что будущее Братское море протянется в длину на 600 км. В повести задушевно рассказывается о встрече Генки с иркутским поэтом Иваном Ивановичем Молчановым-Сибирским, чей духовный облик Н. Печерскому удалось воссоздать с замечательной художественной силой. Повествование ведется от лица Генки, окруженного такими хорошими ребятами, как Степка и Комарь, Таня и Маня, Люська Джуркина. Часто ребята ведут себя в повести настоящими героями. Так, в условиях суровой сибирской зимы они спасают от верной смерти тракториста Аркадия, а найдя спрятанные в тайге вещи, они не бросают их даже тогда, когда жулики преследуют маленьких героев по пятам. И только один Генка не выдерживает испытания, пав духом, он швырнул пылесос, за что и был осужден товарищами. В повести показывается, к каким несчастьям приводит Генку его эгоизм. Эгоистически противопоставляя себя товарищам и даже отцу, Генка хлебнул немало горя и даже страданий. Но и он выправляется постепенно. В этом духовном выправлении Иван Иванович сыграл большую роль. Школа смелости, коллективизма, дружбы, товарищества не позволят Генке превратиться в отпетого эгоиста. Вот почему на упрек отца, что он, Генка, такой же эгоист, как и фальшивый доброволец, что, когда придет время защищать страну от врагов, он сбежит с фронта, как убежал из тайги, Генка отвечает: «Я с фронта не убегу. Даю тебе честное слово!» И читатель верит Генке.

К несомненным достоинствам повести необходимо отнести ее светлый жизнерадостный юмор, ее чудесную романтическую тональность. Проникнутая романтикой живой жизни, романтикой трудовых подвигов, повесть и призывает ребят к свершению этих подвигов.

В начале повести «У тебя все впереди, Валерка» сын отважных родителей-геологов ведет себя трусишкой, растяпой и плаксой. Однако весь строй советской действительности начинает формировать из него настоящего человека. В московской квартире родителей Валерка мел полы, чистил картошку, поливал цветы, выносил помойное ведро, ходил за хлебом. Но вот на зависть всем знакомым московским ребятам он едет в Якутию к отцу, а затем принимает активное участие в поисках алмазов. Разумеется, жизнь ставила перед ним все новые и новые трудности. Постепенно Валерка преодолевает тот подлый, унизительный страх, за который сверстники прозвали его некогда «кошкиным хвостом». Валерка превратился в смелого, решительного, находчивого, бесстрашного мальчика, в настоящего пионера. Теперь он начал жить по выработанному им самим плану: будь отважным, не пасуй перед трудностями, не трусь, держись, как штык! Валерку окружают и благотворно действуют на него многие герои повести — настоящие советские люди. Хорошими, милыми людьми являются в повести его родители, радист Леня Петров, летчик дядя Вася, старик якут Баищев и другие. Вся советская жизнь учила Валерку быть не «кошкиным хвостом», а мужчиной, будущим солдатом и защитником своего отечества, каким оказался, например, Леня Петров, погибший от руки врага. Познавательный элемент в этой повести составляет одно из несомненных ее достоинств. Прекрасно изображена в повести природа Сибири. Свежие краски, меткие сравнения помогли автору передать ее неповторимую мощь и красоту. К художественным достоинствам

повести необходимо отнести динамическое развитие действия, предельно сжатое изложение, юмор, помогающий автору оттенить светлый мир детской души, богатство домысла и наличие светлой социалистической романтики, которая придает книге особую оптимистическую тональность.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на одну спорную особенность последней книги Печерского: в ее сюжет вплетена тема шпионажа. Введенные в повесть шпионы не усиливают, а ослабляют художественные достоинства книги, отнимая, между прочим, много жилой площади у положительных героев. Николай Печерский является сложившимся художником, и вряд ли стоит ему прибегать к чисто внешним эффектам повествования. Приходится пожалеть и о том, что ряд сюжетных ходов обрывается на самом интересном месте и лишь несколько позже читатель кратко информируется о случившемся.

Книги Н. Печерского пронизаны светлой радостью нашей жизни. Они воспитывают любовь ко всему родному, советскому, они зовут читателей к свершению подвигов, они учат юных читателей быть сильными, смелыми, мужественными.

Нельзя не указать на тот положительный факт, что именно современное героическое преобразование Сибири способствовало превращению Н. Печерского в заметного детского писателя.

Сатира и юмор

А. Санин

СУМОЧКА К РЕБРУ

Рабочий день литературного консультанта Владимира Павловича Смирнова начинается с чтения рукописей. Разбор одних требует изрядных криминалистических навыков. В других — отклонение от грамматики мешает додуматься до смысла написанного. Иногда написанное вообще не имеет никакого смысла,

Владимир Павлович хмурится и слегка нервничает.

Часов с десяти начинают появляться авторы. По утрам любит приходить начинающий поэт Рассветов. Он раздевается и садится напротив Владимира Павловича. Рассветов страшно интеллигентен, но ходит всегда неприлично лохматым. Скептик ужасный. Даже собственные стихи он читает с пренебрежением. Пишет он о полях и о деревьях, но больше о чувствах. Пишет плохо. Сначала Рассветов посылал стихи почтой и был неприятен Владимиру Павловичу как автор, но вот он стал приносить сам стихи и стал неприятен еще и как человек.

— Мелкотемье, товарищ Рассветов, и форма у вас неблестящая, — сдержанно говорит Владимир Павлович, пытаясь возвратить Рассветову стихотворение.

— Мелких тем нет. Есть мелкие авторы,— говорит Рассветов презрительно.

Владимиру Павловичу хочется сказать Рассветову, что он и есть автор самый мелкий, что ему надо бросить писать и заняться поднятием тяжестей, но этого сделать нельзя, и Владимир Павлович подробно разбирает стихотворение, советует, спорит, читает лекцию по литературоведению и очень вежливо дает понять, что стихотворение не может быть напечатано. Рассветов надувается и уходит создавать художественные ценности.

Следующий — молодцеватый стриженый парень, недавно уволенный из армии солдат, автор романа «Три года в строю». Автор требует напечатать «хотя бы главы». Роман лежит у Владимира Павловича в самом дальнем углу стола вместе со склянкой настойки из ландыша.

— Прочитали? — звонко спрашивает стриженый парень.

— Читаю, — хмуро говорит Владимир Павлович. — Зайдите дня через два.

— Сколько можно ходить! — нахально говорит парень. — Я не потерплю бюрократического подхода к моему творчеству!

Владимир Павлович тупо смотрит на посетителя, на его богатырскую грудь, украшенную четырьмя автоматическими ручками, и ему страшно хочется достать из стола роман, рвать его на глазах у автора и выкрикивать при этом оскорбительные отзывы, но Владимир Павлович спорит, убеждает, советует читать Тургенева и грамматику.

Приходит мастер короткого жанра Коля Гонорарьев. Этот долго не задерживается, но все-таки оставляет неприятное впечатление.

Как-то после работы Владимир Павлович достал из стола два новых письма и хотел уже сунуть их в папку, для того чтобы ответить на них дома, но машинально разорвал один конверт и вынул оттуда на редкость маленькую бумажку.

В этот день Владимир Павлович анализировал поэму Рассветова о боярышнике и был порядком утомлен. Кроме того, отслуживший

Санин, А. Сумочка к ребру / А. Санин // Ангара.– 1959.– №4.– С.121-122

солдат-романист назвал его Бенкендорфом. К концу дня его нервы расходились вовсю.

Владимир Павлович развернул бумажку. Неведомый автор предлагал стихотворение, которое начиналось так:

Из подворотни выбрел пес лохматый
И вдруг завоил, словно не к добру.
Подкрадывался сумрак бородатый,
Подвязывая сумочку к ребру...



«Что это? — подумал Владимир Павлович, чувствуя, что ему становится не по себе. — Какую сумочку? К какому ребру?»

Владимир Павлович прочел это еще раз, попробовал хихикнуть, но смех вышел таким, что он сам его испугался.

Он быстро оделся и поспешно покинул пустой кабинет. По дороге домой Владимир Павлович держался многолюдных и освещенных мест. Странное четверостишие не давало покоя.

Темный коридор он прошел быстро и с таким чувством, что его вот-вот ударят по голове чем-нибудь жестким и тяжелым. Войдя в свою квартиру, он запер за собой дверь.

Жена сидела на диване и вышивала что-то болгарским крестом. Владимир Павлович сел рядом и заговорил шепотом:

— Маша, у нас никого нет?

— Никого. А что?

— Вот! — Владимир Павлович вынул из папки конверт и осторожно передал его жене. — Прочти. Только... Ребенок спит? Спит? Тогда прочти... Нет-нет, не надо вслух!

— Ничего особенного, — сказала хладнокровная жена, прочитав. — «Сумрак бородатый» — хорошо, а вообще несколько туманно...

— Несколько? — перебил Владимир Павлович, нервозно вздрагивая. — Это черт знает что. «Завоил!» — какое адское слово! Все встречалось: поэтические вольности, охотничьи рассказы, шаманские могилы, но такого... Нет-нет! Это что-то жуткое... Я думаю, Эдгар По побледнел бы. А я все-таки человек рядовой, с ограниченным воображением, у меня ребенок, еще могут быть дети... Нет, я не могу! Я уйду с этой работы. Завтра же. Сегодня же! Займусь чем-нибудь другим... Буду менять собственную тень на шагреневую кожу — спокойнее...



Жена бросила вышивание и внимательно посмотрела на мужа. Только сейчас она заметила, что Владимир Павлович бледен и необычно суетлив.

— Послушай, Маша, — продолжал Владимир Павлович, — тебе никогда не казалось, что на тени ты похожа на Бенкендорфа? Дада. Я все время думал, на кого, и вот сейчас...

Перепуганная жена увела Владимира Павловича в спальню и уложила в постель. Потом она вернулась в комнату, подошла к телефону и набрала нужный номер...

ШУТЯ И ВСЕРЬЁЗ

Виктор Киселев

ДИРЕКТИВНЫЙ ДОЖДЬ

Не веря в инициативу,
В бумажный он попал полон.
И дождь считал за директиву,
Поскольку сверху капал он.

ГЛУБОКОМЫСЛЕННЫЙ ПЕНЬ

Воскликнул Пень:
— Поймите, братцы,
Простую истину одну —
Кругом сплошное верхоглядство,
Я ж забираю в глубину.

„БРАТЬЯ-ПИСАТЕЛИ“

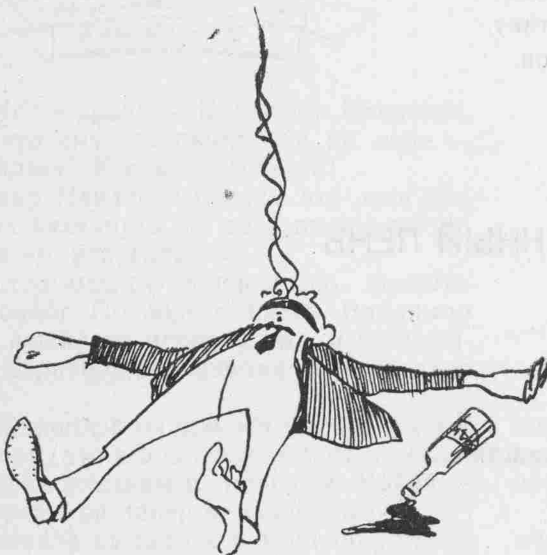


Некий «историк» направил в журнал
Опус времен Геродота,
Шустрый прозаик новеллу прислал —
Что-то, о чем-то, чего-то.
Тусклый поэт написал «О Тебе...»
Были в корзине все трое.
«Братья-писатели в вашей судьбе,
Что-то лежит роковое!».

И. Хейсин

ЭПИТАФИИ

ПЬЯНИЦА



И сам ее губил в своей широкой глотке,
И сам же он погиб от этой самой водки.

БЮРОКРАТУ



Кончая путь земной, матерый бюрократ
Последние слова шептать был очень рад:
«Ну, вот теперь и я из жизни ИСХОДЯЩИЙ
И в гроб под номером кладбищенским
ВХОДЯЩИЙ!»



Альманах **АНГАРА № 4**

Редактор *В. С. Титов*

Техн. редактор *Т. И. Печерская*

Корректор *Р. И. Алюхна*

Сдано в набор 27 октября 1959 г. Подп. к печати 12 декабря 1959 г.
Печ. л. 12,7. Уч.-изд. 13,4. Бумага $84 \times 108^{1}/_{16}$. Заказ № К-303. Тираж 5000. НЕ 03059.

Иркутское книжное издательство, ул. Кр. звезды, 18.

Типография № 1 отдела Полиграфиздата, Иркутского областного управления культуры, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 11.

6 р.

